

Казус



Индивидуальное и уникальное
в истории

Жизнь общества — как и жизнь отдельного человека — несут неожиданностями. Случайности счастливые и несчастливые запоминаются надолго, их охотно хранит не только память отдельного человека, но и обыденное сознание. Заслуживают ли единичные казусы внимания потомков?.. В XX в. историки чаще всего относились к единичному и случайному настороженно. Они стремились разыскивать в мнущем в первую очередь “магистральные пути” общественного развития, а в уникальных казусах видели главным образом заслуживающие внимания “исключения” из правила. Стоит ли и сегодня — в век переосмысления роли случайного — свысока относиться к тому, что кажется нам исключительными нетипичным? Не могут ли в нестандартных случаях — ярче, чем в чем бы то ни было ином — выразиться своеобразие, неповторимость собственное лицо минувшей эпохи? Не в таких ли уникальных казусах сокрыт порой ключ к пониманию страстей человеческих, драмы борьбы людей и идей? Не эти ли исключительные ситуации позволяют глубже осмыслить меняющиеся пределы свободы воли человека, с тем чтобы понять, дано ли рядовому члену общества влиять на настоящее, а значит и на будущее, или же его — как и его историка — просто несет в какую-то неясную даль стремительный и неодолимый поток времени?.. На эти и подобные им вопросы ищут ответа авторы ювого альманаха.

Российский государственный гуманитарный
университет
Российская академия наук
Институт всеобщей истории

Russian State University for the Humanities
Russian Academy of Science
Institute of General History

*В дар
от авторского коллектива*

CASUS

1999

The individual
and unique
in history

*Edited by
Yu. L. Bessmertny
and M. A. Boitsov*

Moscow
1999

Казус

1999

Индивидуальное
и уникальное
в истории

*Под редакцией
Ю.Л. Бессмертного
и М.А. Бойцова*



Москва
1999

ББК 63.3(0)
К 14

Художник
Л.Н. РАБИЧЕВ

ISBN 5--7281--0234--4

© Коллектив авторов, 1999
© Российский государственный
гуманитарный университет, 1999
© Российская академия наук, 1999

- 9 Ю.Л. Бессмертный
Продолжаем наш поиск

*Размышления
о казусах
и историческом
знании*

- 17 М.А. Бойцов
Вперед, к Геродоту!
- 42 Дискуссия по статье
М.А. Бойцова.
Выступления:
И.С. Свенцицкой,
С.А. Экштута,
Н.А. Хачатурян,
О.И. Тогоевой,
М.Л. Абрамсон,
Л.П. Репиной,
А.А. Котоминой,
О.Е. Кошелевой,
П.Ю. Уварова,
Ю.Л. Бессмертного.
Заключительное слово
М.А. Бойцова
- 76 Л.П. Репина
*«Персональная история»:
биография как средство
исторического познания*

- 9 Ju.L. Bessmertny
Continuing Our Quest

*Thinking of
Exceptional Cases
and Historical
Knowledge*

- 17 M.A. Boitsov.
Forward to Herodote!
Discussion of
M.A. Boitsov's Article.
Participating:
I.S. Svetsitskaya,
S.A. Ekshtut,
N.A. Khachaturian,
O.I. Togoeva,
M.L. Abramson,
L.P. Repina,
A.A. Kotomina,
O.E. Kosheleva,
P.Yu. Uvarov,
Yu.L. Bessmertny.
Concluding remarks
by M.A. Boitsov
- 76 L.P. Repina.
*«Personal History»:
Biography as a Means
of Historical Learning*

101 Ж. Ле Гофф (Париж)
*О биографии
исторического
персонажа
(Людовик Святой). Пер.
с фр. П.Ш. Габдрахманова
и В.Г. Ченцовой*

117 А. Людтке (Геттинген)
*«История
повседневности»
в Германии после 1989 года
Пер. с нем.
С.И.Лучицкой*

Казус в политике

131 Ю.Л. Бессмертный
*Казус Бертрана де Борна,
или «Хотят ли рыцари
войны?»*

148 О.Е. Кошелева
*Лето 1645 года: смена
лиц на российском
престоле*

171 В.П. Смирнов
*Судьба одной речи
(18 июня 1940 года:
эпизод—событие—
символ)*

Казус в поведении

199 Н.Ф. Усков
Убить монаха...

236 Л.А. Пименова
*Как судейский крючок
женился на герцогине,
или Три версии одной
истории*

101 Jaques Le Goff (Paris)
*On the Biography of a
Historical Personnage
(Saint Louis). Transl.
from French by
P.Sh. Gabdrakhmanov and
V.G. Chenzova*

117 Alf Luedtke (Goettingen)
*«Everyday History»
in Germany
after 1989.
Transl. from German
by S.I. Luchitskaya*

Cases in Politics

131 Yu.L. Bessmertny
*The Case of Bertrand
de Borne, or «Do the
Knights Want a War?»*

148 O.E. Kosheleva
*The Summer of 1645:
a Change of Persons
on the Russian Throne*

171 V.P. Smirnov
*The Fate of One Speech
(June 18, 1940:
Episode—Event—
Symbol)*

Cases in Behaviour

199 N.F. Uskov
To Kill a Monk...

236 L.A. Pimenova
*How a Court Pettifogger
Married a Duchess,
or Three Versions of One
Story*

*Казус
в праве*

- 271 О.И. Тогоева
*Жизнь и смерть
Соломона, еврея из
Барселоны*
- 297 О.В. Дмитриева
*Йоркширский
«Расемон»
(провинциальная
трагикомедия
елизаветинских времен)*
- 322 А.В. Чудинов
*Будни Французской
революции (истории
заключенных Нижней
Оверни, рассказанные
ими самими)*

361 *Summaries*

*Cases
in Law*

- 271 O.I. Togoyeva
*Life and Death
of Salmon, the Jew
of Barcelona*
- 297 O.V. Dmitriyeva
*Yorkshire
«Rashomon»
(a Provincial
Tragicomedy
of Elizabethan Times)*
- 322 A.V. Tchoudinov
*The Life Routine
of the French Revolution
(Stories of Prisoners in
Basse-Auvergne, as Told
by Themselves)*

361 *Summaries*

Продолжаем наш поиск

Поэтов издавна волновала роль в человеческой жизни *уникального мгновения* — «чудного» или «ужасного», «рокового» или «судьбоносного»... Но только наш художник волнует сегодня судьба таких мгновений?

Вышедший осенью 1997 г. первый выпуск «Казуса» свидетельствует о том, что есть, — есть! — и среди современных историков глубокий интерес не только к повторяющемуся и типичному, но и к переломным «мгновениям», к уникальным случаям, к неожиданным поворотам, к непредвиденным происшествиям. В том, первом «Казусе» мы не только констатировали интерес к такого рода случаям, мы пытались объяснить растущее любопытство к ним в самых разных «цехах» нашей науки. На наш взгляд, такое внимание связано отнюдь не со случайной модой и не со стремлением к дешевой популярности. Историк хотел бы прежде всего осмыслить каждый «неожиданный» казус. Что он означал? Как мог «случиться»? К чему привел? Что изменил? Мог ли быть «предвиден»? Кто его истинный «автор»?

Но это лишь одна сторона дела. Нет ли возможности увидеть через такой казус нечто большее, чем он сам? Иными словами, не выступает ли самый что ни на есть *уникальный* казус в качестве лакмусовой бумажки какого-то скрытого от наших глаз универсума или какого-то процесса, тенденции, метаморфозы? Словом, когда и при каких условиях в казусе можно видеть воистину бесценный «осколок» некоторой целостности,

способный обогатить наши представления о прошлом, а когда — лишь нечто случайное, «пустое» — некий не заслуживающий внимания «шум» истории?

В том, первом «Казусе» мы не только — и даже не столько — теоретизировали, сколько предлагали читателю примеры самых разных казусов и обсуждали конкретный смысл каждого из них. Сегодня нам хотелось бы пойти дальше. К чему ведет практикуемый нами (и не только нами) «казусный» подход к изучению прошлого? Что меняет он в сути исторического знания?

Вряд ли можно сомневаться в подлинной бессмертности человеческого интереса к прошлому и — в еще большей мере — в непреодолимом (пусть не всегда осознанном) стремлении каждого отдельного человека (и каждого общества) к осмыслению своего места в потоке времени. Но это отнюдь не предопределяет неизменности типов исторического знания: что сулит ему наш жестокий и ироничный век и что ждет его в веке будущем? Сохранятся ли и укрепятся ли доставшиеся нам от прошлого вера в прогресс, в справедливость, в поступательное развитие, в самую возможность рационального осмысления прошлого, наконец?

Кто сегодня не знает о кризисе рационализма, об отказе от классического детерминизма, о сомнениях в нашей возможности увидеть мир сквозь призму всеобщих закономерностей? Когда-то принято было восклицать: «Наука — враг случайностей!». Сегодня в том виде человеческой деятельности, который по-прежнему называют «наукой» (несмотря на глубочайшее переосмысление ее критериев), напряженно ищут (и находят!) случайности везде и всюду, пытаясь при этом не только объяснить их неизбежность, но и увидеть в них *привилегированный предмет исследования*. Случайность рассматривается в нынешней науке как одна из важнейших закономерностей, а анализ таких случайностей становится поиском многоликих — стохастических — принципов их понимания. Соответственно преобразуются представления об упорядоченностях вообще, об их соотношении с повторяемостью и уникальностью. На первый план научного анализа выходит изучение неравновесных состояний, индивидуального, уникального. И это — в так называемых естественных науках, на которые — еще с прошлого века! — так стремится походить история. А что же она сама?

Пришло время переосмысления самых основ исторического познания. Собственно такое переосмысление никогда не прекращалось. Но особенно интенсивно оно сегодня. Обсуждение научного подхода в изучении прошлого — лишь одно из его направлений и лишь один из его вариантов.

Читатель поймет теперь, почему мы решили начать наш номер «Казус» с раздела «Размышления о казусе», с остро политической статьи М.А. Бойцова, одного из двух редакторов нашего издания, с дискуссии вокруг этой статьи, в которой затрагиваются принципиальные вопросы исторического познания и предлагаются на них подчас противоположные ответы. Нас не смущает их противоречивость. Прошло, слава Богу, то время, когда авторы российских изданий по истории обязаны были пререкать по теоретическим проблемам только сверенные с классиками трюизмы. Сегодня мы вправе думать, что единственная истина в истории — это вечный ее поиск. (Не в этом ли залог вечной молодости истории?) И база этого поиска — в неисчерпаемости прошлого и любого из дошедших до нас его памятников, неисчерпаемости, обуславливающейся постоянным изменением тех вопросов, которые мы задаем прошлому из нашего настоящего.

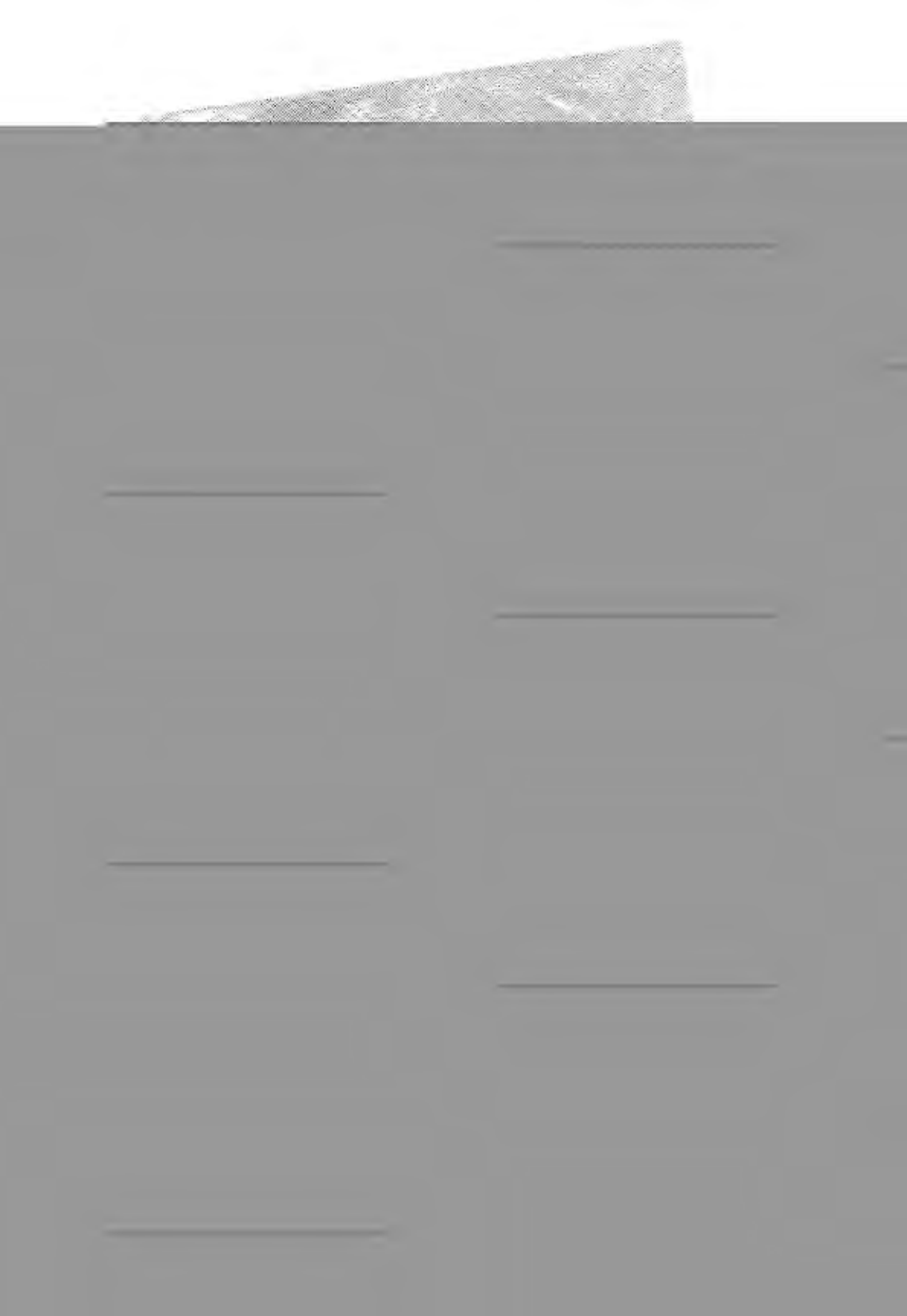
В нынешнем «Казусе-99» мы «организуем» наш поиск, группируя конкретные исследования вокруг трех сюжетов — политика, поведение, право. Это как раз те аспекты человеческой жизни, которые во все времена относились к числу ключевых. Именно сквозь их призму можно конкретно увидеть, как человек прошлого делает свой *выбор*, какими мотивами руководствуется, как претворяет в жизнь свои интенции и — что особенно интересно — насколько он способен при этом пропустить свою индивидуальность и в какой мере оставить на проходящем свой индивидуальный «отпечаток».

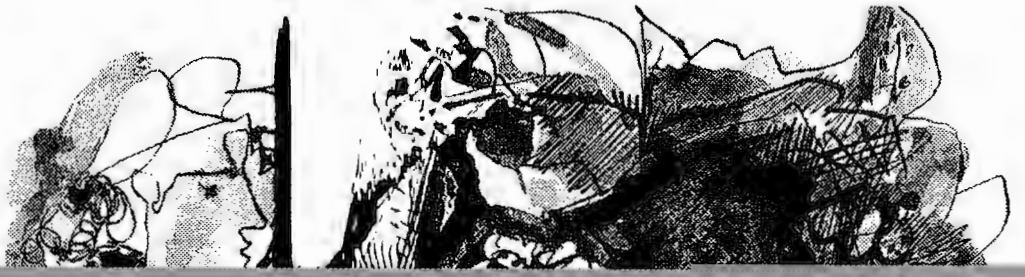
Однако все три выбранных нами сюжета по существу порываются одним — историко-культурной ориентацией человека того или иного мира. Ее осмысление и представляет, так сказать, сверхзадачу конкретного анализа всех наших авторов.

Как увидит читатель, мы не ограничиваем себя ни каким-либо отдельным регионом, ни каким-либо одним периодом прошлого. Напротив, нам интересно вести наш поиск по отношению к самым разным хронотопам, с тем чтобы иметь воз-

возможность в дальнейшем сравнить продуктивность избранного нами ракурса по отношению к разным из них. Во всех, однако, очерках мы хотели бы остаться верны сочетанию строго научного анализа исторических текстов с ясной, яркой и даже интригующей манерой историописания. История не «указующий перст», не «инструкция» к действиям, но «материал к размышлению», а стимулировать такие размышления современного человека смогут лучше те строки, которые затронут не только его ум, но и сердце.

Ю.Л. Бессмертный





Вперед, к Геродоту!

Отец европейской истории Геродот из Галикарнаса написал свою Историю, чтобы «прошедшие события с течением времени не пришли в забвение», «великие и достойные удивления деяния как эллинов, так и варваров» не остались в безвестности. Геродот из Галикарнаса не собирался на основании «собранных и записанных им сведений» строить догадки о том, как будут в грядущем складываться, скажем, отношения между эллинами и варварами. Отцу истории не могло, наверное, и в голову прийти, что едва ли не главным профессиональным заклинанием грядущих продолжателей его стараний будет формула о том, что история «в собственном счете» призвана... предсказывать будущее. Что в античной ойкумене, что на ее варварской периферии процветала настоящая «индустрия предвидения» — тот же самый Геродот (наряду с десятками других авторов) подробно о ней рассказывает. Заглядывание в будущее, сверка по нему своих поступков — дело у древних едва ли не повседневное. Лишь христианство смогло несколько приглушить эту практику, свести ее как бы до уровня полуполезной. Способов узнавать будущее и у современников Геродота, и у ряда поколений их потомков было предостаточно: лукавыми гексаметрами оракулов начищен, бараньими лопатками или наспех обструганными буковыми палочками заканчивая. История в числе этих средств, однако, не значилась...

Красивое в своей парадоксальности *mot* насчет перетекания знаний о прошлом в знание о грядущем — блестящее, но поверхностное, как почти всякое настоящее *mot*, — неотступ-

но преследует нынешнего историка со студенческой скамьи. Многократно и авторитетно повторяемый лозунг не может не оказаться действенным, и разбуженный среди ночи студент без запинки и тени сомнения ответит на вопрос о том, зачем нужна наука история: она, дескать, «в конечном счете» помогает предвидеть... С примерами успешных предвидений будет уже сложнее — их он и среди бела дня, пожалуй, не припомнит.

Чем дольше и глубже придется нашему гипотетическому студенту заниматься историей, тем реже в нем будет проявляться склонность к «предвидению будущего», но серьезных сомнений в своей профессиональной пригодности это обстоятельство почему-то у него вряд ли вызовет. Идея о «предвещающей истории» оттеснится в его сознании на какой-то трудноопределяемый метауровень абстрактной и безличной «науки вообще» — уровень, не связанный напрямую с конкретной судьбой конкретного историка. И когда в один прекрасный день наш бывший студент, теперь уже в украшении профессорских седин и регалий, взойдет на самую высокую кафедру, то он наверняка начнет лекцию вопреки собственному жизненному и профессиональному опыту с сакраментальных слов: «Друзья мои, вам уже, конечно, известно, что знание прошлого необходимо для успешного предвидения будущего!»

На самом деле отношение между прошедшим и будущим складывается в сознании историка, похоже, по принципу совершенно противоположному. Первичным оказывается как раз образ желанного (или реже нежеланного) будущего, и историк, руководствуясь этим образом, объясняет прошлое как часть пути, уже пройденного к заранее известной (по крайней мере в существенных чертах) цели. Со времен поздней античности будущее предстает историку-европейцу как нечто в принципе лучшее, нежели настоящее. Христианская эсхатология обещает, конечно же, леденящую кровь вселенскую катастрофу, но ведь в ходе нее раз и навсегда восторжествует высшая справедливость. Христианский образ будущего весьма целостен, хоть и оставляет немало пищи для размышлений по интересным, но все же сравнительно частным поводам: как, например, воскреснут в день Страшного Суда из мертвых недоноски, калеки и уроды — со всеми ли своими физическими недостатками или, возможно, в телах, полностью очищенных от недугов? Ясность грядущего — залог ясности прошедшего, — не оттого ли христианская картина истории, созданная еще

Евклидом, Иеронимом и Орозием, оказалась наиболее развитой стройной и, что особенно интересно, самой долгоживущей из всех возникавших до сих пор в кругу европейских культур.

В сильно отрезвленной религиозными войнами XVI—XVII вв., исполненной скепсиса, рационализма и тяги к прогрессу умов Европе образ «практически значимого» будущего постепенно изменился: он стал куда менее пугающим, но зато более дряблым и размытым, утратил былую апокалиптическую определенность и былой драматизм. Изрядно секуляризированного европейца ждали теперь царства божии на земле. Ему обещали создание человеческих сообществ, вполне земных, но чуть-чуть божественных, потому что они будут организованы по законам разума, способного осознать самые заветные истины бытия. А раз так, то есть все основания для надежды обрести кое-что от высшей справедливости и в этих покровительственных царствах.

Для одних, вдохновлявшихся идеей грядущего всемирного царства, эти желанные сообщества обретали облик союза народов. Для других, уповавших на раскрытие мощи собственной «народного духа», мечта облекалась, напротив, в образ суверенного национального государства (с мудрым государем или еще более мудрым парламентом во главе), вводящего общенациональные социальные новшества. И, наконец, для третьих — обычно разочарованных, решительных и нетерпеливых — будущее общество представлялось переделанным в соответствии с наиболее радикальными «требованиями разума» — например, на основе отмены частной собственности. Всеобщая тяга к социальной инженерии склоняла к тому, чтобы историю «превращать в науку», выводя из ее хода те самые закономерности, постижение которых и обеспечит кратчайшие пути к манящей впереди цели. Прошлое оказывалось частью ведущей вверх лестницы, по которой мы успели уже пройти, а будущее — ее следующей ступенькой.

Ник «превращения в науку» история пережила в XIX в., когда европейцы относились к своему будущему едва ли не с наибольшим за все время существования собственной цивилизации оптимизмом. Хотя проблемы национальные и социальные в то далеко не идиллическое столетие принимали порой угрожающие размеры, вера европейца во всепобеждающую силу человеческого разума отличалась тогда небывалой силой и еще незамутненной чистотой. Стремительный технический и

научный прогресс казался лучшим доказательством того, что вскоре будут отысканы решения любых проблем — и отнюдь не только из области техники. Именно в том столетии авторитет истории и историков был в европейском обществе как никогда высок, а историческая наука, как науке и положено, успешно вскрывала одну фундаментальную закономерность развития человеческого рода за другой.

В XX в. общественная роль истории изменилась. Две мировые войны, создание полубожественным человеческим разумом все более эффективного оружия и невероятные социальные эксперименты, развернувшиеся с мощью, доступной только исключительному по своей силе государству «современного типа», повлияли на сознание европейцев и их представления о будущем самым серьезным образом.

Прежде всего оказалась скомпрометирована стержневая идея прогресса (в светски-рационалистическом понимании просветителей и их интеллектуальных последователей). Если за вполне очевидным прогрессом технологическим не просматривается параллельного прогресса духовного, то какой смысл в достижениях науки, занятой на три четверти разработкой все более и более изощренных способов изведения рода человеческого? Сомнения в наличии «подлинного» прогресса, помноженные на сомнения в безграничности познавательных возможностей людского разума, превращают в колеблющийся мираж те картины уютного будущего, что были уже в общих чертах столь убедительно набросаны в оптимистическом XIX в. Европейскому интеллектуалу XX в. пришлось признать за иррациональным и абсурдным качества самостоятельного бытия (а не теней, которым предстоит рано или поздно истать под всепобеждающим солнцем разума). Это неожиданное «возвращение дьявола» в мироощущение европейца отравило его самосознание вроде бы уже преодоленным в «просвещенные времена», уже почти забытым страхом перед непостижимым. Но ведь стоит только допустить, что нечто весьма существенное в смысле пути, по которому идет человечество, останется принципиально сокрытым, как любая картина прошлого, сконструированная разумом, лишается надежного основания.

Едва ли не главное качество воображаемого («предвидимого») будущего — это преодоление в нем страхов, пугающих нас в настоящем. Когда характер угрожающих нашему существованию опасностей более или менее ясен (или хотя бы кажется

и оным), то более или менее определен и облик нашего будущего (а значит и прошлого). Историкам, жившим в XVIII—XIX вв., характер главных угроз их мироустроению был понятен — они исходили, во-первых, извне — от «чужих», т. е. «враждебных» религий, конфессий, наций, государств, а во-вторых, изнутри — от неразрешенных социальных проблем в их собственных обществах. Раз так, то историки достаточно определенно представляли себе «желаемое будущее» и соответственно «под него» задавали параметры изображаемой картины прошлого. Общая картина будущего — это одно из средств воздействия обществ перед грозящей им опасностью, но если реальная угроза отсутствует или ясно не выражена, то как может сложиться образ, призванный от нее психологически защитить?

«Религиозно-конфессиональный», «национальный» и «социальный» вопросы — главные двигатели исторической науки в прошлые века — утратили в послевоенной Западной Европе и тем более Северной Америке свою смертельную остроту. Серьезные межконфессиональные трения в чистом виде уже давно в прошлом, «социальный вопрос» полностью разрешен быть, конечно, не может, но предстает сейчас в очень смягченных, по сравнению с прошлым веком, формах. Национальные (или «квазинациональные», как в Италии) проблемы, хотя время от времени и обостряются, вряд ли смогут принять в Западной Европе (в отличие от Европы Восточной) масштабы, грозящие основам существования. Даже если завтра распадется Бельгия, станут независимыми государствами Шотландия или Страна Басков, выставит пограничную стражу на своих южных рубежах республика Падания, вряд ли все это даже вместе взятое будет сопровождаться не только газетными, но и реальными катаклизмами, всерьез угрожающими сложившемуся порядку бытия европейцев.

Страхи современного западного интеллектуала лишены отвлеченности — они как бы рассредоточены, идут с различных направлений и с разным напряжением. Вообще-то этих страхов не так уж мало — озоновыми дырами начиная, ядерным терроризмом и опасными экспериментами в области генной инженерии заканчивая, но они оказываются весьма разнохарактерными. Имея примерно одинаковые основания бояться и всемирного истощения ресурсов, и возможного взрыва соседней АЭС, и заражения СПИДом, современный европеец или американец не видит среди всех этих факторов опасности ка-

кого-то одного — главного, не только воздействующего на сознание, но и пронизывающего все беспокойное существо человеческое. Невозможно реагировать в одном и том же психологическом режиме на разнохарактерные раздражители. В мире разлито удивительно много зла, но его источник не поддается идентификации, не имеет имени, не может быть назван и даже не распространяет больше с некоторых пор запаха серы.

Изюминка истории в Европе (по крайней мере в постримской Европе) состояла всегда в том, что она была знанием не просто описательным, но сотерическим. История показывала обществу дорогу к спасению. Не надо доказывать, что без обещания грядущего спасения вся священная история превращается в довольно унылое перечисление патриархов, царей и пророков. Но ведь без идеи выполнения в будущем, по возможности скором, некоей предуготованной и, наверняка, спасительной, причем, скорее всего, даже и для всего человечества, миссии своего народа и классическая «национальная» история в духе XIX в. также, утрачивая смысл, рассыпается на «фактологические» осколки. Без образа так или иначе понятого справедливого общества, избавляющего от нравственного несовершенства и всяких несправедливостей сегодняшнего дня и ждущего уже за следующим поворотом, утрачивают смысл отчасти и гегелевское самопознание духа, и уж, конечно, марксовы социально-экономические формации. От чего же должна спасать европейца история сегодня?

Совсем недавно достойную роль объединяющего западное общество страха, казалось бы, должны были играть мы с вами — граждане «империи зла». Действительно, идея противостояния демократий тоталитарным обществам заняла осязаемое место в западном историческом сознании. В европейских школьных учебниках доблестное сопротивление маленьких, но сильных духом граждан греческих полисов тяжеловесной персидской деспотии превращалось из простого зачина в ключ к пониманию всей европейской истории. Она приобретала на редкость гармоничную форму рондо, плавно возвращаясь в конце к той же теме, с которой начиналась во времена Геродота. (Вообще-то повествование мудрого галикарнасца можно было бы прочитать и в терминах не извечного противостояния, а, напротив, постоянного творческого взаимодействия «Востока» и «Запада», но политический момент к такому прочтению не располагал.) И все же, как ни странно, идея защиты и утверждения демократических ценностей тоже не оказа-

тась настолько сильной, чтобы интегрировать западное историческое сознание. Даже в простодушной Америке, с ее румяным «демократическим прозелитизмом» и маниакальным стремлением добиться проведения свободных выборов в каждом племени каннибалов, «демократический взгляд» на ход всемирной истории, породив немалый пласт научной, не совсем научной и совсем не научной литературы, не стал все же для историописания определяющим. Другие влиятельные идеи современности, например экологическая или феминистская, оказались вполне в состоянии создавать более или менее влиятельные направления в историческом знании, но также не предложили (и, похоже, уже не смогут этого) общезначимого влияния на историю. Поневоле создается впечатление, что в современном мире вообще нет таких идей, которые могли бы сравниться с «религиозной», «национальной» и «социальной» идеями прошлого по своей интегрирующей силе. Иначе говоря, западное общество ощущает наличие каких-то опасностей, но не видит на своем горизонте никакой подлинной Опасности. Соответственно, оно не испытывает потребности в создании иллюзорного будущего, а потому не нуждается и в «объясняюще-спасающей» истории.

Если историческое знание не вдохновляется ясной картиной грядущего (т. е. навязчивыми страхами в настоящем), оно удовлетворяется зданию, возводимому без связующего раствора, а значит зданию, рассыпающемуся уже в ходе такого бесконечного строительства. Дробление и мельчание европейского исторического знания на протяжении всего XX в. очевидны, в возбуждении читателя примерами нет необходимости. Время от времени та или иная группа относительно молодых и безусловно энергичных энтузиастов провозглашает, что пора распавшая закончена, пробил час нового синтеза. Они предлагают более или менее остроумную идею, призванную стать основой для кристаллизации «новой истории». Большая или чаще меньшая часть научного сообщества этой идеей увлекается и обсуждает ее лет 10—15 с немалой заинтересованностью, а потом — со все нарастающей усталостью. За это время эпигоны успевают заболтать находку до того, что она начинает вызывать тошноту, особенно у следующего, уже успевшего подрасти поколения, разумеется, также жаждущих самоутвердиться (а потому временно нонконформистски настроенных) и также небезостановочных энтузиастов. Они смело поднимают голос против вчерашних авторитетов, говоря (и вполне справедливо,

приходится признать), что предыдущая попытка синтеза окончилась неудачей. После чего все повторяется с самого начала. По морю исторических сочинений вновь пробегает методологическая рябь, открывается несколько относительно новых тем, надоевшие словечки заменяются новыми, посвежее, но обещанный синтез, уже вроде бы, по слухам, успешно состоявшийся в какой-то одной отдельно взятой историко-алхимической лаборатории, на самом деле снова оказывается по той или иной причине недостижимым. Что же касается массового исторического сознания, то оно может вообще никак не отозваться на проблемы, занимающие умы узкого слоя профессиональных историков.

Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что столь желанный многими синтез в истории на самом деле недостижим по причинам не случайного, а принципиального свойства, а тоска по нему, время от времени обуревающая европейского или американского историка, — не что иное, как проявление ностальгии по Девятнадцатому веку, т. е. по той былой, увы, уже успевшей изрядно поблекнуть, оптимистической вере в разумность, осмысленность, а главное — осмысленность человеческим разумом мира. Ностальгия и тоска — вполне естественная и здоровая реакция на неуютность собственного положения. Здоровое чувство самосохранения, похоже, оказалось у историков сильнее развито, чем у художников, философов или писателей: в завершающемся веке появились и концептуальное искусство, и философия иррационализма, и литература абсурда, но не родилось сколько-нибудь заметного концептуального (хотя бы в литературном плане), иррационального или же абсурдистского историописания. Разумеется, историки не могли остаться совсем незатронутыми общекультурными течениями — они просто откликнулись на них иначе. Литератор, переживающий в XX в. всеобщий распад бытийственных связей, должен для передачи своих ощущений прибегать к чрезвычайным языковым и художественным средствам. Историк же в своей работе поневоле привык иметь дело лишь с мелкими фрагментами давно исчезнувшей жизни. Недостаток или даже отсутствие всеобщих связей в знакомом ему кусочке бытия — дело не исключительное, а повседневное. Черный человек не является историку в отдельные минуты мрачного озарения, как поэту, — он все время стоит у него за плечом.

Ностальгия по синтезу, ностальгия по XIX в. — это выражение неудовлетворенности нынешним состоянием историче-

ского знания, раздражающей слабостью его способностей к обобщениям. На то, что нынешняя история европейского общества — в осколках, жаловались и жалуется постоянно, призывая срочно приниматься за их склеивание. Но почему-то мало кому хватает смелости признать очевидное — это и есть сейчас, наверное, самое естественное и, более того, единственно возможное состояние истории.

Все привыкли говорить о «кризисе» в историографии XX в., сравнивая ее тем самым сознательно или подсознательно со всякой за образец «некризисной» историографией века XIX. В пугающем, на первый взгляд, слове «кризис» кроется на самом деле трепетная и наивная надежда на возвращение к истокам: быстрые времена разброда и шатания пройдут, и историки вновь почувствуют под ногами твердую почву, история вернет себе общие основания и ту свою объясняющую роль, которые так украшали ее в прошлом веке. О, сладость несбывающихся надежд! Конечно, психологически легче признавать, что в исторической науке вот уже более ста лет подряд длится «кризис», конца-края которому и впереди, сколько хватает взора, не видеть (дольше длился, наверное, только кризис Римской империи), чем допустить, что кризис этот давно уже миновал, но... с печальным для больного исходом. Тот конкретный, весьма специфический вид исторического знания, который принято называть исторической наукой и который преобладал в Европе в XIX в., уже не переживает кризис — он давно умер, и на чудесное его воскрешение рассчитывать всерьез, увы, вряд ли приходится.

Не стоит сейчас углубляться в запутанные дебри науковедческих дискуссий о том, что собственно есть наука «как таковая», чем она отличается, а чем не отличается от иных форм организации знания, в чем состоит всегда несколько неуверенно формулировавшаяся «особость» «особых» гуманитарных наук вообще и истории в частности и, наконец, как мутировали за последние десятилетия те «образцовые» науки, чья «научная репутация», в отличие от истории, никогда не ставилась под вопрос. Постольку, поскольку науке позволено выявлять и использовать некие общие законы и чуть менее общие закономерности (а это допущение при всей своей грубости, кажется, более или менее признается), истории как науки на самом деле больше нет. Смертельный удар ей нанесли еще неокантианцы, а вся последующая критика, в том числе и со стороны постмодернистов, — лишь мало что

добавляющее по существу вопроса приплясывание на ее костях.

Высказанный тезис — еще не повод для траура и слез. Отец европейской истории Геродот намного старше отца европейской науки Галилея.. Соответственно и история несопоставимо древнее науки. История — прежде всего рефлексия общества, а потому будет существовать, пока существует само общество — неважно, в форме космогонического мифа или же компьютерной игры «про фашистов» (что, кстати, не так уж далеко друг от друга). А вот вечно ли будет существовать европейская наука (или она, например, вновь растворится в религии либо же сама станет таковой) — можно лишь гадать. В XVIII—XIX вв. история напоминала аристократку с бесчисленными поколениями титулованных предков за спиной, которую вдруг стали презирать за то, что ее вкусы и привычки совсем непохожи на стиль жизни одной безродной парвеню, едва-едва пробившейся в свет и тут же по случаю оказавшейся в высочайшем фаворе. Аристократка оказалась не высокомерной: она прилежно пыталась стать такой, как все от нее вокруг хотели, но сколько можно идти против собственной природы? Наверное, и в XIX в. история наукой не была, но тогда она еще честно из всех сил старалась в нее превратиться.

Близкое знакомство с нравами парвеню оказалось, впрочем, существенным. История переняла некоторые требования науки к структурированию, оформлению и оглашению собственного знания, или же, говоря иначе, наука задала нормы общения внутри профессионального сообщества и способы отличить людей, в него официально допущенных, от сторонних «чужаков». Более того, наука дала истории довольно точные приемы проверки определенной категории старых и получения новых, притом (более или менее определенных, знаний), так что теперь есть щелые разделы истории (ярче всего представленные так называемыми специальными дисциплинами, сфера влияния которых постоянно расширяется), где присутствие науки ясно чувствуется. Историк, к примеру, нашедший в архиве важный документ, сумевший его в соответствии с некоторыми (вполне научными) правилами прочесть, истолковать и опубликовать, безусловно, завоевывает новую крупницу «положительного» знания. Но вот сплавлять такие крупницы в сколько-нибудь строгие, общезначимые и устойчивые системы, к тому же еще и способные выдержать эмпирическую проверку (как это и положено Науке), история при всем желании

получиться так и не смогла. А за последний век она успела уже растерять и желание заниматься столь несвойственным ей делом.

Европейско-американское историописание тем более дробилось на осколки, чем более гомогенизировалось по уровню жизни западное общество. Главную причину затухания массовых страхов и рассеивания традиционных видов массовых иллюзий (Голливуд — не в счет), о чем шла речь выше, наверное, следует видеть прежде всего в примерном выравнивании способов существования основных групп населения. В обществе, или, говоря языком социологов, все более увеличивается доля «постматериальных потребностей», рассеиваются, как туман, и самые классические «социальные интересы», которые способны объединять в стремлении, протесте и борьбе сотни тысяч людей. Вместе с уходом резких социальных градаций уходят массовые партии, могучие профсоюзы, а главное — великие идеи, способные одухотворять массы. Когда большинство получило сносные условия для существования, открывается простор интересам не «первичного» плана (а потому массовым), но «вторичного» — куда более разнонаправленным. Вот тут-то и начинается действительная социальная дифференциация — не столько на пять-шесть общественных слоев, сколько на бесчисленное множество мельчайших ячеек разнообразных половозрастных, профессиональных и прочих микроинтересов, на всевозможные товарищества отчисленных из Оксбриджа, кружки любительниц аборт, клубы фэнов музыки сфер, содружества сторонников нетрадиционного использования еды, общества энтузиастов выпрямления Млечного пути, банды угонщиков синих детских колясок, секты анонимных опенспеклонников и ассоциации спасения пуделей от стрижки. Если классы, как нас настойчиво учили, когда-то действительно и существовали, то скоро все, что от них останется, — это одни референтные группы. Похоже, что место традиционных «социальных» разграничителей в обществе заняли психосоматические, и социуму придется теперь волей-неволей делиться на группы людей с относительно сходными темпераментами, менторикой, «химией мозга» и прочими личностными характеристиками.

Масс больше нет, а есть индивид, все более освобождаемый от порой стеснявших, но порой и поддерживавших старых социальных связей, а потому и все более тоскующий от одиночества. Его жизненная драма, как показывает нам литература, не

социального, а экзистенциального свойства: она не сближает его с другими такими же, а, напротив, отдаляет от них. Для ощущения собственной полноценности ему уже не нужны ни всеобщая социальная иллюзия, ни всеобщий социальный страх. И успокаивающую иллюзию, и порцию взбадривающего страха он получает в полезных для здоровья дозах индивидуально и приватно — нажав вечером кнопку телевизора. Так для чего же историку пытаться склеивать из осколков разбитое зеркало, когда в него все равно некому больше смотреться?

И в перспективе вряд ли стоит ожидать возвращения «традиционной социальности». Стремительное развитие информационных технологий приводит к замене многих межлических связей на чисто технические. Компьютер и Интернет вскоре начнут растворять, как кислота, самые, казалось бы, привычные и прочные социальные институты и сферы человеческого общения — от магазинов, библиотек и университетов до бюрократии, политических партий, парламентов, наций и уже и без того становящихся архаичными национальных государств.

Зачем нужен будет, к примеру, академический институт истории? Историк рассылает свои электронные заявки на проведение исследования по безличным космополитическим фондам, в случае удачи получает от какого-то из них на банковский счет деньги на прожитие, выводит на свой дисплей и всячески обрабатывает там же любую нужную информацию из любого ее хранилища и путем нажатия клавиш общается, хоть круглосуточно, с горсткой специалистов по его узкой теме, разбросанных от Тасмановой земли до Баффиновой.

В итоге такого развития техники и общества человек оказывается настолько могуществен и самодостаточен, что не испытывает жизненной потребности ни в одной форме групповой идентификации (а ведь история и является одной из таких форм) — он остается вдвоем со своим компьютером и в одиночестве, по сравнению с которым нынешнее, на которое в XX в. было так много жалоб, покажется верхом социальности. Дай бог, чтоб сохранилась хотя бы какая-нибудь форма семьи в доказательство справедливости слов простенькой, но мудрой песенки: «Все он может, мирный атом, но вот этого, вот этого — никак», а то ведь что только может не оказаться в конце концов виртуальным... Угадываемый впереди результат — одинокий индивид наедине со всем миром, ставшим, благодаря компьютерным сетям, обозримым столь же легко, как аристотелев

ноис. Интересно, будет ли смысл тогда в сочинении истории, если это будет не история одной отдельной личности либо же человечества в целом — новой ойкумены, со всеми обитающими в ней меотами, кавконами, карийцами, петами, амафунтами, каласириями, неврами, писидийцами, сикелийцами, тоскениками, этетами, сапеями, пеонами, феспротами, тибарейцами и прочими ихтиофагами?

Вот и вышел случайно прогноз или, если угодно, предвидение, но разве не характерно, что, справедливо это предсказание или нет, оно построено отнюдь не на специфическом владении именно историческим знанием, а всего лишь на отслеживании наиболее заметных в настоящем процессов да на основе социологии? Предвидение не относится к числу даров Божьих.

Все, многословно изложенное выше, показывает, думается, что дела у генерализирующего, «объясняющего» историописания идут и будут идти худо, причем по причинам, совершенно независящим от личной одаренности и доброй воли историков. Это не означает, что писать «синтетические» работы с сегодняшнего дня категорически запрещается или что таковых вообще само собой не появится. Возможно, наоборот, вполне допустимые «попытки синтеза» будут предлагаться еженедельно, но вот сила их воздействия за пределами круга близких друзей автора будет скорее всего весьма низкой. Может появиться великое множество индивидуальных объяснений хода истории, но не будет ни одного, сколько-нибудь «общепринятого», хотя бы только среди части профессионалов. Само состояние научного сообщества совсем не способствует усилиям по историческому синтезу. Поток информации (отнюдь не всегда доброкачественной) усиливается не по дням, а по часам. Только по медиэвистике выходит сейчас около 10 000 статей ежегодно, не говоря уже о монографиях. Вся эта продукция уже не поддается обработке с той степенью полноты и тщательности, которая по традиции требуется (хотя бы в идеале) правилами научного сообщества. Необозримость информации — трудно преодолимое препятствие на пути к ее корректному обобщению.

Если в XIX в. профессор истории мог позволить себе десятилетиями писать эпохальный труд, пока его идеи и форма их выражения не вызреют вполне, то в наше время прозаическая необходимость отчитаться в срок перед грантодателем или университетским советом заставляет выбрасывать на интелле-

ктуальный рынок великое множество не вполне зрелых штудий. Если в прошлом веке действительно серьезное исследование имело шанс составить эпоху уже потому, что с ним обязательно знакомились все сколько-нибудь влиятельные в научном сообществе лица, то теперь оно без соответствующей работы по «маркетингу и рекламе» имеет все шансы утонуть в море второсортных сочинений. В прошлом веке число и влиятельных профессоров истории, и окружавших их учеников было невелико, так что удачливая идея легко завоевывала себе весомую долю интеллектуального рынка. Теперь же при изобилии всевозможных университетов, институтов, научных школ и кафедр мобилизующая сила даже самой яркой идеи самого талантливого интеллектуала гасится от трения об идеи иных весьма многочисленных талантливых интеллектуалов, каждый из которых стоит в центре своего «сектора» или своей «ячейки» — одной из тысяч внутри едва обозримого научного сообщества. Композитор может заслуженно гордиться, если его мюзикл продержался на Бродвее месяца два, прежде чем его вытеснили другие постановки. Автор «синтезирующей» идеи в истории должен быть счастлив, если ее не забыли через десять лет — все новые волны литературы захлестывают профессионально работающего историка, и возвращаться, например, к осмыслению заново классики десятилетней давности уже просто недостает сил. (Конечно, если нет особых — личных — оснований верно любить ту или иную книгу, например, воспринятую как откровение в романтическом студенческом возрасте.) По-настоящему бессмертны только издатели источников, но много ли в XX в. тех, кто посвятил свою жизнь этому тяжелому занятию? Всем же Муратори XXI в. вместе взятым хватит забот с перенесением бесчисленных текстов, некогда произведенных по устаревшей гуттенберговской технологии, на какие-нибудь новые цифровые лазерно-оптические да дигитально-стекловолоконные носители информации.

В нашем веке стало попросту слишком много историков (кстати, оплачиваемых в среднем существенно хуже, чем их коллеги в прошлом веке), а история превратилась в массовое ремесло, вроде портняжничества, так что любая концепция исторического синтеза, исходящая от одного из них или даже от целой группы, не имеет шанс на продолжительное господство над умами. Сообщество может относительно легко достигать согласия в отношении конкретных методик исторического исследования, но оно не в состоянии сойтись на одном по-

формации какой бы то ни было общеметодологической проблемы или тем более на теории «общеисторического» уровня.

В нашей родной стране общие процессы отличались, как водится, немалым своеобразием. Официальный марксизм на десятилетия избавил отечественную историческую науку от той мучительной рефлексии по поводу смысла собственной деятельности и тех дискуссий о природе исторического знания, что сильно смущали покой историков на Западе. Требовавшаяся и строгая идеология сыграла у нас роль рефрижератора, сохранившего в замороженном, но еще вполне пригодном к употреблению виде существенную часть европейского XIX в. — его историческое сознание. Здесь и набор основных социальных «страхов», и, соответственно, образ желаемого будущего, а как следствие — и «рациональный оптимизм» (вера в неограниченные возможности постигающего разума), и «социальный оптимизм» (вера в восходящее развитие общества), и понимание исторического процесса как целостного, и требование к истории выявлять и объяснять если не всеобщие законы общественного развития (они уже открыты и пересмотру не подлежат), то хотя бы некоторые его существенные закономерности, и, наконец, организация работы историка. Можно сказать еще сильнее: мы стали в конце концов едва ли не единственной страной, в которой к концу XX в. все еще существовала историческая наука.

Конечно, советская историография никогда не была методологическим монолитом. Под вуалью из дежурных цитат можно обнаружить наряду с той или иной трактовкой марксизма то вполне классический позитивизм, то не менее классический национальный романтизм, то структурализм, то школу «Анналов», то нечто настолько индивидуальное, чему и название не подберешь. Однако понимание роли истории в обществе оставалось, кажется, во всех этих случаях примерно одинаковым. Удивительно, но и весьма показательно, что как катаклизм 90-х годов, глубочайший, с какой бы позиции на него ни смотреть: с марксистской (ретроградная смена общественно-экономических формаций!), с национальной (потеря одной из ведущих ролей в мире, национальное унижение!), с либеральной (внезапное приобщение к «мировым ценностям»!) или со свежобретенной клерикальной (новая евангелизация Руси!) — как-то неадекватно слабо сказался на научном сообществе историков и том, как оно осознает и этот катаклизм, и свою роль в нем, да и вообще содержание собственных про-

фессиональных занятий. Вместо дискуссионных бурь, начавших было пошумливать во второй половине 80-х, — несколько странная тишина и явная всеобщая неохота бередить умы и разжигать страсти обсуждением внутрицеховых проблем. Тишина эта — вообще-то благо, поскольку свидетельствует о присутствии в сообществе такта и здорового чувства самосохранения, не позволяющего поднимать неудобные вопросы, обсуждение которых чревато общими неприятностями.

Совсем не так давно начинающим историкам настойчиво внушали, что их дисциплина — не только предвидящая, но еще и идеологическая. Последнее произносилось обычно с подчеркнутой многозначительностью и как бы с нарочно не слишком глубоко упрятанным намеком на причастность историка к делам власти. Тогдашняя государственная идеология и тогдашняя власть вроде бы кончились и даже вроде бы осуждены, хотя, с другой стороны, вроде бы и не так чтобы до конца... Что случилось в братских странах после крушения социализма с теми историками, кто во время оно так же высоко ценил свою причастность к такой же идеологии и такой же власти? В Польше таковых к 1989 г. на заметных постах собственно почти уже и не осталось, зато в Чехословакии после «бархатной революции» провели люстрацию, а в бывшей ГДР разогнали «индоктринированные» кафедры, институты и факультеты с бескомпромиссностью, похожей на свирепость. У нас после минутной растерянности просто сменили таблички на дверях особо одиозных кафедр. Академические журналы, ранее описывавшие, какую хорошую политику осуществляла Коммунистическая партия, стали в той же тональности описывать, насколько эта политика была плохой. А по количеству на душу населения явившихся в мгновение ока непонятно откуда целых армий политологов и даже культурологов страна тотчас обогнала весь прочий мир (чего, впрочем, нельзя сказать ни о нашей политологии, ни о нашей культурологии последних лет).

Пожалуй, всем стоит порадоваться, что никаких чисток не состоялось. Во-первых, перетряска в среде скромных идеологических работников выглядела бы по меньшей мере странно и даже несправедливо, когда вся прошлая социальная элита без особых потерь плавно перетекла в элиту нынешнюю. Во-вторых, при возможных кадровых просеиваниях было бы нервов истрепано много, но без особого толку, поскольку принципиальную чистку от «слуг скомпрометировавшего себя режима», наверняка, проводили бы эти самые слуги, только что

мгновенно полностью прозревшие. Наконец, в-третьих, и при наименшем щадящем варианте, когда каждый получил возможность найти себе место под новым солнцем, всего через каких-то 10–15 лет наиболее активная и продуктивно работающая часть исторического сообщества будет укомплектована сегодняшними студентами, уже весьма смутно представляющими себе реалии развитого социализма, — так из-за чего же было бы теперь страсти раздувать? Только вот не унаследует ли и постсоциалистическая смена убеждение, что одна и та же предвидящая наука история может с равной доказательностью предвидеть торжество то коммунизма, то цивилизованного рынка — в зависимости от потребностей? Конечно, неприятный вопрос о персональной, а главное, цеховой ответственности (хотя бы моральной!) историков за некоторые не самые приятные стороны советской власти в конце концов неизбежно будет поставлен, но, вероятно, лишь когда приобретет не столько отвлеченную академичность.

Похоже, что и собственно теоретические дискуссии не вызывают теперь такого интереса, как еще совсем недавно — на самом закате прошлой эпохи. Почему-то при умирающей психологии «спорить о методе» было увлекательно, а ныне, когда она тихо скончалась в бозе и мысли открыт вроде бы простор небывалый, это же самое занятие представляется довольно скучным и излишним. Наверное, сказывается тяжелая констатация, пережитая всем сообществом в результате перемен последних лет, а может быть, дело серьезнее. Если внимательно прислушаться в царящую у нас тишину, можно различить еле слышимый, но постоянный звук, похожий то ли на звон, то ли на шорох. И это уже не слуховая галлюцинация, также вызванная контузией, а нечто объективное: потихоньку покрывается сеткой трещин, раскалывается и осыпается наше старое историческое зеркало. Историческое сознание и в нашем отечестве приходит в состояние, возможно, и не слишком радующее, но нормальное для XX в. — состояние в осколках.

Когда способные аспиранты, ассистенты и младшие научные сотрудники возвращаются теперь из очередной заграничной командировки, они привозят оттуда обычно не общие концептуальные идеи, а конкретные исследовательские технологии. На нашем интеллектуальном рынке сильно изменился характер спроса: если 20 лет назад едва ли не любая методологическая новация, запорхнувшая случайно за железный занавес, оказывалась здесь в окружении сотен талантливых по-

клонников, лелеющих гостью стрепетной нежностью, неведомой ей даже на родине, то сейчас ценностью обладает прежде всего прозаическое ремесленное знание.

В советскую пору умение порассуждать об историческом процессе вообще, со всеми его основными закономерностями и противоречиями, могло с успехом компенсировать отсутствие знаний новых и древних языков, библиографии, палеографии, архивного дела и прочих «вспомогательных» разделов исторического знания. Теперь же самой характерной (хотя и очень нешумной, а потому мало замеченной) тенденцией стал относительный рост «знаточеского», а не «концептуального» исторического знания. Едва ли не впервые в нашем веке появляется целое поколение, не пугающееся работы в архивах и, самое главное, умеющее там работать. Конкретное знание конкретного вопроса ценится куда больше умения вписать его в «широкий исторический контекст». Да и прирастают достижения отечественных историков последнего времени, если судить даже по официальным отчетам «ответственных лиц», за счет добычи на-гора узко специализированных сведений, а не за счет разработки общих теорий. Если таковой станет ведущая тенденция в развитии научного сообщества, то его направление особых сомнений не вызывает. Сообщество будет чем дальше, тем больше дробиться на мелкие группы узких, но свое дело хорошо знающих и вовлеченных в международные связи профессионалов, правда, скучающих в обществе коллег, занимающихся иными темами и вызывающих, в свою очередь, смертельную скуку у тех. Сбирать их под один методологический флаг (или даже под несколько флагов) — дело совершенно безнадежное. Ни выявлять закономерности, ни предлагать обществу пути спасения эти люди больше не будут. Если, конечно, завтра не выйдет властный циркуляр, провозглашающий всех историков при государственных должностях, скажем, патриотами, призванными денно и ночно отстаивать в каждой публикуемой строке жизненные национальные интересы. Поскольку состояние общества не блестящее и какая-нибудь сотерическая идея ему бы сейчас не помешала, а родное государство может еще и не догадываться, что общественная роль истории и историка в XX в. иная, чем в XIX, то подобные эксцессы не исключаются.

Происходящий сейчас у нас тихий распад традиционного историзма, влекущий за собой, помимо прочего, дробление сообщества историков на совокупность весьма слабо связан-

ных друг с другом индивидов, далеко не всеми осознается и, тем более, не принимается душой как закономерный, но ощущает, естественно, некоторое неудобство и чувство дискомфорта порой на чисто подсознательном уровне. Жизнь вообще всю всякой объясняющей исторической теории представляет весьма многим не жизнью, а сплошным мучением.

Первый типичный и вполне естественный вариант выхода из психологических сложностей состоит в сохранении верности старым марксистским ценностям. Многие одаренные люди приходили когда-то в историю с благороднейшим намерением шагок за шагом, десятилетие за десятилетием осторожно, по чуть-чуть раздвигать косные рамки истмата, не вступая, правда, с ним при этом ни в малейшую конфронтацию. Они крадучиво, но настойчиво старались вживлять в сухое лоно официального историописания эмбриончики живого творчества при помощи и своих конкретных штудий, и неортодоксальных цитат из всевозможных «ранних сочинений», «экономических фрагментов», и прочих уже изрядно раскритикованных мышами рукописей. Медленная и требующая точности работа по каучукизации догмы, похожая на работу сапера, становилась подвигом и смыслом всей жизни. В один прекрасный августовский день у жизни был отнят ее смысл — догму отменили. Если бывшие ортодоксы-циники с легкостью чрезвычайной бросили старых идолов и побежали окуривать новых, то «осторожные реформаторы» — люди с принципами — обиделись на бесцеременно обогнавшее их время и стали вопреки господствующему идеологическому течению славить марксизм — тот самый, «творческий», реально, кажется, никем не виданный, но созданию которого были отданы лучшие годы.

Второй вариант предполагает на словах решительный отказ от марксистской концепции истории при полном следовании ей по сути. Лучший пример такого пути решения проблем предоставляет средняя школа. Наш типичный учитель (и типичный управленец от образования) просто не в состоянии представить себе историю в осколках, не способную объяснить, по крайней мере, судьбы человечества. Любой методист снисходительно скажет, что Геродот написал в лучшем случае «книгу для чтения» (как будто бывают книги для забивания гвоздей), поскольку «нарративный момент» у него преобладает над «аналитическим», и из бесконечных рассказов грека нельзя себе уяснить «ход исторического процесса». Упрощенно говоря, школа переименовала ставшие с недавних пор страшно непри-

личными «общественно-экономические формации» в более благозвучные, хотя и менее определенные «цивилизации» — и успокоилась. Исходное понимание места, роли и функций истории в обществе осталось прежним — из XIX в. «Теория цивилизаций» появилась когда-то на нашей почве как один из результатов усилий по приданию большей гибкости официальному марксизму, наряду с другими изобретениями того же плана, вроде «деятельностного подхода» или теории альтернатив. Цивилизационный подход должен был сыграть роль второго «азиатского способа производства», дискуссии о котором, как казалось (а может быть, и оказалось), раздвинули тесные рамки ортодоксии, но при этом, естественно, без попыток эти рамки сломать.

Чтобы бдительные ортодоксы не загрызли ее во младенчестве, «теория цивилизаций» на первых порах сама все время лепетала, как хорошо она «совмещается» с марксизмом вообще и с формациями в частности. Когда официальный марксизм вдруг зашатался, пришел черед уже бдительным ортодоксам настаивать на «совмещении» формаций с цивилизациями, чтобы не отдавать удачливому конкуренту всего и сразу. Но для их беспокойства не было на самом деле серьезных оснований: грозный, по слухам, пришелец оказался не настоящим конкурентом и, тем более, не ниспровергающим основы мстительным революционером, а по-девичьи нежной сестрой милосердия, ухаживавшей до последнего за умирающим стариком. После кончины официального марксизма «теория цивилизаций», оказавшись одна на продуваемом всеми ветрами юру, заскучала. Из нее никак не получается сколько-нибудь общезначимой формы генерализации исторических знаний, и, наверное, не случайно, а потому что, как вытекает из сказанного выше, время всяких генерализаций подобного типа прошло. Категория «цивилизация», в отличие от категории «формация», гибка и изменчива, как Протей: она готова принять любой облик и любое содержание. В эпоху «каучукизации догм» это качество было весьма ценным, а в нынешнюю оно скорее бесполезно. Понятие «цивилизация» настолько ни к чему не обязывает историка, что в 95 % случаев его можно попросту не замечать — и притом безо всякого ущерба для понимания прошлого. А уж когда в тех же школьных «цивилизациях» под модной косметикой без особого труда угадываешь до боли знакомые черты базисов и надстроек, социальных революций и производительных сил, становится понятно, почему

чение так настаивали на круговращательном характере движения времен.

Слова «базис» и «надстройка» в нынешних исторических трудах попадаются редко. Терминологическая революция, по мнению многих, грянула с высокопринципиальной или отчаянной заменой сочетания слов «классовая борьба» на сочетание слов «социальная борьба». Но исходная установка нашего марксистского историописания на то, что «главным» в истории является не история, а социология, осталась без изменения. Социологизированность в духе XIX в. мышления отечественного историка заметна даже при его сознательном стремлении избегать собственно марксистской терминологии. Сама манера расставлять акценты на «важнейшем» и «вторичном» (производство не может быть вторичным!), поиск всеобщих причин и обязательных следствий, несложный эволюционизм и набор обязательных «общественных противоречий», даже выбор ключевых понятий — все это никак не желает превращаться из инструментария историка в объект его профессионального интереса.

Особая тема — это, конечно, язык историка. Пока историки не знали, что история — это наука, они думали, что она — вид словесного творчества, и старались писать не без изящества. Ни Геродота, ни Григория Турского, ни Гердера нельзя упрекнуть в невнимании к стилю. В XIX в. ценности меняются, история превращается в науку, и вот уже не конкретный автор, а она — великая и непогрешимая Наука — принимается со страниц исторических сочинений вешать обезличенные абсолютные истины. С этого времени «принятый» стиль высоконаучных исторических трудов начинает (за некоторыми счастливыми национальными исключениями) напоминать голоса дикторов советского радио. Поставленные на особый лад, они все звучали как-то очень похоже, без ярких индивидуальных отличий и с такими нездешними потусторонними интонациями, что сразу становилось ясно — к тебе обращается не какой-то живой человек, а само Государство. Присутствие сверхличностного начала — Науки — легко ощущается не только в отстраненном «мы», от чьего имени обычно ведется трудный рассказ, но и во всей суконной манере изложения, явно призванной скрыть то постыдное обстоятельство, что автор — живой человек, сотворенный вполне обычным, а не каким-нибудь чисто интеллигильным способом. Широко распространенные недостатки порой начинают восприниматься в качест-

ве нормы. Вот и у нас сложилось диковатое убеждение, что «серьезное» историческое произведение обязательно должно быть скучным, а нескучное произведение не может быть серьезным. Историк может накопать в архивах горы никем не виданных документов, учесть самые экзотические публикации, не читавшиеся до него никем, кроме их авторов, написать с полным знанием дела десяток новаторских книжек, но если он имеет несчастье обладать сколько-нибудь изящным стилем и облекать свой рассказ, заботясь об интересах читателя, в более или менее приятно для усвоения форму, то всегда отыщется какой-нибудь нудный ханжа — блюститель примитивно толкуемой цеховой нравственности, который, не вникнув в суть дела, обвинит его, например, в чем-нибудь вроде увлечения «беллетристическим галопом».

Такой критик не замечает между тем, что нормальный человеческий язык отнюдь не уступает по выразительности «научному» жаргону, до пределов загрязненному столь же «учеными», сколь неудобопроизносимыми и, главное, не точными по сути «терминами». Историей отдельных понятий в духе Отто Бруннера и его последователей у нас, кажется, толком никто еще не занимался, а потому нет и понимания того, насколько неопределенны и размыты смыслы множества самых что ни на есть распространенных «научных терминов». Так, вроде бы есть не обращалось внимания, что даже столь важное прилагательное, как «феодальный», в самую что ни на есть ортодоксальную пору под пером самых что ни на есть ортодоксальных авторов то и дело употреблялось в совершенно не марксистском смысле. Почему российское боярство воплощало в себе «феодальную реакцию» по отношению к Ивану Грозному? Основатель опричнины рвался к прогрессивной капиталистической формации, а бояре его туда не пускали? Нет, правильное объяснение надо искать в книгах старых французских историков, еще ничего не слыхавших о марксизме.

Как хорошо известно, одно из самых укорененных «французских» пониманий феодализма — это политическая раздробленность. Слово «феодальный» прилагается к тому, что мешает централизации. И именно в этом смысле оно «контрабандно» в составе более или менее устойчивых словосочетаний перекочевало на страницы сочинений советских историков, читавших много либо французских книг, либо же русских, но написанных под галльским влиянием. Сочетание слов «феодальные сеньоры» в «марксистском» понимании лишено смысла —

сеньоров капиталистических или рабовладельческих марксистская социология не знает. Но вот сеньоры, препятствующие централизации страны под скипетром короля, хорошо известны — правда, к основным признакам феодальной общественно-экономической формации они при всей своей объективной реакционности отнесены быть не могут.

Если одно из ключевых понятий употребляется неряшливо, с постоянными смысловыми шумами, то при склеивании его с другим — не менее неопределенным — степень невнятности резко увеличивается. Что такое государство — сказать просто, но в марксистской социологии наибольшей популярностью пользовались определения, созданные классиками при рассмотрении современных им национальных государств. Отсюда и машина для подавления, и постоянные армии, тюрьмы, и определенная территория, и суверенитет. С другой стороны, на подсознание русского читателя действует и ассоциация, вызываемая самим звучанием слова «государство» — оно явно происходит от слова «государь». (В западных языках ассоциации совершенно иные, восходящие через посредство итальянского к латинскому status — состояние, статус, устройство, социум.) А что же такое всем нам из учебников хорошо известное мистическое «государство эпохи феодальной раздробленности»? Страна разорвана на клочки «феодальными сеньорами», но тем не менее есть машина, постоянная армия, суверенитет и определенная территория? Вся раздробленная Русь или же вся раздробленная Франция — это одно государство, хоть его как такого и нет? Или же отдельное государство — это каждое суверенное (опять многозначное словечко из французского словаря) владение младшего отпрыска какого-нибудь мелкого княжеского рода, а его тиун и три холопа и воплощают собой знаменитую «машину для подавления»? Это загадочное «государство эпохи феодальной раздробленности» так мерцает и колеблется при всякой попытке постичь его сущность, что поневоле хочется в отчаянии воскликнуть вместе со Жванецким: «Нет, вы мне скажите, оно есть или его нет? Есть или нет?»

Путем дальнейшего нанизывания подобных «терминов» можно успешно строить теории и без конца писать вполне наукообразные монографии об «особенностях эксплуатации в государстве эпохи феодальной раздробленности» или о «государстве эпохи феодальной раздробленности как политико-правовом выражении социальных противоречий общества зре-

лого феодализма». Чем гуще смысловой туман, тем интенсивнее могут вестись научно-теоретические дискуссии. Впрочем, в любви ко квазинаучным терминам с неопределенным содержанием мы не одиноки. Те же французы всего несколько лет назад чуть не до хрипоты спорили между собой, был ли рубеж X и XI вв. всего лишь *mutation* или все-таки *révolution*...

Упоминавшийся Иван Грозный любил временами «перебирать людишек», нам тоже стоило бы хоть изредка «перебирать словечки» из привычного с детства социологического лексикона, на котором, как и встарь, держится наше здание Исторической Науки. Интересно, сколько «научных понятий» выдержит научную проверку на профпригодность? Есть, конечно, «научные термины» и поновее, но использование многих из них носит чисто знаковый характер. Автор светит определенными словами, как ночной корабль опознавательными огнями, чтобы читателю стало ясно, к какому направлению или группе лиц сочинителю хотелось бы себя причислить.

Как бы то ни было, теоретические вопросы обсуждают и у нас все меньше, а конкретные методики — все больше, да и конференции, привлекающие внимание, посвящаются последнее время не столько осмыслению исторического процесса вообще, сколько чему-нибудь более конкретному, например анализу одной-единственной ночи (которая, правда, была Варфоломеевской). Если история как набор полусушеных социологических закономерностей (марксистского или немарксистского происхождения — не так важно), действительно, исчезает, то на смену ей должен прийти иной доминирующий тип историописания. Как и на Западе, в нем будут превалировать «знаточеские» конкретные штудии, порой раздражающие своей фрагментарностью, вырванностью из сколько-нибудь широкого контекста. Писать, правда, будет принято намного веселее и интереснее, чем сейчас, хотя бы из соображений рекламы. Прошло то время, когда автора академической монографии совершенно не интересовало мнение публики — оно не сказывалось ни на принятии книжки к печати, ни на ее тираже, ни на ее оценке. Теперь за читателя вне пределов ничтожно узкого круга специалистов (а значит, в конечном счете и за спонсора для новых исследований) придется побороться — у того есть много приятных способов провести время, так стоит ли, например, выключать видео ради какого-то исторического сочинения? Тяжеловесные монографии классического типа, вероятно, несколько потеряют в значении, а статьи и истори-

и не эссе, напротив, станут более уважаемыми жанрами исторической прозы. Во всяком случае, безусловное право быть собственным сохранится, наверное, только за справочниками — отсюда и нынешнего человека время осиливать большую книгу?

Но все же главное, скорее всего, — это установка автора не на описание «своего» фрагмента прошлого во все расширяющийся круг заданных некими внешними теоретическими условиями внешних связей, а на углубленное выявление собственных свойств именно этого фрагмента «на фоне» индивидуального личного опыта исследователя. При должном тщании и хорошей профессиональной подготовке внутри таких осколков, может быть, и удастся разыскать нечто намного большее, чем эти осколки сами по себе... Собственно этим и стараются в меру своих сил заниматься авторы альманаха «Калейдоскоп», в число почетных членов которого они с удовольствием приняли бы и, кажется, в чем-то несколько сходным образом занимавшего историю Геродота из Галикарнаса.

М.А. Бойцов

*Статья подготовлена
при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 91-01-00243)*

Дискуссия по статье М.А. Бойцова*

И.С. Свенцицкая (Московский заочный педагогический университет). С критикой так называемой футурологической историографии, содержащейся в обсуждаемом тексте, я могу согласиться. Есть, однако, и ряд других исторических концепций, заслуживающих рассмотрения. В первую очередь я хотела бы упомянуть позитивизм, в рамках которого я воспитана и продолжаю оставаться: в частности, можно назвать существующую по сей день позитивистскую Петербургско-ленинградскую школу антиковедов. Я вижу противоречие в самой постановке проблемы, когда, с одной стороны, М.А. Бойцов выступает против обобщений при изучении истории, а с другой – считает возможным генерализовать свое видение истории и исторической науки.

Поскольку я занимаюсь античной историей, хочу сказать несколько слов о Геродоте, имя которого вынесено в заглавие статьи. С точки зрения М.А. Бойцова, Геродот писал свой труд просто для того, чтобы получить удовольствие от историописания. Я не могу с этим согласиться (как, вероятно, и большинство антиковедов). У Геродота, как у любого античного историка, была нравственно-воспитательная задача; его кон-

* Дискуссия состоялась 1 марта 1998 г. в Институте всеобщей истории РАН на заседании семинара «Индивид и частная жизнь в Европе и Азии до начала нового времени», которым с 1994 г. руководит Ю.Л. Бессмертный. В рамках этого семинара работает авторский коллектив, издавший в 1996 г. книгу «Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени». Работа данного семинара нашла также отражение в вышедшем в 1997 г. альманахе «Казус-96. Индивидуальное и уникальное в истории». Материалы дискуссии публикуются в сокращенном виде (*прим. ред.*).

вещи связана с идеей о том, что божество завистливо и уничтожает людей, стремящихся слишком выделиться, подобно тому, как молния ударяет в самое высокое дерево. Была у него при описании греко-персидских войн и ясно выраженная политическая позиция, недаром он был другом и соратником Геродота. Возможно, он и «радовался», когда писал свою Историю, но прежде всего он решал определенную поставленную перед собой задачу. Я не уверена, что Геродот имеет отношение к предложенному М.А. Бойцовым представлению о целях изучения истории, древний историк здесь не при чем. Если уж говорить об античной историософии, то следовало бы обратить внимание на циклическую концепцию, о которой М.А. Бойцов ничего не говорит. А ведь она существовала и в XIX в., например у Эдуарда Мейера. Вообще в статье игнорируется целый ряд исторических концепций; получается, что автор берет «осколки», только подогнанные под его теорию.

В то же время ряд критических замечаний в адрес предшествующей историографии кажется мне верным: это критика марксизма, теории цивилизаций и попыток применить старые методы, прикрываясь новыми терминами. Специалисты по средневековой истории, возможно, отметят критику терминов, применяемых в медиевистике. Мне она показалась убедительной. Но что касается современного общества (главным образом западного) и прогнозов относительно развития крайнего индивидуализма, то мне представляется, что в статье акцент делается на тенденциях, которые проявляются не везде и далеко неоднозначно. Я много раз бывала в США и могу сказать, что американский индивидуализм — это миф, созданный русскими эмигрантами. В настоящее время для многих, если не для большинства, американцев характерно стремление к образованию микрогрупп. Дети приучаются к общению начиная с детского сада. Там не принято приглашать на день рождения одного или двух детей из группы — нужно приглашать всю группу. В американских школах существует специальная оценка по дисциплине, которая называется «социальное общение». М.А. Бойцов утверждает, что в будущем человек будет общаться только со своим компьютером и станет самодостаточным. Между тем большинство людей, связанных с Интернетом, включаются в микрогруппу или создают новую, с которой они общаются. Конечно, это иные, не привычные нам формы общения, эти люди не ходят друг к другу в гости, но они связаны общими интересами, многое знают друг о друге,

все они идентифицируются в рамках избранной ими микрогруппы.

Остановлюсь еще на теме падения религиозности, о которой пишет М.А. Бойц не могу согласиться с его точкой зрения. И в нашей, и в ряде стран Европы, и в США в настоящее время религиозных групп становится все больше. Позволю привести один пример: в начале 80-х годов возникла в Москве группа «Евреи за Иисуса» (это не были крещеные евреи и не иудео-христиане, как некогда при зарождении христов). Первоначально группа была небольшой, теперь жервенцев этого направления можно встретить во многих странах, есть они и в Израиле, и в России. В США каждый еврейский приход имеет свой круг прихожан, особенно в больших городах; они регулярно встречаются друг с другом только на богослужениях, устраивают застолья, оказывают друг другу помощь. Я полагаю, что тенденция к созданию микрогрупп — одна из основных тенденций в современном мире, ибо человек не может существовать один на один с собой, микрогруппа — будь то род или круг единомышленников — помогает его самоидентификации. Это заложено в людях биологически. И это обуславливает восприятие людьми исторически сложившейся для большинства, осознанно или неосознанно сложившейся с прошлым, в которую они включены. То М.А. Бойц называет «осколками», интересно для любого человека прежде всего потому, что это осколки чего-то большого, части целого. И «придворная жизнь», изучаемая М.А. Бойцом, тоже осколок, но осколок, связанный с гораздо более широкой исторической картиной, и об этом, мне кажется, следовало бы упомянуть в статье.

Я согласна с автором, что при изучении истории следует не навязывать концепцию, а выявлять под ней факты, но создавать ее, основываясь на фактах без ощущения вертикальных и горизонтальных связей между явлениями историческая наука существовать не может. Археологическая наука без умения осколку горшка восстанавливать его форму. Поэтому я думаю, что еще долго будут читать толстые, обобщающие книги истории; во всяком случае, в области антиковедения такие книги продолжают издаваться и пользоваться спросом.

Еще одно мое конкретное замечание касается пренебрежительного, с моей точки зрения, отношения автора к христианству. Так, он, в частности, утверждает, что христианству можно за-

чать много вопросов, например, в каком виде воскреснут урны в день Страшного Суда. Этот вопрос интересовал уже первых христиан; на него дал ответ апостол Павел: он прямо говорит, что весь мир будет преобразен и воскреснут преобразенные тела (эта же идея развита в гностическом Евангелии Филиппа). На этом представлении основана вся православная иконопись.

В заключение хочу сказать еще раз, что, выступая против футурологической и генерализирующей историографии, М.А. Бойцов сам выступает как футуролог, предлагая прогнозы будущего, не приводя, однако, для них достаточно убедительных оснований.

С.А. Экиштут (журнал «Родина»). В представленном тексте М.А. Бойцов выступает сразу в нескольких лицах. И эти лики нужно разграничивать. Есть Бойцов – практикующий исследователь, есть Бойцов – преподаватель. Судя по всему, преподаватель популярный, которому рукоплещет студенческая аудитория. (Ряд пассажей этого текста просто просятся, чтобы быть произнесенными с кафедры, вызвать соответствующую реакцию.) Есть еще Бойцов – футуролог. Следует подчеркнуть, что, как только человек становится футурологом, он перестает быть историком. Он может оставаться ученым и делать вполне обоснованные прогнозы, но это – другая наука, другая специальность. И, наконец, есть Бойцов – журналист, который пишет вещи, с которыми ученому спорить бессмысленно. Потому что если относиться к этому тексту как к тексту Бойцова–ученого, то, извините, исходное основание не доказано автором, и поэтому дальнейшие построения теряют всякий смысл. Если же считать, что это написал журналист, то к журналисту следует предъявлять совсем иные требования, равно как и к преподавателю, потому что ради красного словца они могут – особенно с кафедры – позволить себе некоторые вольности. Если же рассуждать с позиций историка-исследователя, то для характеристики нынешней ситуации в российской исторической науке следовало бы учесть несколько характерных науковедческих моментов.

Судя по всему, со времен Геродота труд историка если и изменился, то в одном отношении он изменился мало: историк и сегодня трудится, как правило, в одиночку. Но при этом историк вступает во взаимоотношения с коллегами по цеху, с обществом ученых не-историков, с людьми, которые исполь-

зуют историческое знание, будь то художник, который пишет картину с историческим сюжетом и консультируется с историком, будь то литератор, который пишет роман. (Сейчас это очень актуально, потому что появился шоу-бизнес, появилось «Колесо истории имени Якубовича», и люди обращаются к историкам за консультациями. И не всегда получают квалифицированные ответы, и с телеэкрана тиражируются сведения потрясающей невежественности. Это факт, с которым нельзя не считаться.)

Появилась и совсем новая реальность жизни. Всякий историк вступает в качественно новые деловые отношения со спонсорами, работодателями, издателями. Наконец, он вступает, и об этом не надо забывать, в некоторые отношения с налогоплательщиками, потому что те или иные наиболее ретивые из них могут написать письмо: «А почему мы должны оплачивать?...»...

К сожалению, российская историческая наука не смогла предложить какие-то рукописи, которые «не горят», написанные десятилетия назад... Скажем, когда стало возможно в конце 80 — начале 90-х годов печатать все что угодно, появились прекрасные литературные произведения, которые были написаны ранее и были написаны «в стол». Я не знаю таких эпохальных исторических произведений, которые были написаны в стол и только сейчас бы появились. Тем не менее наши историки-исследователи, естественно, различаются уровнем своих дарований. Всякий талантливый исследователь по необходимости вступает в отношения с коллегами бездарными, серыми, заурядными. И характер этих взаимоотношений влияет на ситуацию в науке. Наконец, он вступает во взаимоотношения с научным сообществом в целом и он вступает в контакты (коль есть талант, так есть и поклонники) с поклонниками и учениками. Складывается некий микроклимат в науке. Эта ситуация в науке формирует некое представление о научном успехе, о путях достижения этого успеха, о средствах и сроках его достижения. Науковедение позволяет учесть количество публикаций, приходящихся на одного исследователя, частоту их появления и т. д. То есть здесь возможны вполне конкретные, вполне позитивистские науковедческие штудии.

Говоря о нашем времени, мы должны отметить важную стилевую тенденцию эпохи: происходит нисходящая социальная мобильность труда ученого. Это — факт, и в данном случае какие-то категории ученых падают вниз быстрее, какие-то —

медленнее. Скажем, рейтинг юристов несколько поднимается, особенно международников, но можно смело говорить, что мы имеем дело с нисходящей социальной мобильностью всего сообщества ученых. В то же время наука перестает быть важнейшим каналом социальной циркуляции в обществе.

Следующая группа проблем, которая требует осмысления, это конфликтные ситуации в науке, как они возникают, на какой почве. Я имею в виду конфликтные ситуации как содержательно-научного плана, так и социально-психологического характера. Привлекается ли в данном случае власть, апеллирует ли научное сообщество к власти для решения проблем сугубо научных, как было еще в 60-е годы, когда проблема азиатского способа производства или абсолютизма в России решалась с привлечением власти, когда дискуссии прерывались административным путем? Это опять же факт, который требует осмысления, его нельзя игнорировать при рассмотрении ситуации в нашей науке.

Далее. Каковы те научные школы, которые определяют сегодня лицо российской историографии? Их надо перечислить, поскольку действительно есть люди, которые работают с позитивистской методикой, есть люди, которые работают с марксистской идеологией, но не ссылаются на это. Есть люди, которые придерживаются каких-то других методик. С моей точки зрения, важен результат. Есть научный результат, есть получение нового знания или нет. Бессмысленно сейчас критиковать марксизм, позитивизм и т. д. Если бы это делали десять лет назад, это имело бы какой-то смысл, сегодня важнее всего достигнутые успехи того или иного направления.

Следующая важнейшая проблема — это смена поколений, как она происходит, мирно или немирно (как некогда сказал М.М. Бахтин, «без драк на меже», или «драки» все-таки происходят).

Таким образом, для характеристики нынешней историографической ситуации следует выяснить, каковы сегодняшние критерии селекции и дискриминации в исторической науке. Следует рассмотреть и то, используется ли сейчас известная формула, приписываемая обычно Покровскому, о том, что история — это политика, опрокинутая в прошлое. Хотя эта формула и была раскритикована еще в 1940 г., фактически она использовалась многократно. Именно исходя из этой формулы работают сегодня многие исследователи «ближнего зарубежья». В связи с этим возникает очень важная проблема, как

соотносится историческое знание в столице и на периферии. Не надо забывать, что работы, которые выходят в центре тиражом 1000–1500 экземпляров, до периферии не доходят.

Наконец, позволю себе коснуться некоторых конкретных вещей. Скажем, классические книги А.Я. Гуревича, которые были переведены на множество языков, выпускались издательством «Искусство», а не «Наука», и, казалось бы, не имели никакого формального отношения к Институту всеобщей истории, где автор работал. Целый ряд серьезных произведений был создан как бы вне лона официальной науки и лишь потом мог получить санкцию, задним числом.

В общем, в современной историографической ситуации появилась некая новая реальность, которая требует серьезного, научного, а не журналистского осмысления. Опыт такого осмысления я попытался представить в «Манифесте исторического маньеризма» (Вопросы философии. 1998. № 1).

Н.А. Хачатурян (МГУ). Статья М.А. Бойцова «Вперед, к Геродоту!», посвященная одному из наиболее острых вопросов сегодняшней науки — соотношению конкретной и генерализирующей истории, — носит подчеркнуто полемический, можно сказать «бойцовский», характер. Если автор хотел нарушить отмеченную им «тишину» в нашей научной жизни, то ему эта задача, несомненно, удалась. Я не могла не поднять брошенную перчатку, поскольку исхожу из иного понимания и отношения к прошлому и настоящему исторической науки.

Так как дух сарказма и остроумия, которым пронизана статья (не случайно в ряду редких упомянутых автором имен — Геродот, еще 2-3 историка — им назван Жванецкий), требует особого литературного дара, я позволю себе употребить более привычный для меня академический стиль.

Мне хотелось бы совершенно в духе времени вести разговор в контексте эпистемологии, т. е. особенностей познавательной и доказательной манеры автора. Он прибегает к весьма распространенному в полемике приему, когда один из участников дискуссии создает мнимый образ оппонента, с качествами, а точнее слабостями и недостатками, в действительности ему несвойственными. В данном случае таким оппонентом для М.А. Бойцова является обобщенный образ генерализирующей истории. Прием хотя и заманчивый, поскольку глупый и топорный оппонент удобен для критики, однако небезопасный. Он не гарантирует от возражений, убедительность которых

только увеличивают логические и исторические неточности в аргументации. К сожалению, корректность некоторых позиций и оценок, приведенных в докладе, вызывает сомнения.

Начну с главного мифа, с которым сражается М.А. Бойцов, а именно его утверждения об истории как науке якобы в первую очередь предсказательной. Именно это утверждение легло в основу рассуждений автора о соотношении фактологической и генерализирующей истории. История сошла с истинного пути, как можно понять автора, обратившись к генерализации фактов во имя, главным образом, постижения или даже построения будущего общества.

Однако первые шаги европейской науки на ее пути к социологии, связанные с разработками светской концепции истории, были окрашены отнюдь не желанием заглянуть в будущее, но объяснить прошлое и понять настоящее в соответствии с ее назначением «наставницы жизни». Существенными вехами на пути к более глубокому постижению истории стали усилия гуманистов с их интересом к причинным связям и земным побудительным импульсам человеческих поступков; Бодеана и представителей школы социальной физики, пытавшихся определить законы общественного развития; или Монтескье, который прямо сформулировал задачу упорядочивания фактов для облегчения процесса познания. Даже идеи просветителей и утопистов-социалистов о будущем носили характер мечты, и только О. Конт, основоположник социологии, попытался привнести в эту мечту волевое начало, четко сформулировав задачу постижения закономерностей во имя рационального построения будущего общества. Для этого он взялся разрабатывать в конце жизни социологию Политики. Однако и он в намеченной им иерархии наук вывел эту область за пределы социологии как формы исторических знаний. Невозможно забыть и то, что пафосом позитивизма было отторжение гоных абстрактных схем и обращение к факту, его опытному постижению, т. е. рассмотрению факта в его естественных связях, а общества как части природы. Таким образом, правильнее было не отождествлять, а развести генерализирующую и предсказательную функции истории.

Хотелось бы также подчеркнуть опасность упрощенного толкования познавательного процесса в решении вопросов подобного рода. Поиски философского смысла и целеполагания истории, связанные с ценностными ориентациями историка, глубоко ошибочно рассматривать в контексте плоской футуро-

логии и социальной инженерии, в контексте прагматических оценок успеха или неудачи «предвидения».

Конечно, нельзя не согласиться с тем, что развитие социологии придало остроту извечной проблеме взаимодействия конкретно-исторического и логического анализа. Социология оказалась чреватой значительными последствиями не только научного, но и практического характера. Однако можно ли решить эту проблему, просто перечеркнув генерализирующую историю, ее вклад, обогативший науку, как это делает М.А. Бойцов? Это невозможно, поскольку невозможно изучение фактов без рефлексии.

«Конкретное знание конкретного вопроса, — пишет М.А. Бойцов, — ценится куда больше умения вписать его в широкий исторический контекст»; «не вписывать свой фрагмент прошлого во все расширяющийся круг внешних связей, а сосредоточиться на углубленном выявлении собственных свойств именно этого фрагмента». Но, во-первых, как определить допустимую меру притяжения внешних связей не говоря уже о том, как определить, кто должен это делать? Во-вторых, исторический контекст нужен не для того, чтобы он непременно материально присутствовал в сочинении или являлся объектом специального рассмотрения (хотя я не исключаю в ряде случаев подобной необходимости). Он необходим прежде всего как возможность увидеть и оценить искомые «собственные свойства и черты фрагмента». Это такой же неперемный компонент профессионального мастерства, как знание языка, палеографии или любого другого приема критического анализа. Мне показалось, что содержание статей первого выпуска «Казуса» разрабатывалось именно в этом ключе «социальной истории». И я полагаю, участникам конференции по Варфоломеевской ночи (ИВИ, май 1997 г.) будет обидно узнать, что им отказано в осмыслении того материала, который они обсуждали: новые конференции, пишет М.А. Бойцов, комментируя сегодняшний день науки, посвящены не столько осмыслению исторического процесса, сколько анализу одного факта, одной ночи, пусть даже Варфоломеевской. Оговорка, конечно, существенная, но остается неясным, что же тогда автор понимает под историческим анализом. Историк может предпочесть изучение фактов изучению проблемной истории, однако оба направления не только имеют право на существование, но, главное, специфика исторического исследования предполагает неперемную взаимосвязь проблемной и конкретной истории.

С вопросом о генерализирующей истории связано отношение автора к закономерностям в историческом процессе, говоря о которых он употребляет выражение «полузасушенные». Остается неясным, какие именно закономерности — какие-то особенные или как явление в целом — вызывают у него протест. Вообще следует признать, что приверженность автора конкретике и факту не мешает ему в ряде случаев их попросту игнорировать. В частности, именно эта особенность подвела автора в его оценке проблемы соотношения цивилизационного и стадияльного подходов к истории, которая оставляет впечатление или недостаточного знания им этого вопроса, или сознательного субъективного его толкования. Даже приняв условия абстрактного разговора о закономерностях, я не стала бы переводить вопрос об их значении в прагматическую плоскость — нужны они или не нужны. Их существование в науке — просто неизбежная данность рефлексии, которая предполагает осознание процесса на высоком уровне обобщения. Отношение к таким обобщениям должно определяться только с точки зрения их ошибочности или, наоборот, корректности. «Неважно, — пишет М.А. Бойцов, — будет ли рефлексия существовать в форме космогонического мифа или в виде компьютерной игры в фашистов». Не думаю, что последняя форма исчерпает возможности рефлексии в будущем веке, несмотря на мрачные перспективы для генерализирующей истории в будущем, которые рисует автор. Кроме того, полагаю, что историку небезразлично знать форму рефлексии, хотя бы для того, чтобы понять, насколько цивилизованность отличается от варварства. Современное неприятие кумулятивной теории применительно к истории науки означает признание только того, что ее развитие идет сложным и непрямым путем, через кризисы и качественные изменения в знаниях по причине их относительности в каждом данном отрезке времени. И как бы нас ни мучило осознание временности сегодняшних наблюдений, они невозможны без дня вчерашнего, и сами служат залогом будущих знаний.

«Устарел синтез», — пишет М.А. Бойцов, и опять неясно, что он имеет в виду. Синтез как попытку соединения крайних концепций в области методологии и философии истории? В пределах последних полутора столетий науке известны две такие принципиальные попытки. Первой из них явился в середине XIX в. позитивизм. Потому что в атмосфере живейших философских поисков смысла истории философы по тради-

ции соотносили материализм и идеализм как жесткую антиномию: Гегель и Кант – в пользу идеализма (*esprit*), Маркс и Фейербах – в пользу материализма и атеизма. И именно позитивизмом была сделана робкая попытка преодолеть эту антиномию; попытка, за которую его обвиняли в эклектизме, но благодаря которой историческое знание обогатилось комплексным видением исторического процесса. Можно ли считать этот подход отжившим? Кризис конца XIX и начала XX в. создал новую эпистему познания, отбросив теорию отражения, в рамках которой действовали позитивизм и марксизм, и придав новое значение субъективному, духовному фактору в самом историческом процессе и в процессе познания. Новое противостояние материального и духовного было преодолено усилиями сторонников «Анналов» и того интернационального направления, которое в общем виде получило название «социальной истории». Новый синтез не только сохранил завоевания социологии второй половины XIX и первой половины XX столетий, но и признал новую эпистему, обогатив ею историю и социологию. Именно синтез помог открыть новые перспективы, в частности, в сфере философии истории, связанные со стремлением сегодняшней науки искать материальное в духовном и духовное в материальном. В отличие от механистической попытки позитивизма это уже качественно иное решение старого спора.

Любопытно, что сам М.А. Бойцов, решительный противник генерализации в истории, занят в статье именно этим. Его подвигает к генерализации сам жанр статьи – эссе требует полета мысли над пространством и временем. В результате мы имеем весь необходимый набор обобщающего анализа: автор устанавливает злополучную закономерность, связывая не менее злополучную предсказательную функцию истории со «страхами» в обществе, называет причины этих «страхов» – религиозно-психологические, национальные, социальные. Закономерность не показалась мне безусловной: в рассуждениях автора связь между фактом ослабления предсказательной функции в современной исторической науке с фактом ослабления общественных страхов «работает», по нашему мнению, только применительно к западной историографии и то с большой натяжкой. Что касается нашей ситуации, то в ней отсутствуют как общественное благополучие, так и научные предсказания будущего. Очевидно, желая подтвердить функциональность открытой закономерности и вопреки своей нелюб-

ни к предвидениям, М.А. Бойцов рисует образ науки и общества в XXI в. Картина кажется одновременно и интересной и противоречивой, однако в данном случае я бы хотела ограничиться только одним соображением. Справедливо подчеркнутую автором глубину грядущих перемен в обществе и науке в условиях компьютера и Интернета не следует преувеличивать. Общество и наука неоднократно переживали кризисные ситуации в условиях смены духовных ценностей, которые казались дупиковыми, но тем не менее преодолевались. Вряд ли во времена ломки теологической и эсхатологической концепций мира, потрясений, связанных с Французской революцией и утверждением идеологии Просвещения, или изменений на рубеже XIX и XX вв. люди чувствовали себя менее обеспокоенными (чтобы не сказать потерянными), чем современный человек. Однако я затронула этот вопрос только для того, чтобы с удовлетворением отметить, что, вопреки своей исходной позиции, М.А. Бойцов все-таки допускает, по его собственным словам, «каплю социологии». Очевидно, только такая доза кажется ему безвредной для истории.

В заключение — несколько слов о восприятии М.А. Бойцовым конкретных задач, которые стоят перед отечественными медиэвистами. Автор одобрительно относится к отсутствию «чисток» в нашей среде в процессе обновления исторической науки. Он расценивает эту особенность как проявление обществом чувства самосохранения и делает расчет на естественную смену поколений в течение 10–15 ближайших лет, после чего, надо думать, переживаемый исторической наукой кризис будет преодолен. Не берусь судить, как справятся с существующими в науке сложностями историки старшего поколения и, тем более, в какой мере их вдохновит подобная перспектива. Однако не могу не высказать сомнения в том, хватит ли отведенного автором для обновления науки срока молодым историкам? Эти сомнения зародила статья самого М.А. Бойцова. Мне кажется, что категоричность позиции, резко негативное отношение к прошлому исторической науки, нехватка открытости «всем ветрам» и стремление определить магистральную линию развития науки — все это реминисценции той ментальности, от которой мы если и уходим, то очень постепенно. Я хотела бы заключить свое выступление формулой, некогда высказанной французским историком Ж. Мишле (1869 г.) и затем повторенной основателями «Анналов», — «Следовать всеми дорогами...».

О.И. Тогоева (ИВИ). Мне хотелось бы обратить внимание на характер нашей дискуссии, она становится весьма любопытной. С первых же слов все начали говорить об эпатаже, о том, какой это эпатажный текст. Сам М.А. Бойцов отметил, что хотел бы лишь выразить свои собственные «ощущения» по поводу своеобразия современной ситуации в науке. Н.А. Хачатурян отнесла текст к жанру эссе. Тем не менее все с полной серьезностью начинают обсуждать какие-то научные детали, по-моему, не имеющие отношения к предмету дискуссии. В частности, детали греко-персидских войн точно никак не относятся к основному сюжету...

Мне-то кажется, что текст М.А. Бойцова – совершенно самодостаточное произведение, абсолютно индивидуальная точка зрения, которая уже в силу этого резко ограничивает возможности научной дискуссии. И ее, собственно, не получается. Мы спорим сейчас не об объективных научных понятиях, но о субъективных точках зрения на науку. У каждого может быть своя точка зрения. У М.А. она такая, какую он высказал в своем тексте. И она тоже имеет право на существование.

Именно в этом виде – в виде индивидуального мнения – текст М.А. замечательно вписывается в наш альманах «Казус». Возможно, статья даже и задумывалась как определенного рода казус. Даже если бы ее поставили первой – как «теоретическую» передовицу, это совсем не будет означать, что она отражает точку зрения всех авторов альманаха. Это просто такой казус в теории, казус восприятия, если угодно. И отсюда вовсе не следует, что все должны отказаться от генерализирующего контекста. Просто каждый выбирает что-то свое и в любом случае всегда в какой-то степени остается одиночкой.

М.Л. Абрамсон (Московский заочный педагогический университет). Мне кажется, что М.А. сам себя загнал в угол, потому что его очень интересные, конкретные и, вместе с тем, обобщающие статьи и доклады являются как раз примером того, как надо на современном уровне писать историю. По крайней мере, это – один из методов писания истории. И наш семинар, в рамках которого обсуждается статья М.А. Бойцова, на мой взгляд, – образец того, как каждый из работающих в нем присоединяет свои мысли, свои взгляды, свою точку зрения к какому-то живому дереву истории. Сначала, когда я читала текст статьи, у меня было ощущение, что М.А. просто апокалиптически смотрит на историю, и в какой-то степени у меня это

впечатление осталось. Я даже вспомнила «Лаз» Маканина – о том, как гибнет человечество и все люди постепенно уходят под землю – те, которые хотят спастись, уцелеть... Одним словом, это конец света в современном изложении. И здесь тоже конец истории и конец исторической науки. Но этот конец никак не согласуется с тем, чем мы все здесь занимаемся.

Существуют ведь микроподходы и макроподходы. Каждый из нас в основном занимается микроанализом. Причем мы можем только благословлять судьбу, что нам довелось в конце концов дожить до такого времени, когда это стало возможно, когда стало возможно изучать частную жизнь, изучать жизнь каждого отдельного человека со всеми его особенностями. Все это очень интересно и никак не исчерпается ни нашими работами, ни следующим поколением. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться.

И все-таки, почему М.А. так акцентирует понятие «осколки прошлого»? Мне это напомнило рассказ Аверченко «Осколки разбитого вдребезги». Осколки – это что-то, что отлетает куда-то в сторону, это действительно конец, и это вяжется со всей мрачной концепцией, которую М.А. создает, но которую не обязательно разделять.

Теперь о есенинском образе «Черного человека» «за спиной» и поэтическом «прозрении»... Есенин пишет:

...Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...

Это постоянное состояние Есенина в течение последнего периода жизни, и такое психическое состояние привело его к самоубийству. Корректен ли этот образ в данном случае?

Отдельно – о «румяной и простодушной Америке». Это же совсем не тот образ Америки, который складывается у тех, кто знает эту страну по личному опыту или по современной американской литературе. Образ Америки мне представляется совершенно другим. Во-первых, в тексте М.А. противоречие. С одной стороны, говорится об одиноком индивиде, а с другой – о группах. Значит группы есть. И.С. Свенцицкая совершенно верно заметила, что у американцев сильно развито массовое сознание и групповое сознание как часть массового, как другой его уровень. Я считаю, что состояние нашего общества

все-таки не таково, что мы должны бросить занятия всеобщей историей и изучать только отдельные, конкретные факты, не рассматривая их в целостности. Как раз синтез материального и духовного, о котором говорила Н.А. Хачатурян, — это то, что является для нас необходимым.

Не могу согласиться и с огульным отрицанием цивилизационного подхода. Разве совокупность, взаимовлияние всех факторов исторического развития не должны составлять предмет нашего исследования? Очень хорошо, что сейчас мало кто говорит о базисе и надстройке, о марксистской догме и догматическом мышлении. Может быть, нельзя сказать, что это совсем ушло — это существует, и М.А. хорошо с этим расправляется, очень точно поступает... А футурология — совершенно, мне кажется, другая дисциплина. Когда нам приходилось в «Кратком курсе истории» ВКП(б) читать про предсказательные функции истории, мы относились к этому с отвращением и забывали об этом, как только кончали читать. Но в своих собственных работах и в работах А.И. Неусыхина и других наших учителей мы этого не видели...

Очень хорошо, что статья М.А. всех задела, вызвала такую дискуссию, но я надеюсь все-таки, что сама научная работа М.А., особенно будущая, опровергнет выдвинутые им мрачные положения.

Л.П. Репина (ИВИ). Надо сказать, что первые несколько выступающих во многом уже исчерпали спектр вопросов, прежде всего встающих перед читателем статьи М.А. Бойцова, который во многом облегчил нашу задачу обсуждения своим предварительным, хотя и очень кратким выступлением. В частности, он совершенно четко сформулировал, что собственно перед нами, сказав, что это — «выражение определенного *ощущения*». Если воспринимать его именно так, то можно было бы на этом поставить точку и вообще ни о чем не говорить, потому что ощущения могут быть самыми разными и критике не подлежат. Но поскольку это ощущение попадет в альманах академический, научный, возникают вопросы. Сразу же хочу сказать, что я исповедую принцип плюрализма. «Пусть расцветают сто цветов», но каждый «цветочек» должен представлять собой некоторую внутреннюю непротиворечивость. Я хочу отметить ряд моментов в этом тексте, которые противоречат самой постановке вопроса, принятой автором. Это, с одной стороны. А с другой стороны, несколько моментов я отме-

е же таки вне-текстовых, поскольку так или иначе они ауди-ционно взволновали.

Во-первых, мне кажется, нужно с самого начала ограничить противопоставление генерализирующей истории и истории в деталях. Мне всегда казалось (я даже позволила себе написать об этом), что в современной исторической науке уже в значительной мере преодолено стремление мыслить дихотомично, т. е. противопоставлять какие-то крайности, упуская при этом образом все, что находится в промежутке между ними. Но, видимо, я оказалась чрезмерным оптимистом, если мы снова и снова возвращаемся к такой постановке вопроса. Между супер-фрагментарной историей и историей генеральных схем, если ее вообще можно назвать историей, существует еще целый ряд других уровней. Все должно быть к месту. Одно дело, когда вы разбираете какой-то казус. Другое дело, когда вы пытаетесь проследить даже локальную историю, историю какого-то небольшого местечка на достаточно продолжительном хронологическом отрезке. Совершенно в иное положение попадает историк (и ему требуются иные инструменты мышления), когда он начинает писать национальную историю. И уже необходим абсолютно иной подход, если мы выходим за пределы национальной истории на региональную и мировую историю. Важно просто в каждом случае иметь соответствующий тому случаю арсенал.

Второй вопрос о смысле занятий историей. Я понимаю, красиво звучит: «получить удовольствие от занятий историей» или «самореализоваться». Безусловно, этот момент присутствует в изучении истории, но имеет смысл только для того, кто этой историей занимается непосредственно, т. е. для историка. А какой в этом смысл для того, кто это занятие оплачивает? Или, если шире смотреть, какой смысл для общества, в котором историк живет? Мне кажется, что этот момент все-таки должен присутствовать. Из текста ясно, что М.А. видит этот смысл в самосознании общества. В этом я бы, пожалуй, с ней согласилась, хотя, как всякая истина, и эта имеет разные стороны.

И все же, в самом тексте статьи сначала говорится о том, что история необходима обществу для самопознания, но далее речь идет о том, что всякая генерализация уже не имеет смысла, что историк должен изучать фрагмент и даже не задумываться особенно о включении его в какой-то контекст. А как же тогда история будет служить самосознанию общества? Что это будет за

самосознание «в осколках»? Боюсь, что это будет шизофреническое самосознание. Сведение перспектив историографии к развитию вспомогательных дисциплин не делает возможность самопознания общества сколько-нибудь реальной.

Слабинкой в тексте, на которую уже указала Н.А. Хачатурян, является манера критики, в какой-то раньше обвиняли многих пропагандистов. С одной стороны, предполагается какой-то воображаемый оппонент, который произвольно наделяется заведомо утрированными идеями и аргументами, которые так удобно ниспровергать. С другой стороны, строится какое-то идеальное понятие в голове самого автора, и все, что не подходит под это понятие, отрицается или объявляется никуда не годным. Так, история под идеальное понятие науки в интерпретации автора не подходит, и значит история — не наука. Когда говорится о современной реальности, выделяются некоторые ее фрагменты, отдельные тенденции, справедливо вроде бы оцениваются, но при этом совершенно игнорируются — никак не привлекаются и не опровергаются те моменты, которые утверждениям автора противоречат. В результате возникает совершенно искаженная картина.

Что мне кажется очень важным и о чем начал говорить С.А. Экштут, это науковедческий аспект, понятие «наука». Сейчас существует достаточно развитая научная дисциплина, которая называется «теория и история науки». Очень много в ней проработано и пересмотрено. Переосмыслено само понятие «науки», понятие познавательного идеала, познавательных ориентаций. Если мы говорим об идеалах науки, то всегда надо помнить о том, что существовали и существуют разные идеалы. Разные научные идеалы сосуществуют, однако, с другой стороны, со временем нормативный идеал науки меняется. Можно говорить о математическом идеале, можно говорить о физическом идеале, о гуманитарном. Кроме того, можно говорить о классическом идеале научности и о современном идеале научности. И современный идеал научности очень отличается от классического. Отличается по многим параметрам. И в частности, в нем переосмысливается значение интерсубъективного опыта для научного познания. Снижается статус абстрактных критериев научности как норматива научности. Допускается набор разных методологических стандартов для разных наук. И кстати, что очень важно, метаметодологический стандарт, т. е. общий для всех наук, сводится к одному — к способности решить проблему. В этом смысле мне представ-

ется очень странным отрицать научность (именно так понимаемую) истории.

Этот современный критерий научности не сегодня возник, его истоки можно обнаружить достаточно давно. К тому же, есть строгое, жесткое определение, а есть так называемое гибкое определение научности. Одно из определений, которое мне чрезвычайно импонирует, дал Коллингвуд: «Науки — это те формы мышления, посредством которых мы задаем вопросы и пытаемся ответить на них. Важно понять, что наука вообще не заключается в коллекционировании уже познанного и в систематизации последнего в соответствии с той или иной схемой. Она состоит в концентрации мысли на чем-то таком, чего мы еще не знаем, и в попытке его познать... Наука — это поиск, и в этом смысле история — наука». Хотя вопрос о новом эталоне научности остается открытым, тем не менее все поиски этого эталона, о которых мне приходилось читать, показывают, что он идет в русле гуманитаризации науки, науки в целом. Но все это имело бы смысл обсуждать, если бы в статье речь шла о научном анализе, а не о передаче «ощущений». При подобном эмоциональном подходе говорить о строгости понятий, об односторонности подходов все равно, что напоминать в приличном обществе о скелете в шкафу.

А.А. Котомина (ИВИ). У меня, как, видимо, и у других молодых научных сотрудников, несколько иная точка зрения на обсуждаемую проблему, чем у тех, кто открывал сегодняшнюю дискуссию. С.А. Экштут упоминал о марксистских подходах, а я не откажу себе в удовольствии вспомнить подход Т. Адорно, который полагал, что всякая мысль для того, чтобы быть мыслью, чтобы дойти до аудитории, должна быть радикальной. С этой точки зрения статья М.А. действительно содержит в себе мысль. Как бы он ни использовал в ней имя Геродота, как бы произвольно, с нашей точки зрения, он ни обращался с отдельными деталями, все же мы поняли, что он имел в виду. И узнали себя. Значит М.А. имеет право таким образом использовать имена и идеи столпов нашей науки.

Я бы также хотела присоединиться к мнению О.И. Тогоевой о том, что при обсуждении такого доклада, поскольку он представляет собой некую целостность, и целостность предельно выраженную, дискуссия того типа, что мы ведем, не слишком плодотворна. Может быть, важнее понять, почему у

научного сообщества любые попытки обсуждать состояние этого сообщества в данный момент вызывают настолько негативную реакцию.

О.Е. Кошелева (Российская академия образования). Я не буду говорить в жанре научной критики, а выскажусь на уровне ощущений — так, как, собственно, и поставлена автором проблема. Текст мне показался исключительно интересным и в целом не вызвал эпатазирующего впечатления. Действительно, в исторических сочинениях морализирование и прогнозирование будущего, выявление общих закономерностей имеет устойчивую тенденцию, иногда открыто выраженную, иногда — подсознательную, заложенную в подтекст. Именно так видится значение и смысл изучения истории основной массе наших современников. Практически каждому историку, наверное, приходилось оказываться в ситуации, когда люди, далекие от истории, узнав о его профессии, восклицали: «Ах, ты историк! Вот ты мне скажи, куда мы идем? Что с нами будет? Как мы дошли до жизни такой?»

Вряд ли возможен окончательный отход истории от поисков закономерностей, построений моделей и теоретических обобщений, хотя сегодня в исторической науке и заметна отчетливо усталость от роли оракула. Многих замечательных исследователей в первую очередь интересует раскрытие исторических реалий только в их самоценности, но не через чисто позитивистское воспроизведение фактов, а через внутреннее мировосприятие ушедших эпох. Их сочинения сродни пушкинскому «Домику в Коломне», и их критики тоже подчас вопрошают: «Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли хоть у вас нравоченья?»

Однако мне представляется, что антропологическое, микроисторическое направление, не очень привычное для массового читателя, в основном воспитанного на морализирующей, наукообразной истории, быстро находит дорогу к уму и сердцу людей, поскольку затрагивает пласт обыденных, общечеловеческих понятий и восприятий, во всей многочисленности их ракурсов. Сегодня меняются интересы, вкусы, образ мышления, методики работы историков, и каждый практикующий исследователь не может не ощущать этого на себе. Текст М.А. Бойцова я воспринимаю как естественное желание выговориться на эту тему и не могу с ним во многом не согласиться.

П. Ю. Уваров (ИВИ). Молодые коллеги уже отмгили в своих выступлениях, что мы пытаемся анализировать разные вещи. Взгляды М.А. и обсуждаемый текст его статьи далеко не тождественны. Текст М.А. выполнен в духе того, что называется непереводимым словечком стѣб; он ироничен намеренно рассчитан вызвать реакции определенного типа. Автор не просто полемически заостряет, а даже шаржирует свои тезисы в целях интеллектуальной провокации. Это, думаю, вполне очевидно.

Меня же более удивило, что выступавшие игнорируют главный тезис автора: «История» и «историческая наука» — совсем разные понятия. Первое в 20 раз древнее и во столько же раз надежнее второго. Мы же, согласившись с этим положением (да и что тут можно возразить?), постоянно продолжаем говорить об истории и об исторической науке через апятую. Что это — устойчивость стереотипа или же некоторое свойство текста М.А., провоцирующее нас все-таки поставить именно этот знак препинания?

Столь лично-ориентированный текст провоцирует на личный же ответ. Поэтому позволю себе коснуться собственного опыта. Мне, так же как и М.А., всегда было тошно от общих понятий в духе средневековых универсалий. Я ни разу не видел в источниках ни «Дворянства», которое чего-то хотело, ни «Буржуазии», которая куда-то стремилась, ни даже «Церкви» или «Абсолютизма», которые против чего-то боролись. Не они были для меня реальными субъектами истории. Без общих понятий, конечно, не обойтись, но чтобы ими можно было пользоваться, с исследователя должно семь потов сойти. Он и сам должен убедиться, что они существуют, и читателя в том убедить. Или постараться убедить. И тогда, пожалуй, — можно даже и об «Абсолютизме» говорить но не ранее. Я понимаю всю ущербность такой позиции. Она, возможно, вызвана какими-то обстоятельствами, условно говоря, «поколенческого характера». А скорее — просто индивидуальными особенностями характера. Но не менее важным, чем личные пристрастия в историческом исследовании, было чувство неловкости перед коллегами-смежниками. Им нужны вполне определенные знания обобщенного характера. Они хотят взять их у нас и приложить к своим студиям — к истории России, к политологии, к социологии. Есть среди них шарлатаны, которые хотят быстро надергать материал под готовую культурологическую концепцию, издать учебник по соросовскому гранту,

попасть в гуманитарную элиту. Не жалко, если они сядут в лужу. Но ведь есть люди вполне добросовестные. Они берут вроде бы ясное и классическое понятие «французский абсолютизм». Начинают его монтировать в концепцию российской истории, не подозревая, что у них в руках не кирпич, а нечто студенистое, постоянно меняющее свое значение. Или хуже того, возьмут коллеги-гуманитарии концепцию перехода от феодализма к капитализму, начинают претворять в жизнь свои варианты переходного периода — предприятия закрывают, по живому режут, а то и стрельбу учинят, — и начинаешь чувствовать в этом долю и своей вины.

А к тексту М.А. претензии, пожалуй, вот какие рассматриваются разные варианты ответа на вопрос, чем должна заниматься история — прогнозированием, поэтически-назидательным описанием, созерцанием осколков... Но ведь все громче звучит утверждение, что история должна заниматься лишь тем, что происходит в голове у историка. Поэтому вопрос о том, нужна или нет генерализирующая история, будет звучать совсем иначе: *свойственно ли человеческому сознанию группировать факты, борясь с энтропией, конструируя некие регулярности, или не свойственно?* Согласитесь, что такая постановка вопроса в значительной степени лишает основания пафос текста М.А. Точнее, М.А. и историки-«прогнозисты» неожиданно оказываются по одну сторону баррикад, возведенных «лингвистическим поворотом».

Я не разделяю и оптимизма М.А. Мне, наверно, было бы уютно в той системе исторического знания, которая, по его наблюдениям, устанавливается на Западе и вот-вот установится у нас. Но ведь все течения, которые порождают такую систему, с неизбежностью порождают и противоположные тенденции. Возьмем, например, Интернет. Он, конечно, ведет к профессионализации, к тому, что ценность работы историка будет по гамбургскому счету видна всему сообществу. Но то же Интернет может привести к клонированию диссертаций. Чего проще — «скачать» основные источники, несколько десятков монографий и статей (их ведь даже переписывать не надо, правда, пока еще приходится на русский язык кое-что переводить, но это временно — через год-другой будут программы перевода). Но трудно ждать, что в общедоступную сеть в ближайшее время попадут архивные раритеты, экзотические источники — поэтому Интернет вполне может стимулировать «экстенсивный» путь исторического поиска в ущерб «интенсивному».

Но это все мелочи. Есть куда более важные контраргументы против «розовощекой» утопии М.А. И аргументы эти ему, конечно же, ясны, как автору учебника, как человеку, которого постоянно трясут за лацканы пиджака, спрашивая, «куда нас ведет история».

Мы-то можем отказаться от генерализации, я, например, сделаю это с легким сердцем. Но тогда генерализовать станут без нашего участия, но станут обязательно, потому что есть преподавание. И в соревновании между учебником, написанным хорошим историком, понимающим фиктивность всех концепций, и учебником плохого историка, но организовавшего материал под «великую идею», преподаватели неизбежно отдадут предпочтение второму.

Кроме того, история, причем история-концепция, история-обобщение, выступает в роли одного из ведущих элементов этнической или же социально-политической мобилизации. Может быть, на Западе и отпала нужда в такой истории (хотя я в этом сомневаюсь), но к востоку от Эльбы все выглядит иначе. В.А. Тишков, директор Института этнологии, утверждает, что многочисленные современные этнические формирования, ставшие субъектами Большой политики, созданы буквально ex nihilo этнологами, фольклористами, писателями, историками. Гуманитарии придумывают народ (эндуры, орехово-борисовцы, кенигсбергские казаки), придумывают историю этого великого народа, которая призвана обосновать перспективу его не менее великого будущего. В России это может быть выражено не столь откровенно, как в других постсоветских странах, но и у нас этого хватает. И уверенности в том, что профессионализм и историческая шепетильность в выводах возобладают над воспитательным соблазном Национальной Идеи, у меня нет.

Есть, собственно, два пути. Либо историческим синтезом будут заниматься люди, которые этого очень хотят, либо те, которые этого не очень хотят. Предпочтительнее, чтобы победили вторые. Так же, как лучше, чтобы к власти приходили люди, которые к власти не очень рвутся. Но это так редко бывает... Мы же попробуем взять те тенденции, о которых говорит М.А., и в виде мелкого, но твердого камешка кинуть между жерновами новомодных глобальных теорий и обобщений. Посмотреть, что будет, и затем, быть может, начать строить свою мельницу, ведь молоть-то кому-то надо.

А относительно возможностей истории как обобщения... Я занимаюсь мельчайшими сюжетами, теми осколками, в суще-

ствовании которых я уверен. Но в глубине души надеюсь, что где-то, скорее всего в небесной канцелярии, все это как-то будет синтезировано. Слеза комсомолки, дрожание левой икры Наполеона, политика III династии Ура, загадки творчества Леонардо — все это фрагменты, без которых Puzzle так и не сложится в одну картину. А кто ее будет складывать — нам знать не дано.

Ю.Л. Бессмертный. К какому бы жанру ни относили разные участники дискуссии обсуждаемую статью, все, по-моему, согласны в том, что М.А. Бойцов поднимает в ней важные, если не важнейшие, проблемы. Думается, наша цель — обсуждать суть этих проблем, а не то, в каком именно жанровом ключе они поданы и насколько совпадают с конкретной исследовательской практикой автора.

Что привлекает меня в статье М.А.? Прежде всего — широкая, я бы даже сказал необъятно широкая, постановка вопроса о судьбах истории как дисциплины и об историческом процессе в целом. Привлекая меня, эта широта в то же время и настораживает. Мыслимо ли, затрагивая столь обширный круг проблем, рассмотреть каждую из них с должной глубиной?

Начну с сомнений, которые вызывает у меня попытка связать эволюцию истории как дисциплины главным образом с ролью в историческом процессе материальных факторов. И, прежде всего, с тем, насколько члены того или иного общества поглощены материальными или противоположными им по характеру — *«постматериальными»* (по выражению автора) — потребностями. Можно ли на основании изменений такого рода говорить о тяге современных историков к изучению «осколков» прошлого в противовес изучению исторического синтеза? Можно ли не учитывать при объяснении современной эволюции истории, например, изменений в историко-культурном универсуме, или в степени атомизации общества, или в формах интеллектуальной рефлексии? Все перечисленное относится к числу глобальных явлений, и самое их рассмотрение невозможно, конечно, без глобального (а не «осколочного») анализа. Но ведь и самый поворот в историческом знании, объяснить который пытается М.А., тоже явление глобального (а не осколочного) характера...

Далее. Меня привлекает в статье М.А. оптимистическое в целом признание необходимости истории как дисциплины. Не без оснований М.А. замечает, что история вечна даже в боль-

ней степени, чем иные науки, что без нее нельзя обойтись. И вполне соглашаясь с этим, замечу, что и здесь меня смущает определенное противоречие в построении М.А. Ведь если история, как констатирует автор, есть «прежде всего рефлексия общества» (т. е. нечто, безусловно, «глобальное»), то как совместить с этим рекомендуемую для историка «установку» «не нависывание своего фрагмента» в современный (для данного фрагмента) контекст, но лишь на «выявление собственных свойств именно этого фрагмента»? Может ли такое «выявление», взятое вне контекста, подняться на уровень «рефлексии общества»?..

Меня безоговорочно привлекает в статье М.А. признание цеховой ответственности советской историографии за деяния и идеологию советской власти. Я и сам, к сожалению, причастен к этой историографии и несу, несомненно, свою долю ответственности за то, что не выступал в открытую против того, что официальная советская историография пропагандировала и одобряла. Эта цеховая ответственность касается и фактического прития профетических целей истории. (Не стоит прятаться за то, что А.И. Неусыхин и другие великие российские историки отказывались разделять эти глупости. Если бы идеи профетизма истории — причем в самом упрощенном сталинском варианте — не господствовали в советское время, откуда сегодня взялась бы убежденность многих наших современников, что сама история *указует* путь к «светлому будущему» и что те, кто напоминают об ужасах нашего недавнего прошлого, «подрывают» возможность реализации этого будущего?)

То же самое касается цеховой ответственности за гипертрофированно социологизирующий облик огромной массы советских исторических исследований, фактически обезчеловечивавших историю. И не стоит ссылаться на то, что социологизирование было в первой половине нашего века характерно не только для отечественной историографии. Нельзя забывать, что на Западе любые историографические веяния, включая социологизм, проповедовались исследователями, которых публика вольна была слушать или не слушать. У нас же это была *идеологическая* максима, и неприятие ее могло грозить реальными карами. Я разделяю поэтому пафос критических замечаний М.А. Бойцова по поводу ряда наших историографических традиций.

Меня привлекают в статье М.А. и наблюдения, касающиеся неисчерпаемости прошлого как объекта исторического по-

знания. (В этом ведь и коренится возможность вечного обновления видения прошлого!) В тексте (и подтексте) статьи такое обновление на данном этапе увязывается со сосредоточением внимания прежде всего на действиях индивида и на отдельных казусах. Здесь, несомненно, есть переключка с тем, что практикуют участники нашего семинара, авторы альманаха «Казус» и труда «История частной жизни» (но об этом чуть дальше). Обновление исторической дисциплины увязывается М.А. и с изменением формы историописания в сторону яркого нарратива, насыщенного саморефлексией, а вместе с ней — и самоиронией. Эта самоирония — больше, чем «стёб» или эпатаж. В ней мне видится *один* из способов преодоления всего окостеневшего и застывшего в наших подходах, в наших лингвистических топосах, в самом способе нашего мышления. Случайно ли отмечается, что «человечество смеясь расстается со своим прошлым»? Не является ли самоирония одним из эффективнейших методов саморефлексии и обновления, в том числе и в истории?

Однако очень многое зависит, конечно, от того, что именно предлагается взамен объекту, ставшему предметом иронической рефлексии. И здесь — главный пункт моих разногласий с М.А. По его мысли, историописанию впору сегодня стать собранием рассказов о фрагментах прошлого. Замечу, что идея подобной трансформации истории уже выдвигалась. Лет 20 тому назад Франсуа Фюре — один из известнейших французских историков, недавно ушедший из жизни, — предлагал отказаться от истории как связного изложения явлений и событий прошлого из-за невозможности статистически подтвердить какие бы то ни было общие построения. Взамен этого Фюре рекомендовал ограничиться экскурсами по таким сюжетам, по которым есть достаточно репрезентативных статистических данных (например, средний возраст первого брака или доля холостяков или доля вдов и т. п. в тот или иной период). Сборники таких экскурсов и должны были составить новую, научно подтвержденную историю. Эта идея Фюре так и не нашла поддержки.

Я не ставлю знака равенства между подходами Фюре и Бойцова, но кое-какие реминисценции напрашиваются. Одно из отличий замысла М.А. раскрывается, если обратить внимание на вводимую им важную оговорку к рекомендуемому методу исторического познания. Предлагая историку максимально сосредоточиться на «собственных свойствах» исследуемого

фрагмента, М.А. отмечает в последних фразах своей статьи, что при этом «может быть, удастся разыскать *нечто намного большее*», чем эти фрагменты сами по себе. К сожалению, М.А. не раскрывает, что здесь имеется в виду. Чуть-чуть проясняет мысль автора используемый им термин: анализируемый «фрагмент» именуется здесь — да и в других местах текста — «осколком». Но, как известно, рассматривая любой осколок, нельзя не интересоваться, от чего он собственно «откололся». Не значит ли это, что, как бы противореча самому себе, М.А. имплицитно признает здесь необходимость изучать то целое, от которого откололся каждый из таких фрагментов-«осколков»? Не предполагает ли это обращение к анализу «внешних связей» данного фрагмента, который М.А. только что полагал необязательным? «Собственно этим (анализом контекста и внешних связей? — Ю.Б.) и стараются в меру своих сил заниматься авторы альманаха “Казус”», — пишет М.А. Бойцов. И в этом я не могу с ним не согласиться (констатируя одновременно еще одно логическое противоречие в его статье).

Теперь — соображение по существу обсуждаемой проблемы. Дробление и «мельчание» исторического знания, о котором пишет М.А., действительно идет. На первый план исторического анализа выдвигаются сегодня поступки и действия индивида, как и их осмысление данным конкретным исследователем. Однако это, как мне думается, не исключает возможность «восхождения» ко второму (по условному счету) плану исторического исследования. Задача здесь в том, чтобы раскрыть за индивидуальными действиями их мотивы и импульсы, в том числе и импульсы со стороны глобальных структур. Иными словами, речь идет о том, чтобы в *индивидуальных суждениях (или поступках) увидеть интерпретацию индивидом импульсов со стороны глобальных структур*. Я бы отнес это к ключевым звеньям современного исторического познания. И важно это не только с точки зрения осмысления самих индивидуальных интерпретаций. В пристальнейшем внимании к индивидуальному и уникальному мне видится и один из ключей к осмыслению целостностей. Не раскрывается ли своеобразие каждой из этих целостностей через анализ их преломления в индивидуальном восприятии современников? Не в нем ли находит воплощение уникальность каждого из культурных универсумов прошлого? *Всесторонний анализ индивидуальных (и уникальных) «осколков», «фрагментов», «казусов» (т. е. анализ как их внутренних особенностей, так и их «внеш-*

них» *связей*) таит в этом смысле огромные познавательные возможности.

Наконец, о природе исторического знания. Изменил ли ее современный «кризис истории»? Наука это или нет?.. Спор, конечно, не о словах, но о своеобразии предмета, приемов, возможности познания.

Как пишет М.А., «все привыкли говорить о кризисе в историографии ХХ в., сравнивая ее с “некризисной” историографией века предыдущего». Увы, это привычное представление не слишком точно. Еще в 1820 г. Огюст Тьерри писал, что изучать историю так, как это было принято раньше, более нельзя и что историки ощущают необходимость глубокого перелома. Ж.Е. Ренан в 1868 г. в «Questions contemporaines» открыто поставил проблему упадка французской историографии, выступая за ее решительное обновление. На рубеже прошлого и нынешнего столетий Шарль Пеги констатировал, что позитивистская историография зашла в тупик, без поисков выхода из которого не может быть достигнуто познание прошлого. Жерар Нуарель, собравший в книге 1996 г. эти и другие данные, имел достаточно оснований полагать, что тема «кризиса истории» — одна из констант в европейской историографии на протяжении двух последних столетий.

Выходит, дело не только в специфических тенденциях историографии ХХ в., но и в чем-то более глубинном. Я не хочу сказать этим, что можно недооценивать своеобразие сегодняшней ситуации. Следует лишь иметь в виду, что не в ней одной дело.

Что изменилось именно сегодня? Я бы обратил внимание не столько на изменение общего понятия «наука» (хотя такое изменение и симптоматично), сколько на складывающиеся ныне представления об основном предмете научного познания. Таким предметом — в том числе и в «самых точных» науках — все чаще становятся *неравновесные*, неустойчивые состояния, *случайные* контаминации явлений, *уникальные* ситуации; почти повсеместно научное знание обретает атрибут персонафицированности и индивидуальности. Соответственно, от того только, что в историческом знании возрастает удельный вес исследований случайного, индивидуального или уникального, или же от того, что возрастает элемент субъективности этого знания, оно в известном смысле не удаляется, но как бы приближается сегодня к научному. *Как бы приближается, но не сливается!*

О различиях между ними сказано достаточно, и нет нужды повторяться. Сегодня, на мой взгляд, важнее осмыслить своеобразие исторического знания по сравнению не с наукой, но со «свободными искусствами» — публицистикой, журналистикой, литературой. Это особенно актуально на фоне постмодернистского вызова. В этой связи я бы снова и снова напомнил, что, в отличие от всех только что названных видов интеллектуальной деятельности, история несравненно более жестко зависит от «Архива», источника, от строгого соблюдения правил исторического «ремесла». Стоит хоть на йоту недооценить эту зависимость, как возникнет угроза «свободы», открывающей путь к манипуляции прошлым, к произволу и фальсификации всего осмыслению. Поэтому так важно учитывать *неповторимое своеобразие* исторического знания. Я уверен, что М.А. Бойцов, справедливо подчеркивающий важность «знаточеских» навыков историка, разделяет эту мою позицию.

Заключительное слово М.А. Бойцова

Мне представляется, что состоявшаяся дискуссия (не ослабевшая несколько часов подряд при полной аудитории) была и интересна, и поучительна. Я спрашиваю себя, была бы она столь напряженной и временами просто страстной, если бы положения моей статьи не были сформулированы с той резкостью и бескомпромиссностью, за которую меня здесь так критиковали, если бы каждый тезис был уравновешен авторским сомнением (оставшимся в данном случае в подтексте), украшен осторожными и страхующими от недовольства тех или иных групп предполагаемых оппонентов оговорками, сносками, цитатами и прочими атрибутами высоконаучного знания? Разумеется, в нынешнем развитии и общества, и культуры, и, в частности, исторической мысли действуют одновременно самые разные факторы: при желании мы вообще можем обнаружить все и всегда. Я видел свою задачу в том, чтобы предельно четко обозначить тенденции, показавшиеся мне существенными. Это не означает, что нет тенденций иных, а порой и совершенно противоположных, но вот каким из них суждено реализоваться в большей степени, а каким — в меньшей, — увидим.

В целом дискуссия прошла по сценарию, который можно было предвидеть заранее, и была она в сущности не столько

«научной», сколько, как уже намекали некоторые из выступавших, мировоззренческой. А как раз мировоззренческие дискуссии всегда очень интересны, хотя они почти никогда не приносят каких-либо осязаемых «научных плодов». Спор велся по сути дела о том, в какой степени «ощущение» (я бы настаивал на этом слове) автора статьи совпадает или же, напротив, решительно расходится с индивидуальным жизненным опытом того или иного уважаемого оппонента.

Много (может быть, излишне много) неприятия вызвала прежде всего форма статьи, ее «журналистский» стиль. Думается, что в эпоху демонстративного смещения всяческих стилей в культуре, растворения казавшихся еще недавно столь прочными границ между жанрами подобные вольности могут иметь хотя бы ограниченное право на бытие, по крайней мере в порядке эксперимента и, что важно, не в самом засушенном из научных изданий.

Пафос многих выступлений состоял в вопросе «Куда зовет нас, а тем более собравшееся здесь неискушенное юношество, этот Бойцов?!» Да никого и куда я не зову. Я пытаюсь выразить некое собственное ощущение — если хотите, ощущение растерянности, но не испытываю никакого желания инфицировать им массы. Я никого ни к чему не призываю и не говорю коллегам-историкам, чем они «должны» или «не должны» впредь заниматься — слова, которые оппоненты почему-то упорно стремятся вложить в мои уста. В отношении всего, что хотя бы несколько поднимается над уровнем простой ремесленной добросовестности, историк, по моему мнению, вообще никому и ничему не «должен», кроме как собственной совести. Поэтому, по крайней мере в одном пункте, я не могу принять упрека в привязанности к некоей «уходящей ментальности». Как мне представляется, самой характерной и вместе с тем неприятной чертой ее носителей было (и все еще есть) как раз агрессивное стремление превратить собственную ментальность во всеобщую.

Моя цель состояла в том, чтобы поделиться своим (сугубо индивидуальным) видением с коллегами-профессионалами и выслушать их мнения. Я был бы даже рад (и притом совершенно искренне), если бы оппоненты смогли убедить меня в моей принципиальной неправоте. У меня ведь нет врожденной и непреодолимой идиосинкразии к сочетанию слов «историческая закономерность». Напротив, я был бы счастлив, если бы кто-нибудь показал мне в ходе дискуссии, как конкретно «вы-

волятся» из исторической эмпирии надежные закономерности, на чем основывается их всеобщий обязательный характер, эта «научно-методологическая» (или хотя бы мировоззренческая) основа, на которой возможно возвести сколько-нибудь прочное здание серьезных исторических обобщений. Такая простая конкретная демонстрация лучше любых инвектив и упрёков доказала бы мне несостоятельность моих построений. А то ведь, когда я пытался найти для себя самого путь, ведущий к таким «солидным» обобщениям, у меня, увы, то и дело начинали расслаиваться на различные смыслы или вообще рассыпаться даже исходные «научные» термины. Тем более когда предлагаются некие более или менее развернутые социологические конструкции, то достаточно беглого взгляда, чтобы заметить, до какой степени они условны, построены на ограниченной базе сведений или опыта, на основе использования сомнительных понятий и насколько обусловлены конкретными историческими обстоятельствами своего возникновения. Соответственно их претензия на «научную» всеобщность не может не вызывать некоторого скепсиса.

Конечно, странно было бы утверждать, что Геродот (как, собственно, и любой психически здоровый человек, берущий в руки перо) будет писать (тем более историю) безо всякой концепции, без каких бы то ни было общих идей и целей, отрешившись от собственного взгляда на мир и своего жизненного опыта. Разумеется, человеческому разуму изначально присуще стремление к преодолению энтропии уже в силу того, что он — живой, а значит антиэнтропичен по определению.

Задаваемый мной в статье вопрос лежит совершенно в иной плоскости. То, что отдельный историк в состоянии создавать при желании сколь угодно обобщающие картины прошлого, пользуясь при этом специфическими инструментами для конструирования локальной, региональной или всемирной истории, сомнений не вызывает. Проблема состоит в том, могут ли такие обобщенные картины прошлого быть истинными не только для одного их автора? Могут ли такого рода обобщения претендовать на «научность», т. е. на принадлежность к знанию, надындивидуальному по определению? То есть существует ли сколько-нибудь надежная методология создания исторических обобщений, которая позволяет приходить если и не к абсолютным истинам, то хотя бы к гипотезам, имеющим не индивидуальную, но пусть только «относительно всеобщую» ценность?

Если такая методология существует, хотя бы теоретически, ее надо искать, осваивать, распространять, обучать ей каждого начинающего историка и отлучать от профессионального цеха тех, кто ею не овладел в должной степени. Если нет — то историку придется во всем, что превышает необходимый ремесленный минимум, руководствоваться прежде всего *личным* пониманием мира, а любые *общие* «теоретические установки» принимать во внимание лишь в той мере, в какой они не противоречат его *индивидуальному* жизненному опыту. Так, собственно, и поступают крупные историки, независимо от того, какие «нормы исторического познания» приняты в их профессиональной среде и верность каким общеметодологическим принципам они сами в своих трудах декларируют.

Поскольку личность историка, естественно, представляет собой сгусток социальных и культурных связей своего времени, то чем полнее индивидуальное самовыражение историка, чем богаче его душа, тем весомее окажется и «вклад» этого человека, правда не в «науку», а в нечто более важное — в бесконечный процесс самопознания общества и культуры. А интересы общества, учитывать которые призывали оппоненты, состоят, по моему мнению, в первую очередь в максимальной творческой самореализации составляющих его индивидов. Так что на любое идущее извне требование «служить обществу» историк, как мне кажется, вправе возразить со смирением: «Общество — это я».

При всей поверхностности моего знакомства с античной историографией, у меня создалось впечатление, что сфера нормативного в ней в большей степени затрагивала форму изложения, но куда в меньшей — способы концептуального осмысления исторического материала. Иными словами, правила риторики могли управлять творческой волей автора, а вот историософские идеи, передававшиеся традицией, были настолько общи и эластичны, что мало ограничивали индивидуальное самовыражение того или иного историка. Христианство, напротив, задает трактовке исторического процесса весьма жесткие параметры, не ориентироваться на которые христианский историк не может. (К слову, мне не совсем ясно, чем я заслужил упрек в пренебрежительном отношении к христианству — если речь идет специально о воскрешении в день Страшного Суда уродов, недоносков или даже женщин в более совершенном облике мужчин, то все эти вопросы действительно заинтересованно обсуждались, несмотря на приведенные

слова апостола Павла, и в патристике, например Августина — О граде Божьем, XXII и др., и, тем более, в средневековой эсхатологии — у Гонория Августодунского, Оттоа Фрайзингского и проч.) Новое время унаследовало от средневековья как ряд основных историософских идей (более или менее секуляризовав их), так и высокую требовательность по отношению к историческим концепциям — требовательность, которой предстояло только усилиться на той стадии развития европейского исторического знания, когда оно попытается реструктурироваться на манер науки. Классический позитивизм Конта, Бокля или их последователей как раз и был ясным выражением сциентистской интерпретации исторического знания, столь характерной для XIX в. Разве не позитивизм активнее других философских течений «превращал историю в науку» и заставлял ее выявлять исторические законы, мудро используя которые человечество сумеет улучшить свое существование? Это в XX в. претензии позитивизма стали скромнее (отношения «Анналов» и позитивизма — тема сложная и особая), и нынешним «классическим позитивистам» приходится в большей части подчиняться всеобщей необходимости «писать историю в осколках» (правда, под пером позитивистов такие фрагменты исторического бытия выглядят, как правило, кучнее, чем у сторонников иных методологических установок).

Мне представляется, что Л.П. Репина, внешне решительно возражая, в сущности солидаризировалась со мной в решающем пункте моих рассуждений: за последние десятилетия произошли коренные изменения в структуре и проих характеристиках «европейского» знания, в том числе и знания исторического. Расхождение между нами относится не только к пониманию сути явления, сколько к тому, в каких понятиях его описывать, а потому это расхождение кажется мне второстепенным. В самом деле, все более размытые, все более «оппортунистические» определения слова «наука», выдвигаемые под давлением реалий XX в., по сути дела лишают это понятие инструментальной роли. Когда, например, смысл слова «наука» раскрывается как свойственный европейской цивилизации с самых ее истоков способ рационалистического постижения мира, такой «термин» становится трудно применимым для исторического анализа, ориентированного на прослеживание неких изменений. Приведенное ранее Л.П. определение Р. Коллингууда не намного уже — под него успешно подпадает едва ли не всякая познавательная деятельность. В конце концов

любой миф — это не что иное, как совокупность вопросов о мире и ответов на них. Любое религиозное откровение может быть описано как результат «концентрации мысли на чем-то таком, чего мы еще не знаем», и «попытки его познать...». «Поиском» занимается и ведьма, составляя наилучший рецепт приворотного зелья. А разве действия африканского колдуна, «вызвавшего» столь необходимый соплеменникам дождь, не соответствуют «метаметодологическому стандарту» — способности решать проблему? Бесчисленные ухищрения методологов последних десятилетий по беспредельному растягиванию смысла слова «наука» уже сами по себе поневоле заставляют усомниться в эвристичности и необходимости этого понятия, во всяком случае применительно к нашему времени и нашему кругу гуманитарного знания. Создавая все новые «каучуковые» определения науки, мы сами занимаемся, кажется, не вполне научной деятельностью, так как не столько подбираем наиболее подходящее слово-термин для описания некоторой реальности, сколько лихорадочно пытаемся спасти такое слово (унаследованное из авторитетного прошлого и, самое главное, обладающее высочайшей, почти религиозной, ценностью в нашей цивилизации) от этой самой, оказавшейся при пристальном рассмотрении слишком сложной (или просто иной?) реальности.

Мне намекали в дискуссии, что, переставая цепляться за то понимание общественной роли истории, которое бытовало в прошлом веке, историки окончательно лишатся своего *raison d'être* — и смысла существования, и права на него. Так исторически сложилось, что именно наших историков едва ли не больше всех других замучали вопросом о том, зачем они нужны обществу, и мы уже автоматически начинаем думать над тем, как в очередной раз оправдать перед властями факт собственного существования. Этот психологический комплекс вырастает из естественного опасения, что власть (а теперь, наверное, и спонсор) не даст денег на хлеб насущный. Я тоже не стал бы сегодня говорить ни государству, ни даже частному спонсору, что история как наука, «открывающая закономерности общественного развития», приказала долго жить и что наши цеховые занятия на самом деле движимы простой человеческой любознательностью, рефлексией, склонностью к интеллектуальному удовольствию и десятками иных «частных» причин. Факт смерти *науки* истории должен, конечно, оставаться страшной цеховой тайной, которую можно открывать

голько посвященным. Правда, приняв в расчет размеры нашего финансирования, можно прийти к выводу, что власти раскрыли эту нашу профессиональную тайну намного раньше нас самих.

Но кто будет отрицать, что в обществе благополучно существуют значительные группы интеллектуалов, отнюдь не являющихся носителями *научного* знания, — литераторы, художники, журналисты и прочие: имя им — легион? Все они, однако, в той или иной мере причастны к общественному самосознанию — и потому общество находит какие-то возможности их содержать (порой даже совсем неплохо) — не через систему ставок в академических учреждениях, разумеется, а через другие социальные институты. Поэтому в опасении голодной смерти для историков на следующий день после того, как они перестанут открывать исторические закономерности (а много ли мы их открыли до сих пор?), мне видится мало жизненной правды. Что касается специально отношений с властью, обслуживания ее праведных и не очень праведных нужд, то это не специфическая проблема цеха историков — перед ней ставятся все интеллектуалы — говорят, даже поэты и художники. Ставятся все, а решает ее каждый в одиночку и по-своему.

В заключение насчет пессимизма, оптимизма и прочих эмоций, рождающихся при чтении статьи. Я старался констатировать наличие некоторых тенденций, а хороши они или плохи, дают они повод для радости или огорчений — судить не берусь. Мне кажется, что «выветривание теорий» из занятия историей создает больше творческих возможностей свободы для историка, освобождает его от оков всяких обязательных общих интегрирующих схем (у нас по большей части социологического характера) и снимает с его психики некоторые фрустрации, некогда вызванные ошибками профессионального воспитания. (Когда история не делает того, что она вроде бы должна делать, в соответствии с тем, что вроде бы ей предписано, возникают определенные сложности и с общественным сознанием, и с индивидуальным.) Мне кажется, что намечающиеся тенденции в конечном счете обещают историку больше свободы. Но свобода — состояние сложное; для одних она — благо, а другим — сущая беда.

«Персональная история»: биография как средство исторического познания

*... Человек есть нить,
протянувшаяся сквозь время,
тончайший нерв истории, который
можно отщипнуть и выделить – и по
нему определить многое...*

Юрий Трифонов

Центральное место в многочисленных методологических дискуссиях современной историографии, наряду с вышедшими недавно на первый план эпистемологическими проблемами, неизменно занимает проблема нового исторического синтеза, который был бы способен восстановить разорванную аналитическими процедурами целостность ткани исторического прошлого, осуществить реинтеграцию системно-структурного, социокультурного и психологического подходов, обособившихся в практических исследованиях. В последнее десятилетие активные поиски историками путей к синтезу главным образом ведутся вокруг осмысления роли и взаимодействия индивидуального и группового, национального и универсального в историческом процессе, серьезные усилия направлены на теоретическое преодоление дихотомий индивидуального/коллективного, единичного/массового, уникального/всеобщего.

Историки ментальностей, пытавшиеся зафиксировать целостность исторической действительности в фокусе человеческой субъективности, сосредоточились на изучении внеличностной малоподвижной структуры общественного сознания, мира коллективных представлений, оставив «за кадром» не только историю событий, но и проблему самоидентификации личности, личного интереса, целеполагания, индивидуального рационального выбора. Между тем ответ на вопрос, каким именно образом унаследованные культурные традиции, обычаи, представления определяют поведение людей в специфических исторических обстоятельствах (а следовательно, сам

ход событий и их последствия), не говоря уже о проблеме творческого начала в истории, требует выхода на уровень анализа индивидуальной деятельности.

Включение механизмов личного выбора является необходимым условием построения новой интегральной модели, призванной соответствовать интеллектуальной ситуации дня сегодняшнего. Именно трудности решения этой задачи, которые становятся все более очевидными, стоят на пути создания комплексной объяснительной модели, которая должна учитывать наряду с социально-структурной и культурной детерминацией детерминацию личностную и акцидентальную, восстановив психосоциальную целостность исторического индивида. В связи с этим представляется вполне закономерным новый поворот интереса историков от «человека типичного» или «среднего» к конкретному индивиду, и здесь, как правило, на авансцену вновь выходит индивид неординарный или, по меньшей мере, способный принимать в сложных обстоятельствах нестандартные решения. В результате этого поворота историческая биография, представляющая собой один из древнейших жанров историописания и пользующаяся непреходящей популярностью у самой широкой публики, получает как бы «второе рождение».

В настоящее время некоторые проявившиеся в этой области тенденции дают определенные основания говорить о перспективе складывания нового направления со своими специфическими исследовательскими задачами и процедурами. Предметом настоящей статьи являются методологические установки, уже имеющиеся достижения, а также выявившиеся противоречия и различия в подходах между отдельными течениями, так или иначе соединяющимися в русле этого еще не оформившегося направления, которое можно условно назвать новой биографической историей, поскольку в его основе лежит восстановление «истории одной жизни». В качестве самоназвания используются также такие понятия, как «индивидуальная» и «персональная история».

Если общий импульс к возрождению такого «персонального» подхода, несомненно, дала неудовлетворенность многих историков тенденцией к дегуманизации и деперсонализации исторических субъектов не только в социологизированной, но и в антропологизированной истории, то в своей позитивной стратегии его сторонники ориентируются на принципиально различные образцы — от микроистории до психоистории, от

1

2

моделей рационального выбора до теорий культурной и гендерной идентичности. Тем не менее они имеют не только общий объект исследования – человеческую личность, но и существенно важную общую характеристику. Отличие этого направления исследований от привычного жанра историй из «жизни замечательных людей» и так называемых исторических портретов состоит в том, что в нем личная жизнь и судьбы отдельных исторических индивидов, формирование и развитие их внутреннего мира, «следы» их деятельности в разномасштабных промежутках пространства и времени выступают одновременно как стратегическая цель исследования и как адекватное средство познания включающего их и творимого ими исторического социума и таким образом используются для прояснения социального контекста, а не наоборот, как это практикуется в традиционных исторических биографиях.

3 Ставшие заметными в конце 80-х годов увлечение историков биографиями и обновление проблематики и методологии биографических исследований получили теоретическое обоснование в известной программной статье итальянского историка Джованни Леви. В ней он, в частности, предложил и свою типологию исторических биографий. Один из вариантов был обозначен им как «модальная биография», которая выполняет служебную роль и в которой задача исследователя сводится к иллюстрации типичных форм поведения, присутствующих наиболее многочисленным социальным группам. Однако речь в данном случае, естественно, идет не о собственно биографии, не об изучении жизненного пути индивида, а лишь об использовании биографических данных в статистических целях. Концентрируя свое внимание на групповых характеристиках, эта просопографическая версия является по существу историей анонимов и, на мой взгляд, явно выбивается из типологии биографий.

Повышенное внимание к контексту характеризует второй подход, при котором своеобразие судьбы героя объясняется атмосферой его эпохи, среды, ближайшего окружения. Представителям этого направления, которое можно было бы назвать контекстуальным, по мнению Дж. Леви, большей частью удастся, используя общий культурно-исторический контекст для реконструкции по имеющимся параллелям утраченных фрагментов биографии своего героя, не растворить в нем индивидуальные черты, «сохранить равновесие между специфичностью частной судьбы и совокупностью общественных усло-

ний». В основном все же этот метод применяется в историко-
антропологических исследованиях, в которых воссоздание так
называемых биографий простых людей занимает некоторое
промежуточное положение между целью и средством.

В основе третьего подхода, который описывает атипичные
и, как правило, экстремальные случаи, — именно исследова-
ние самого контекста, проявление границ его возможностей
(девиантное поведение рассматривается как крайнее проявле-
ние нормы). Несомненным преимуществом исследования та-
ких казусов («пограничных случаев») мне представляется спо-
собность ярко продемонстрировать гетерогенность данной со-
циальной и культурной среды, обнажая ее ранее скрытые
фрагменты, а значит делая наше представление о ней более
полным и менее зависимым от деформации все усредняющей
статистики, для которой главное — частота случаев, а вовсе не
их разнообразие. Однако, по справедливому замечанию
Дж. Леви, познавательный потенциал этого метода, так же как
и предыдущего, оказывается недостаточным для учета и объяс-
нения внутренней динамики социальной среды, происходя-
щих с нею изменений.

Не исчерпывая, разумеется, всех направлений биографиче-
ского жанра, Дж. Леви упоминает в этом ряду четвертый, «гер-
меневтический» подход, в котором подчеркивается роль диа-
лога, коммуникации между индивидами и культурами, и за-
вершает на этом перечень «подлинно крупных направлений»,
«представляющих собой новые пути, которыми идут те, кто
пытается сделать биографию инструментом исторического по-
знания». Традиционные виды исторических биографий, впро-
чем вполне оправданно, выводятся за рамки обсуждения.

Дж. Леви сформулировал и круг важнейших нерешенных
вопросов, в который включил проблемы соотношения между
нормой и реальной практикой и между различающимися нор-
мами внутри данной социальной системы, между группой и
составляющими ее индивидами, между детерминацией и сво-
бодой, а также вопрос о типе рациональности героя биогра-
фии. Особое внимание он уделяет выяснению реального диа-
пазона свободы выбора, которым могли располагать действу-
ющие лица истории в конкретном нормативном пространстве,
используя его неполную структурированность, внутреннюю
противоречивость и возможность неоднозначного истолкова-
ния правил и реализуя тем самым свою индивидуальную изби-
рательную рациональность «в разъемах социальных границ».

4

5

Таким образом, в этом выборе из объективно заданных возможностей проявляется относительная самостоятельность личности. Констатация возможностей осознанного выбора в ограниченном пространстве свободы «по отношению к жестким структурам господства и подчинения» призвана сбалансировать акцентирование Пьером Бурдьё и Роже Шартье элементов неосознанной культурной или групповой детерминации, привлечь внимание к самому отношению между индивидом и группой, почеркнуть различия в генезисе индивидуальных и коллективных представлений, необходимость применения к группам и индивидам разных когнитивных процедур и – в связи с этим – значение исторической биографии как средства, позволяющего выявить специфичность индивидуальных стратегий и практик, которые в конечном счете и порождают изменения в обществе.

Согласно Дж. Леви, «между биографией и контекстом существует постоянная обратная связь, а всякое изменение является результатом множества их взаимодействий». По существу ту же мысль несколько раньше конкретизировала Н. Дэвис, показавшая непрерывный процесс переопределения индивидуальной идентичности относительно существовавших во Франции XVI в. коллективных институтов. Однако выведенная Дж. Леви из этого основополагающего и достаточно широко разделяемого методологического принципа задача биографического исследования – специфическим (прежде всего относительно социальной истории) способом «описать нормы и их реальное функционирование», определяя «границы свободы и принуждения, внутри которых складываются и действуют формы социальной солидарности», – оказывается существенно суженной как раз за счет изучения индивидуально-психологических аспектов. Подобное «усекновение головы» биографического жанра представляется мне неоправданным, так же как и сомнительный тезис о том, что исследовательский поиск, подчиняясь этому императиву, должен быть направлен на косвенные источники, содержание которых в наименьшей степени носит следы контроля со стороны культурной среды (об источниках см. ниже).

Выделенный Дж. Леви в 1989 г. комплекс проблем и предложенные способы их решения по-прежнему остаются в центре внимания и профессиональных дискуссий историков, главным образом сторонников того подхода, пропагандистом и ведущим практиком которого он, без сомнения, является.

Однако его классификация биографической историографии, намеренно лимитированная «новыми путями», тем не менее не учитывает всего их предметного и методического многообразия. По большому счету нынешнее состояние историко-биографических исследований и не позволяет этого сделать. «Новая биографическая история» находится в стадии становления, о школах и направлениях в полном смысле слов говорить рано, и наибольший интерес, безусловно, представляют те действительно «штучные» работы, в которых яркие достоинства исторической биографии не бледнеют или даже растворяются, а оказываются адекватными действительно новым задачам, и поэтому поставленные цели достигаются не вопреки или помимо, а именно в результате мобилизации жанровой специфики. Максимальное приближение к этому идеальному типу мне видится в «персональной истории».

Понятие *«personal history»* имеет достаточно широкое хождение и далеко не однозначное употребление в англоязычной историографии. Чаще всего оно относится к четырем вариантам биографий, отличия которых можно лишь весьма приблизительно выразить в переводе. Во-первых, это полнокровная персонифицированная история, или «история персоны», — более или менее традиционная биография исторического лица, как правило, общественно-политического деятеля или творческой личности крупного масштаба, иногда с применением интуитивистского метода биографической реконструкции и психоаналитических теорий. Нередко тот же термин указывает на «личную историю», на исследование жизни индивида сквозь призму его личных, приватных отношений, обычно эмоционально окрашенных (так «частной биографии», в отличие от «биографии публичной»). В качестве третьей составляющей «персональной истории» выступает собственно история личности (ее еще называют «внутренней биографией», в противовес «внешней», или «карьерной»). В фокусе исследования оказывается процесс становления личности, ее душевная и мыслительная работа, развитие внутреннего мира человека. И наконец, изредка под таким подзаголовком или помимо него фигурируют «собственнолично написанные личные истории», по сути экспериментальные интеллектуальные автобиографии историков (эти произведения можно назвать автобиоисториографическими).

Разумеется, предпринятая мною в аналитических целях висекция имеет смысл лишь в том, чтобы выделить наличест-

вующие ракурсы исследования и вовсе не исключает их комбинирования. Например, полноценная биография крупного исторического деятеля всегда включает в себя историю становления его личности и иногда — достаточно обыденное предсуществование будущей знаменитости, хотя и этот отрезок жизненного пути (включая его приватное измерение) неизбежно «отблескивает» в глаза биографов отраженным светом «звездного часа» как ретроспектива публичной биографии свершений, отнюдь не стимулируя интереса ни к альтернативным вариантам истории индивида, ни к сравнительному изучению сходных биографических ситуаций. И потому, оставив за скобками «классические биографии», пусть и в самом блестящем их исполнении, сосредоточим свое внимание на втором и третьем аспектах или их разнообразных сочетаниях, которые и договоримся в дальнейшем, невзирая на самоназвания, величать «персональной историей».

Начнем с истории личных отношений, а точнее с одного из ее пограничных вариантов, разделяющих тенденцию к неквантитативной формализации в изучении взаимодействий индивидов, близкую сердцу Дж. Леви и других представителей микроистории. Вспомним, что одним из эффективных инструментов микроисторических исследований в рамках контекстуальной биографии является применение социологических и антропологических моделей сетевого анализа межличностных взаимодействий. Этот метод опирается на так называемую сетевую концепцию социальной структуры, в которой общество предстает как ансамбль подвижных сетей человеческого взаимодействия и которая объясняет поведение индивида или группы морфологией, плотностью, интенсивностью, содержанием и направленностью межличностных контактов. Биография же выстраивается как вертикальная темпоральная последовательность горизонтальных срезов, на каждом из которых пространственно фиксируется конфигурация социальных связей индивида в соответствующий отрезок его жизненного пути. Конечно, конструируя графический образ последнего, сетевой анализ ориентируется на сравнение по сути анонимных биографий. Но он может послужить и фундаментом для настоящей биографии, здание которой достраивается уже с помощью иных познавательных инструментов.

Эвристический потенциал сетевого метода, хотя и не в его графически формализованном виде, пожалуй, особенно ярко раскрывается при сравнении двух биографических исследова-

ний, которые посвящены одному человеку и базируются на одном и том же комплексе источников — уникальном для первой половины XVI в. архиве личных писем знатной английской дамы — леди Хонор Лиль. Это традиционная биография, принадлежащая перу А. Роуза, и контекстуальная — в исполнении Барбары Ханавалт, впрочем о последней мне уже приходилось писать достаточно подробно. Здесь я только считаю необходимым подчеркнуть, что введение в биографию качественного сетевого анализа при сохранении интереса к ее индивидуально-психологическим аспектам раскрывает перед ней новые перспективы. Живое содержание родственных, соседских, дружеских связей леди Лиль, домашние проблемы и заботы о близких, ее вкусы и симпатии, незаурядные личные качества и талант общения, насущные интересы, взгляд на события и многое другое — все это присутствует в обеих биографиях, но организуется совершенно по-разному, в зависимости от поставленных задач и избранного горизонта исследования.

«Персональная история» в широком смысле слова использует в качестве источников самые разные материалы, содержащие как прямые высказывания личного характера (письма, дневники, мемуары, автобиографии), так и косвенные свидетельства, фиксирующие взгляд со стороны или так называемую объективную информацию. Конечно, сетевой анализ возможен и в отсутствие документов личного характера, чего, однако, не скажешь о полноценной «персональной истории». На биографические работы, посвященные средневековью, за исключением тех, которые касаются немногих представителей элиты, это накладывает существенные ограничения. Физическая недостача подобных текстов создает для исследователей не менее солидные препятствия, чем те, которые связаны с активно обсуждаемыми ныне трудностями герменевтического понимания. Часто средневековый персонаж, лишенный своего голоса (и визуального образа), выступает как силуэт на фоне эпохи, больше проявляя ее характер, чем свой собственный. Жорж Дюби в книге о дамах XII в. дал имеющимся в наличии источникам столь же точную, сколь и лаконичную характеристику — «всецело официальные, обращенные к публике, никогда не сосредоточенные на интимном».

Поэтому вполне понятен и правомерен особый интерес историков-биографов к более разнообразным материалам личных архивов и многочисленным литературным памятникам Возрождения и Просвещения. И все же в своих попытках вос-

14
15
16
17

18

становить внутренний мир индивида этого времени ученые вынуждены главным образом обращаться к немногочисленным представителям культурной элиты. Между тем, хотя шансы реконструировать историческую индивидуальность в эти и последующие эпохи неизменно возрастают, все в конечном счете зависит от принятого курса исследования, ведь и автобиографии можно исследовать серийно, как это сделала Илана Бен-Амос, используя более семидесяти автобиографий для изучения процесса взросления горожан в начале нового времени и как бы совершив «предначертанное» М. Вовелем возвратное движение от пограничных случаев — казусов к новому конституированной серийности, описывающей «толщину нормального». Важным моментом такого возвращения на новом витке могло бы стать уточнение типологии межличностных взаимодействий и вариантов жизненных путей в заданном конкретном обществе наборе социальных ролей, выявления разноцветия и соотношения отдельных полос в спектре ценностных приоритетов. Качественно иной версией «новой серийности» могла бы стать реконструкция коллективных представлений о жизненном успехе в персонализированных формах «образцовой биографии» или «счастливой судьбы», которые, впрочем, оказываются почти столь же однозначно «привязанными» к известным историческим личностям.

Лишь в действительно исключительных случаях в результате открытия новых источников госпожа Удача дарует исследователю шанс выйти из «заколдованного» круга аристократической элиты и создать полномасштабную биографию «рядового» человека, реконструировав историю личности, внутренний мир на основании его собственных высказываний, сколь бы трудным и извилистым ни был путь к их «расшифровке». Я хочу более детально рассмотреть две замечательные книги о не выдающихся по своему социальному статусу, но, безусловно, неординарных людях, живших в разные эпохи и в разных странах.

Герой монографии американского историка Пола Сивера, лондонский ремесленник Уоллингтон, жил в XVII в. и был пуританином. Торговец шелком Марко Паренти, жизнь которого описана его тезкой, канадским историком Марком Филлипсом, был горожанином Флоренции при Медичи. Кроме городской «прописки», этих людей объединяет принадлежность к письменной культуре, потребность выразить свои мысли и чувства на бумаге. Скромный токар Уоллингтон, о котором

хранят молчание документы государственных архивов, а свою довольно продолжительную, 60-летнюю, жизнь написав 50 томов дневников, писем, наставлений детям, а также пятнадцать записей об исторических событиях и о своих религиозных озарениях. Частная корреспонденция, дневники и мемуары Марко Паренти насчитывают многие сотни страниц. Далеко не каждый из их «высоколобых» современников оставил такое солидное наследие.

П. Север встретился со своим героем на перекрестке социальной и религиозной истории, в проблемном просветстве так называемой истории народной культуры. Два Марка — специалист по историографии и интеллектуальной истории Филлипс и незамеченный за спинами своих великих сограждан «историк флорентийской свободы» Паренти — нашли друг друга у пьедестала Клио. Оба исследователя оказались достойными своих неповторимых героев и уникально своим богатству источников. Оба вышли далеко за рамки «чистой» биографии и убедительно продемонстрировали диапазон возможностей персональной истории. И П. Север, и Л. Филлипс вписывают своих персонажей в различные круги социального взаимодействия, не глядя из виду, а напротив — подчеркивая их личное эмоциональное отношение к окружающим, к родственникам и домочадцам, к друзьям, соседям, знакомым, даже к Богу, индивидуальную специфику восприятия политических событий и реакции на них.

Нюансы авторских подходов проявляются в некоторых ключевых высказываниях. Записи Уоллингтона, резмирует П. Север, «больше всего рассказывают нам о его домашней жизни». И далее: «Его жизнеописание важно не потому что он был типичным лондонским ремесленником-пуританом — уже сам объем им написанного неизбежно делает его исключением, по меньшей мере в этом отношении. Дело в другом. Все, что мы знаем о ремесленниках первой половины XV в., является сплошной статистикой, в то время как бумаги Уоллингтона предлагают уникальный шанс проникнуть в мысли и отношение одного из таких ремесленников к самому себе и своему миру, к своей семье и друзьям, к приобретениям и утратам, а также к революции в Англии, которую он считал величайшим проявлением воли Божией...».

Стремление преодолеть обезличенность подталкивало и Марка Филлипса, установившего имя автора обнаруженного им рукописного фрагмента воспоминаний о патрицианском

мятеже против Медичи и воссоздавшего его жизнь по сохранившимся дневникам и письмам. Так фигура главы домохозяйства и представителя многочисленного, хотя и второсортного, патрицианского клана приобрела третье измерение через его *восприятие* публичной политики (поскольку он был в ней не действующим лицом, а наблюдателем). «Обязательства Марко Паренти как частного и публичного лица, — пишет М. Филлипс, — не укладываются в единую, простую схему, нелегко одновременно уловить в фокусе все их разнообразие. Но продвигаясь постепенно по письменным следам его жизни и наслаивая их друг на друга, мы выносим некоторое ощущение упорядоченности и глубины его жизненного опыта».

23

Таким образом, категория «индивидуального прошлого», всего непосредственно «пережитого» индивидом и так или иначе отложившегося в его сознании, играет интегративную роль, компенсируя последствия аналитических процедур, разлагающих человеческую деятельность, а следовательно и личность, на отдельные составляющие. Но, прирастая «новым прошлым», меняется вся структура индивидуального опыта — дальнейший синтез невозможен без включения темпорального измерения личности. Однако именно этот барьер остается пока не взятым.

Благодаря наличию уникального по охвату и разнообразию комплекса исторических памятников, гораздо ближе к решению этой проблемы сумел подойти Жак Ле Гофф в своей грандиозной монографии о Людовике Святом, которая еще долго будет служить эталоном новой биографической истории. Сам объект исследования определяется в ней как «глобализирующий», концентрирующий вокруг себя всю совокупность сфер, включаемых в поле исторического знания. Кроме того, подчеркивается наличие альтернатив и активная, творческая роль исторической личности: «Святой Людовик... сам создал себя и свою эпоху настолько же, насколько он был создан ею. И это созидание состояло из случайностей, сомнений, выбора». Задача биографа состоит не в том, чтобы скрывать, а в том, чтобы выявлять эти «колебания и противоречия». Ему также следует преодолеть мнимую оппозицию между индивидом и обществом. «Индивид существует только в сплетении разнообразных социальных связей, и именно это разнообразие позволяет ему вести свою игру. Знание общества необходимо для того, чтобы увидеть, как в нем происходит становление и протекает жизнь отдельного персонажа». С этим знанием историк

24

25

26

подступает к индивиду». Кроме того, в биографическом исследовании ему открывается необычный тип темпоральности: время человеческой жизни — социальное измерение биологического времени, время биографии индивида, не совпадающее с временем истории, ритмы которого по-разному накладываются на отдельные стадии его жизненного цикла. Созданная Ле Гоффом биография Людовика Святого оказывается необычайно *протяженной*: она выходит далеко за пределы, поставленные рождением и смертью его героя, включая, с одной стороны, унаследованную им память предшествовавшего поколения, зафиксировавшую опыт прошлого, а с другой — историю создания образа Святого Людовика в памяти переживших его современников и последующих поколений. Так история одной жизни перерастает в настоящую биографическую историю, в историю, показанную через личность.

27

С персональной, или новой биографической историей самым тесным образом связано и одно из перспективных направлений гендерной истории, хотя здесь ограничения в источниковой базе для ранних периодов истории становятся еще более жесткими. Даже исследователи западноевропейской истории раннего нового времени, несмотря на наличие довольно богатых частных архивов и обширного корпуса литературных памятников, сталкиваются с серьезными трудностями, прежде всего в своих попытках реконструировать историческую индивидуальность представительниц средних и низших социальных слоев. Стремясь восстановить внутренний мир женщины того времени, ученые вынуждены обращаться к тем немногочисленным представительницам элиты, потомкам которых удалось сберечь и пронести свои фамильные архивы сквозь все исторические катаклизмы.

Разумеется, для переноса сделанных на этом материале наблюдений в область коллективного и, тем более, социальнорифференцированного гендерного опыта требуются дополнительные обоснования. В практике конкретно-исторических исследований превалирует гипотеза о двойственности женского мировосприятия, предполагающая, что если в одних ситуациях представления женщины в той или иной мере отражали ее социальную принадлежность, которая определялась, в зависимости от ее семейного положения, по мужу или по отцу, то в других — классовые различия вытеснялись более фундаментальными гендерными характеристиками. Констатация существенной общности женского опыта каждой конкретной эпо-

хи, таким образом, не элиминирует расхождений, создаваемых социальным неравенством, и соответствует тем свидетельствам источников, которые подтверждают, что противоречия этого «двойного статуса» женщин осознавались мыслящими современниками и озадачивали их так же, как и нынешних историков, пытающихся уложить женскую ментальность в классово-гендерную систему координат. Здесь самым очевидным образом общие трудности индивидуальной истории осложняются гендерной спецификой. И, быть может, именно поэтому наибольшие ожидания от гендерной истории в области методологии связаны с поисками решения ключевых проблем взаимодействия индивидуального, группового, социального и универсального в историческом процессе. Несмотря на наличие серьезных эпистемологических трудностей, обновленный и обогащенный принципами микроистории биографический метод позволил исследователям основательно разработать многие проблемы гендерной дифференциации, включая роль матримониального статуса и психологические особенности различных стадий жизненного цикла, ролевые предписания и ограничения, реакции общества на девиантное поведение.

В то время как семейный статус определял каждую фазу женского жизненного цикла, отношение к женской сексуальности в широком смысле слова детерминировало поведенческий стереотип, предписываемый обществом всем женщинам независимо от их возраста, семейного или социального положения. Этот нормативный код, выражавшийся, в частности, в понятиях «чести» и «позора», идеале женской скромности как внешнего выражения целомудрия, был призван контролировать не только сексуальное поведение женщин, но практически все стороны их бытия: он задавал строгости воспитания и скудость образования, стиль одежды и манеру говорить, ограничения в выборе партнера, рамки приемлемой деятельности и многое другое. Конечно, не все женщины следовали модели поведения, предписываемой им традиционным обществом, но обнаружившееся в целом ряде исследований разнообразие возможностей в целом очерчивает их пределы, выход за которые был трагическим уделом единиц. В связи с этим в биографических исследованиях в рамках гендерной истории наиболее активно разрабатывается проблема женского девиантного поведения, отличающегося повышенным жизненным драматизмом и остротой общественных реакций.

Как показали в своих замечательных историко-биографических исследованиях Сара Мендельсон и Натали Дэвис, даже редкие женщины XVII в., искавшие более широкое поле приложения своих сил, не оспаривали всего комплекса «гендерной асимметрии», вовсе не претендовали на привилегии мужчин в политике, праве, образовании, сексуальных отношениях, а своему проникновению в «заповедные» сферы деятельности тщательно искали оправдания. Но хотя никто из них не ставил открыто под сомнение гендерную полярность, как она понималась современниками, реализация такими женщинами своих властных амбиций, социальных притязаний и интеллектуальных потенций и творческой энергии в скрытом виде (посредством обычных инструментов неформального женского влияния) была явлением достаточно распространенным. Из представленных исследовательницами «тройных портретов» ярко выступают спектр и пределы возможностей, которыми располагает индивид в рамках данного исторического контекста с характерной комбинацией социальной и гендерной иерархий.

Н. Дэвис исключительно четко формулирует свою исследовательскую программу в Прологе, построенном в виде воображаемого обмена мнений автора с героинями написанной ею книги: «Я собрала вас вместе для того, чтобы больше узнать о ваших сходствах и различиях. В наши дни иногда говорят, что женщины прошлого похожи друг на друга... Я хотела показать, в чем вы были близки друг другу, а в чем нет, в чем вы отличались от мужчин своего мира и в чем были такими же.. как разные религии влияли на женские судьбы, какие двери они перед вами открывали, а какие закрывали, какие слова и дела они позволяли вам выбирать... Я хотела узнать, как вы трое боролись с гендерным неравенством... Но я не изобразила вас просто многострадальными. Я также показала, как женщины в вашем положении извлекали из него максимум возможного. Я интересовалась тем, какие преимущества давала вам маргинальность...».

В гендерных исследованиях подобного рода привлекает исключительно взвешенное сочетание двух познавательных стратегий: с одной стороны, пристального внимания к «принуждению культурой» и к «сложному способу конструирования смыслов и организации культурных практик», к риторическим лингвистическим средствам, с помощью которых «люди представляют и постигают свой мир», а с другой — выявления ак-

33

тивной роли действующилиц истории, наделенных, согласно удачной формуле Габриэль Спигел, «исторически обусловленным авторским сознанием», и способа, которым исторический индивид — в заданных и нп полностью контролируемых им обстоятельствах — мобилизует и целенаправленно использует наличествующие инструмены культуры, «творя историю», даже если результаты этой деятельности не всегда и не во всем соответствуют его намерениям. Это творчество объективно предполагает ситуацию, в котрой индивидуализированный жизненный опыт получает приоритет — пусть быстро преходящий — над стереотипами коллективной ментальности.

Одной из центральных адач «персональной истории» бесспорно является раскрытиконкретного содержания процесса индивидуализации сознания и поведения человека, выражающегося в усилении личностных ориентаций за счет ослабления групповых. Это предполагает проработку имеющихся текстов самого разного свойства с точки зрения содержания и характера запечатленных в них комплексов межличностных отношений, индивидуальных и личностей, стратегий поведения.

Поскольку возможности изучения проблемы персонализации индивида — как она проявляется в отдельных судьбах рядовых людей отдаленных эпох — весьма невелики, возникает необходимость компенсировать это объективное ограничение исследовательских возможностей максимально интенсивным и эффективным анализом более доступного для полноценной реконструкции (и для последующего сопоставления) индивидуального сознания и поведения отдельных представителей элитных групп, которые имели гораздо больше шансов «высказаться» в источниках. В них индивид выступает и как субъект деятельности, и как объект контроля со стороны семейно-родственной группы, круга близких, формальных и неформальных сообществ, социальных институтов и властных структур разного уровня. Вполне понятно, что в фокусе биографического исследования оказывается прежде всего внутренний мир человека, его эмоционально-духовная жизнь, отношения с родными и близкими в семье и вне ее. Особое внимание, как правило, привлекает нестандартное, отклоняющееся поведение, выходящее за пределы освященных традицией норм и социально признанных альтернативных моделей, действия, предполагающие волевое усилие субъекта в ситуации осознанного выбора.

Итак, в своих конкретно-исторических наблюдениях продуктивность новой биографической истории не вызывает сом-

ней. Но на уровне обобщения методологические проблемы периода между полюсами индивидуальности и коллективностистаются актуальными. Социологами предлагаются различные типологии социальных опосредований — микрогрупп и сностей прямого контакта, в практической жизнедеятельной которых осуществляется стыковка психологического измерения конституирующих и членов и структурного измерения общественной системы. Тервичные группы, выступающие основными посредниками между социальным и индивидуальным, определяются как пространство «обоюдной артикуляции и взаимопоглощения публичного и частного». При этом подразумевается, что смещение биографии индивида биографией первичной группы и использование интерпретативной модели позволят избежать опасностей как психологического, так и реляционного редукционизма. Однако к таким рекомендациям, похоже, больше прислушиваются историки фольклорных общностей.

34

35

действительно, эти указания имеют свои ограничители и не позволяют исследователю прийти до конца весь путь «восходя к индивиду», оставляя непроторенным его важный отрезок связанный с интериоризацией непосредственного жизненного опыта и формированием психологических установок, готовности и склонности воспринимать, реагировать, думать, оценивать, действовать определенным образом. Известный британский историк Теодор Зельдин так описал перипетии своего исследовательского поиска: «Чтобы избавиться от априорных представлений о том, как именно следует в процессе изучения группировать людей и события, я постарался разбить свой материал на мельчайшие элементы. Я использовал своего рода пуантилизм, который сводит сложные явления к самым элементарным формам. Я разбил классы на группы, группы на меньшие группы, а затем показал, какое разнообразие характеризует даже мельчайшие группы. Когда доходишь до индивида, то убеждаешься, что он очень сложен, что в зависимости от обстоятельств он по-разному реагирует на всякое воздействие причем так, что это выглядит противоречивым и практически непредсказуемым. Поэтому я не стремился найти единый ключ к объяснению человека. Вместо этого я перешел от пуантилизма к изучению индивида одновременно с разных сторон, как будто рисовал не только видимую часть лица, но и затылок, располагая их так, чтобы видеть все сразу. Я старался представить жизнь во всем ее богатстве и противоречиво-

36

сти... Для себя я решил эту проблему, поставив индивида в центр своей книги. Я посмотрел на мир его глазами, вместо того чтобы смотреть в обратном направлении и изучать множество не связанных между собой факторов. Я старался больше, чем это обычно делают историки, использовать психологию, но не как разъясняющую теорию, а как доступ к потаенным сторонам человеческой личности». Впрочем, даже умелое использование «психологического микроскопа» не снимает всех преград на пути к изучению исторического индивида. Это в не меньшей, а может быть и в большей, степени касается «персональной истории».

Репертуар методологических проблем, волнующих тех историков, которые хотят видеть в индивидуальной биографии эффективное средство исторического познания, распадается на два сложных узла. В одном из них сплетаются те, что касаются процедуры генерализации. Прежде всего, не сходит с повестки дня сакраментальный вопрос: правомерно ли вообще наблюдения, сделанные на конкретном материале отдельных судеб (хотя бы и в значительном числе щедрых на подробности казусов), экстраполировать в область коллективного опыта (и, тем более, дальше — в общую характеристику социально-исторического контекста)? Разумеется, последний фиксирует в ментальных и поведенческих стереотипах лишь ту часть реализованного жизненного опыта индивидов, которая получила общественную санкцию. Нельзя, однако, не отметить, что «отвергнутые» модели поведения продолжают так или иначе жить в коллективной памяти, пусть в форме «негативных образцов», а некоторые решения — и как запасные варианты.

Второй узел проблем касается ситуации и самого механизма принятия решений индивидом. Механизм принятия индивидуальных решений, несомненно, является ключевым в изучении деятельности индивидов и их частной жизни. Чем обуславливался, ограничивался, направлялся выбор решений, каковы были его внутренние мотивы и обоснования, как соотносились массовые стереотипы и реальные действия индивида, как воспринималось расхождение между ними, насколько сильны и устойчивы были внешние факторы и внутренние импульсы? При сопоставлении конкретных случаев осознанного выбора надо исходить из того, имеем ли мы дело с различным поведением в сходных ситуациях или с различным поведением в существенно различающихся или даже противоположных ситуациях. Важно также знать, наличествовала ли в данном

обществе/общности одна поведенческая традиция, предполагающая автоматическое ей следование, или две-три равным (или неравным, но сравнимым) образом возможные и так или иначе принятые массовым сознанием модели, и, соответственно, реализация одной из них, т. е. принятие индивидом того или иного решения, определялась такой совокупностью внешних условий, которая позволяла выбрать соответствующую его интенциям и учитывающую обстоятельства стратегию действий. В последнем случае можно говорить о конкурентных ситуационных поведенческих моделях, относительной свободе выбора.

К сожалению, все еще недостаточно проявленным остается весьма актуальное на современном этапе развития исторической науки движение к восстановлению в правах личности как творческого момента истории. В тех жизненных ситуациях, когда действующий субъект, за неимением образца, вынужден самостоятельно находить решение и определять способ действия, реализуется его творческое начало, социальная эффективность которого зависит от наличия конкретных условий, благоприятных для последующего «удержания» индивидуальных новаторских решений в коллективном опыте, т. е. для их освоения и присвоения социумом. Именно в результате этого сложного и противоречивого процесса исторический индивид «своей общественной практикой – и независимо от степени осознания им этого факта – формирует эпоху, сеет семена неизбежных перемен, проявляет свою субъективность по отношению к ней».

Как все же инкорпорировать избирательную и инновационную индивидуальную деятельность в анализ коллективных действий, исторических событий и макропроцессов? В этом и состоит критическая проблема синтеза микроисторических и макроисторических исследований, которая не может быть решена простым сложением эпизодов и судеб.

Длительный процесс изменения традиции непременно содержит и такой этап, на котором некогда нестандартный выбор (каждая модель в начале своего становления нестандартна) в результате сознательного подражания или автоматического закрепления при частом повторении «удачного» решения (сходная «нестандартная» реакция в сходной «нестандартной» ситуации) становится основой для конкурентного поведенческого стереотипа, а затем, возможно, и для новой традиции, пройдя, таким образом, весь путь от уникального к особенно-

му и, наконец, к общеприятному. Этот процесс идет в противодействующем «гравитационном поле» существующих норм и традиций, а его динамическими моментами являются возрастающая частота повторения измененной констелляции обстоятельств и многократно подтвержденная коллективным опытом адекватность «нестандартных» индивидуальных решений.

В подавляющем своем большинстве источники, которыми располагают историки отделенных эпох, ничего не говорят о том, каким именно образом принималось то или иное решение, они сообщают лишь конечный результат предпринятых на его основе действий. Подобные невосполнимые лакуны побуждают историков к упрощенным объяснениям, и тем более настоятельна потребность получить некие образцы этой сложной многоходовой операции в насыщенных такой информацией дневниках, письмах, воспоминаниях представителей высших слоев общества, которые сохраняли до определенного времени монополию на запечатленную в самом источнике актуальную ситуацию выбора и ее переживание самим субъектом. Многосторонний ситуационный анализ позволяет реконструировать индивидуальное событие в его целостности (включая механизм принятия решения), т. е. раскрыть конкретную совокупность условий, мотивов, действий, переживаний, восприятий и реакций, а также последствий человеческих поступков. Установление же всех вариантов практических решений, оказавшихся возможными в данном социальном контексте, в перспективе может позволить перейти от индивидуального опыта к коллективному и к характеристике самого социума, хотя этого и недостаточно для понимания механизмов его внутреннего развития и трансформации.

Очевидно, что для этого потребуется новая интегральная парадигма исторического анализа. Попробуем представить себе такую модель, которая была бы способна учесть, наряду с материальными и духовными условиями жизнедеятельности, творческую роль личности и механизмы личного выбора, и процесс трансформации деятельности индивидов, включенных в социум и испытывающих его принуждения, в социальное действие коллективных субъектов истории. Взаимодействие индивида с социумом, его функционирование в общественном контексте может быть раскрыто только посредством сложной и многоступенчатой иерархии исследовательских процедур, необходимыми моментами которой являются следующие: 1) анализ ординарной или неординарной ситуации, за-

дающей условия и ограничивающей возможные направления деятельности (в том числе сам набор альтернативных моделей поведения и их относительную общественную ценность); 2) реконструкция истории самого индивида – его предшествовавшего жизненного опыта, который и определяет индивидуальное восприятие социокультурной традиции, сложившейся на основе унаследованного исторического опыта и доминирующей в общественном сознании; 3) выяснение его психологической предрасположенности к тому или иному образу действий, степени здравомыслия и практической интуиции, эмоционального настроения (т. е. всего того, чем обуславливался личный выбор в соответствии или в отличие от доминирующей коллективной модели или от нормы); 4) описание его индивидуальной деятельности, включая ее мотивацию, конкретный процесс принятия решения и реализацию последнего, а также 5) позитивные или негативные последствия реализованного решения; 6) переход от единичного к массовому с демонстрацией наличия совокупности аналогичных или альтернативных нестандартных индивидуальных решений, прошедших проверку жизненной практикой, закрепленных в новом поведенческом стереотипе и инкорпорированных таким образом в групповую и массовую деятельность; 7) анализ произведенных ею структурных социальных изменений.

Итак, подойдя к новой ситуации и мысленно вернувшись назад, к началу процесса, мы обнаруживаем, что подлинный творческий заряд, ставший в конечном счете (в результате преднамеренных или непреднамеренных действий, обусловленных предшествовавшими событиями, культурно-историческими традициями, системно-структурными отношениями и целевыми установками) причиной последовавших структурных сдвигов и смены исторических ситуаций, был запущен благодаря случайному стечению обстоятельств самого разного рода, которое дало и импульс, и почву для выбора нестандартного решения, альтернативной поведенческой модели.

В одной из своих работ П. Бурдье подчеркивает, что «структурные эффекты, воссоздаваемые аналитиком с помощью операций, аналогичных переходу от почти бесконечного числа тропинок к карте как модели всех дорог, охватываемой одним взглядом, осуществляются на практике только через контингентные на вид события, единичные по виду действия, тысячи бесконечно малых происшествий, интеграция которых порождает “объективное” чувство, воспринимаемое объективным

аналитиком. Если невозможно, чтобы аналитик реконструировал и восстановил бесчисленные действия и взаимодействия, в которые бесчисленные агенты инвестировали свои специфические интересы, не имеющие по замыслу ничего общего с результатом, которому они все же способствовали... то он [аналитик] должен по крайней мере знать и помнить, что самые глобальные тенденции, наиболее общие жесткие правила выполняются лишь с помощью наиболее специфического и наиболее случайного, в связи с приключениями, встречами, связями и отношениями, казалось бы, неожиданными, которые очерчивают особенности биографий».

38 Каждое крупное историческое событие — это тысячи и тысячи крупных, мелких и совсем, на первый взгляд, незначительных, элементарных событий, происходивших на самых разных уровнях: в жизни индивидов, общностей или в рамках государственных институтов. Именно из-за их разномасштабности далеко не все эти события, называемые историческими фактами, могут быть выстроены в последовательную цепь, но все они могут быть представлены в более сложной и разветвленной цепи исторических ситуаций, в каждой из которых всегда присутствуют и действуют люди «со своим пережитым опытом, верованиями и сердечной раной, нанесенной им эфемерностью бытия, ибо ничто окончательно не заживает, не превращается в надолго затвердевшую субстанцию». Умозаключения историков обычно идут от результата события, от следствия к причинам, а не наоборот, что создает впечатление неизбежности, жесткой детерминированности, запрограммированности этого результата. Но можно мысленно двигаться сквозь череду исторических ситуаций вперед, от той «случайной причины», которая кроется в потенциальной изменчивости (вариативности) индивидуального поведения.

39 В индивидуальном и общественном сознании на каждом данном временном отрезке обнаруживается обширный субстрат идей, этических ценностей и основанных на них поведенческих моделей, унаследованных от прошлых поколений и/или зафиксированных личным опытом. Встает вопрос, как можно перейти из сферы представлений, коллективного сознания и даже подсознания к анализу исторических событий, который исследует саму деятельность, а не то, что уже стало ее результатом?

Приспособление к новым условиям всегда начинается с изменения поведения, которым апробируются другие модели,

личные от доминирующей, затем происходят функциональные изменения, связанные с перестройкой отношений между индивидами, и, наконец, процесс завершается морфологической перестройкой с изменениями в ментальной структуре самого субъекта и в общественной системе. Социальные структуры (материальные и духовные), сложившиеся в результате предшествовавшей деятельности, выступают в каждой новой ситуации как условия, в которых и разворачиваются события — осознанные или неосознанные, преднамеренные или непреднамеренные, скоординированные, нескоординированные или противоположным образом направленные действия людей. Последние могут выступать и как личности, и как социальные субъекты, и как корпорации, и как толпа. Что касается политических событий национального масштаба, то они разворачиваются на авансцене истории, представляя собой лишь верхушку этого айсберга человеческих мотивов, интенций, легких и трудных решений, волевых усилий, свершившихся надежд и обманутых ожиданий. Национальная историческая драма вовлекает в свою орбиту сотни имеющих собственные сюжеты провинциальных и локальных драм, трансформируя идущее от них напряжение в своей кульминации.

В каждой исторической ситуации имеется некоторый спектр возможных вариантов поведения, актуализирующихся в зависимости от многочисленных и разнообразных условий и факторов, которые выступают на поверхности событий как случайности. И целенаправленные действия человека в ситуации свободного выбора определяются не столько мерой его познания социальной реальности прошлого и настоящего (осознания необходимости), сколько пониманием или интуитивным предчувствованием возможных случайностей и стремлением исключить нежелательные вмешательства. Из ряда возможных альтернативных линий человек должен сделать выбор — действие же (или бездействие — пассивное действие) превращает потенциальное множество в реальное единство.

В традиционной политической истории вся цепь событий вполне удовлетворительно объяснялась указанием на интенции действующих лиц и на события, непосредственно предшествовавшие тем, которые подлежат объяснению. В последовательном анализе исторических ситуаций был бы уместен многовариантный ретропрогноз с различными сценариями развития событий, рассчитанными на тот случай, если бы в задан-

ных условиях действующими лицами исторической драмы были приняты и реализованы возможные альтернативные решения. Именно из биографий ее персонажей, из их индивидуальных жизненных историй соткано это драматургическое полотно, в контексте которого они, в свою очередь, обретают собственно исторический смысл.

Иными словами, речь идет об исследовательской установке на изучение индивидуальной биографии (в том числе интеллектуальной) в качестве особого измерения исторического процесса, а именно его субъективно-личностного аспекта, отражающего развитие самого субъекта деятельности на основе приращения унаследованного коллективного опыта за счет индивидуальных отклонений и инноваций, что вовсе не исключает, а напротив, предполагает понимание значения системно-структурных и социокультурных исследований и комплексности всех трех перспектив в целостной картине прошлого.

Примечания

- ¹ О проблемах биографических жанров см.: Павлова Т.А. Психологическое и социальное в исторической биографии // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. М., 1995. С. 86–92.
- ² Например, в социально-конструктивистской концепции половой идентичности, выпеснувшей вместе с крайностями биодетерминизма и вполне здорового младенца индивидуальной психологии. Аргументированная критика в адрес последователей этой теории содержится в статье канадского историка Нэнси Партнер: *Partner N.F.* No sex, no gender // *Speculum*. 1993. Vol. 68. № 2. P. 419–443.
- ³ *Levi G.* Les usages de la biographie // *Annales E.S.C.* 1989. A. 44. № 6. P. 1325–1336.
- ⁴ В статье приводятся ссылки на ставшую хрестоматийной книгу Натали Земон Дэвис о Мартене Герпе (*Davis N.Z.* *The Return of Martin Guerre*. Harmondsworth, 1985) и работу Даниэля Роша о стекольщике Менетра (*Roche D.* *Journal de ma vie*. Jacques-Louis Menetra, *compagnon vitrier au 18e siècle*. P., 1982). Сюда же можно добавить и изданную задолго до них книгу английского историка и антрополога Алана Макфарлейна: *Macfarlane A.* *The Family Life of Ralph Josselin, a Seventeenth-Century Clergyman. An Essay in Historical Anthropology*. Cambridge, 1970.
- ⁵ Автор делает ссылку на известную работу Карло Гинцбурга о мельнике Меноккио: *Ginzburg C.* *Le fromage et le vers: l'univers d'un meunier du XVIe siècle*. P., 1988.
- ⁶ *Levi G.* Les usages de la biographie. P. 1334–1335.
- ⁷ *Davis N.Z.* Boundaries and the sense of self in sixteenth-century France // *Reconstructing Individualism: Autonomy, Individuality, and the Self in Western Thought* / Ed. Th. Heller et al. Stanford (Cal.), 1986. P. 53–63.

- Рус. пер. статьи Дж. Леви см.: Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996.
- ¹¹ «Вписывание» индивидуальной биографии в серию разнородных контекстов выступает в качестве эффективной познавательной процедуры в его книге: *Levi G. L'eredita immateriale. Carriera di un escorcista nel Piemonte del Seicento*. Torino, 1985.
- ¹⁰ Я не рассматриваю здесь распространенное в психотерапии понятие «персональная история», связанное с автобиографической памятью. Об этом см. подробнее: *Ross B.M. Remembering the Personal Past: Descriptions of Autobiographical Memory*. Oxford, 1991. Личные воспоминания в форме «персональной истории» служат исходным материалом для так называемой устной истории, активно заимствующей методы психологов.
- ¹¹ Отметим, в частности, замечательные исторические биографии, созданные К. Хиббертом: *Hibbert C. The Virgin Queen. The Personal History of Elizabeth I*. Harmondsworth, 1992; *Idem. Nelson: a Personal History*. L., 1994.
- ¹² См., например: *Aers D. The Making of Margery Kempe // Aers D. Community, Gender, and Individual Identity. English Writing 1360–1430*. L.; N.Y., 1988. P. 73–116.
- ¹³ Автобиографии как таковой мой обзор не касается, поскольку она не является результатом исследовательской процедуры, но выступает как ее объект. Что касается автобиоисториографии, о которой я уже писала в другом месте (см.: *Репина Л.П. Историк в двадцатом веке: вместо предисловия // Диалог со временем: историки в меняющемся мире*. М., 1996. С. 3–9), то этот нарождающийся жанр, вероятно, вскоре потребует отдельного специального исследования.
- ¹⁴ Леди Лилль – вторая жена Артура Плантагенета, который был незаконнорожденным сыном Эдуарда IV и придворным Генриха VII.
- ¹⁵ *Rowse A.L. Honor Grenville, Lady Lisle, and her Circle // Rowse A.L. Court and Country*. Brighton, 1987. P. 1–60.
- ¹⁶ *Hanawalt B.A. Lady Honor Lisle's Networks of Influence // Women and Power in the Middle Ages / Ed. M. Erler, M. Kowaleski*. Athens: London, 1988. P. 118–212.
- ¹⁷ *Репина Л.П. История женщин сегодня: (историографические заметки) // Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени / Под ред. Ю.Л. Бессмертного*. М., 1996. С. 35–73.
- ¹⁸ *Duby G. Dames du XIIe siècle. I. Heloise, Alienor, Iseut et quelques autres*. P., 1995. P. 9.
- ¹⁹ *Ben-Amos J.K. Adolescence and Youth in Early Modern England*. New Haven; London, 1994.
- ²⁰ *Vovelle M. De la biographie à l'étude de cas // Problèmes et méthodes de la biographie*. P., 1985; *Idem. Histoire serielle ou «case studies» // Histoire sociale, sensibilité collectives et mentalités*. P., 1985.
- ²¹ *Seaver P.S. Wallington's Word. A Puritan Artisan in Seventeenth-Century London*. Stanford (Cal.), 1985; *Phillips M. The Memoir of Marco Parenti. A Life of Medici Florence*. L., 1989 (1st publ. – Princeton, 1987).
- ²² *Seaver P.* Op. cit. P. 13.
- ²³ *Phillips M.* Op. cit. P. IX.
- ²⁴ *Le Goff J. Saint Louis*. P., 1995.
- ²⁵ *Ibid.* P. 18; см. выше перевод цитируемого «Введения» к книге Ж.Ле Гоффа.
- ²⁶ *Ibid.* P. 21–22.
- ²⁷ *Ibid.* P. 23–24.
- ²⁸ Подробно об этом см.: *Репина Л.П. История женщин сегодня...*
- ²⁹ С. Мендельсон в своей книге «Духовный мир женщин эпохи Стю-

- артов», посвященной трем замечательным женщинам XVII в., оставившим заметный след в истории английской литературы (Маргарет Кавендиш, герцогиня Ньюкаслская; Мэри Рич, графиня Уорикская; первая женщина – профессиональный драматург и поэтесса Афра Бен), ставила задачу не просто написать их индивидуальные истории жизни, но основательно разработать проблемы гендерной дифференциации, включая роль матримониального статуса и психологические особенности различных стадий жизненного цикла, ролевые предписания и ограничения, реакции общества на девичье поведение. Биографический метод позволил исследовательнице сделать выводы более общего характера: *Mendelson S. The Mental World of Stuart Women: Three Studies*. Brighton, 1987.
- ³⁰ *Davis N.Z. Women on the Margins. Three Seventeenth-Century Lives*. Cambridge (Mass.); London, 1995.
- ³¹ *Davis N.Z. Women on the Margins...* P. 2–4.
- ³² *Scott J.W. Deconstructing Equality-Versus-Difference: Or the Uses of Poststructuralist Theory of Feminism // Feminist Studies*. 1988. Vol. 14. № 1. P. 34.
- ³³ *Spiegel G.M. History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages // Speculum*. 1990. Vol. 65. № 1. P. 59–86.
- ³⁴ *Ferrarotti F. On the Autonomy of the Biographical Method // Biography and Society. The Life History Approach in the Social Sciences*. Beverly Hills, 1981. P. 19–45.
- ³⁵ См., в частности: *Phythian-Adams Ch. Re-thinking English Local History*. Leicester, 1987.
- ³⁶ *Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // THE SIS*. 1993. Т. I. Вып. 1. С. 161.
- ³⁷ *Барз М.А. Проблема человеческой субъективности в истории (методологический аспект) // История СССР*. 1989. № 3. С. 123.
- ³⁸ *Бурдые П. Начала*. М., 1994. С. 136–137.
- ³⁹ *Московичи С. Машина, творящая богов*. М., 1998. С. 362.

Л.П. Репина

*Статья подготовлена
при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 97–01–00243).*

О биографии исторического персонажа (Людовик Святой)*

Как ни странно, но занимающий центральное место в средневековой истории XIII век, который порой называли «веком Людовика Святого», куда меньше привлекал к себе взгляды историков, чем созидательный и бурлящий XII век или переходящий в глубокий кризис «осени средневековья» XIV. Затерявшись между своим дедом Филиппом Августом и внуком Филиппом Красивым, на которых историки сосредоточили свое внимание, Людовик IX оказывается, к нашему удивлению, «самым малоизвестным из великих королей средневековой Франции». В двух недавних работах — американца Уильяма Честера Джордана и француза Жана Ришара — он показан человеком, одержимым превратившейся в наваждение идеей крестового похода и отвоевания Святой Земли. Мне же Людовик Святой представляется куда более сложной личностью, его долгое правление, продолжавшееся 44 года, полным контрастов, а время, в которое он жил, более бурным, чем это позволяет предположить термин «апогей средневековья», которым оно порой характеризуется.

Впрочем, XIII век не является объектом этого исследования. Разумеется, мы будем с ним встречаться, ведь именно тогда жил Людовик, и его жизнь и действия наполнены его эпохой. Но эта книга — о человеке, и в ней говорится о его времени лишь постольку, поскольку оно позволяет понять самого человека. Цель моего исследования — не «правление Святого Людовика», не «Святой Людовик и его королевство», не «Святой Людовик и христианство» и не «Святой Людовик и его

* Данный текст — «Введение» к книге «Людовик Святой» (*Le Goff J. Saint Louis*. P.: Gallimard, 1996. 976 p. Bibliothèque des histoires). Перевод публикуется с разрешения автора и издательства.

эха», даже если я и вынужден заниматься этими сюжетами. Еи порой разговор о короле-святом приводит меня к тому, чтобы подробно и глубоко осветить какую-то широкую тему, то э потому, что он наравне с императором Фридрихом II в се- реине XIII в. был самым важным политическим деятелем на христианском Западе. Но в то время как Фридрих II, в котором седня видят одного из предшественников государственных делелей современного типа, так и остался маргиналом, находящимся вне границ средиземноморской культуры, ЛюдовикаX можно назвать с точки зрения и географии, и хронологии и идеологии поистине самой крупной для XIII в. фигурой в иустианских странах. Отсюда и идея посвятить ему биографу. Но эта идея тоже не что-то само собой разумеющееся.

* * *

огда еще 10 лет назад я решил, не спеша, начать писать исследование об этой ключевой фигуре средневекового Запада и идать ему в конечной форме жанр биографии, то представлял себе, что это нелегкое дело для историка и, учитывая мопрежний метод заниматься историей, оно несколько выбьменя из привычной колеи. Что касается первого предположния, то я был прав, а вот во втором — ошибался.

ое представление о трудности этого дела может на первый взгд показаться парадоксальным. Публикации биографий за последние годы появлялись в изобилии, так как этот жанр сейчас моде, и можно было бы думать, что в данном случае речь иде непринужденном упражнении, для которого достаточно подрать нужные документы — а это, как правило, не так уж трудно — и в определенной степени владеть пером. Однако та неулетворенность, которую вызывала во мне большая часть этинахронически «психологических» сочинений, авторы котори так легко использовали понятие «ментальность», стремясь всю обыгрывать экзотику прошлого, не утруждая себя ни стоящими объяснениями, ни критическим подходом, создав риторичные, поверхностные, часто просто состоящие из нора анекдотов писания, заставила меня задаться вопросом том, чем же является жанр исторической биографии и какои предъявляемые к нему требования. Итак, я убедился в том, го очевидно, но не может не вызывать робости у начинающго: историческая биография — один из самых сложных способов исторического исследования.

Но взамен я, полагая, что буду совершенно выбит из привычной колеи, обнаружил в ней почти все те важнейшие проблемы исторического исследования и подготовки его текста, с которыми сталкивался ранее. Конечно, я еще раз убедился в том, что биография является особым способом исторического исследования. И этот жанр требует не только обычных для исторического исследования методов: постановки проблемы, поиска и критики источников, изучения того или иного явления во временной протяженности, достаточной для выявления его эволюции, способности выразить в тексте исследования предложенное объяснение и выявить современное значение изучаемого вопроса (т. е., в первую очередь, показать то расстояние, которое отделяет нас от той эпохи и ее проблем). Жанр биографии заставляет сегодня историка столкнуться с основными, так сказать «классическими», проблемами его ремесла, лишь еще больше углубив и усложнив их. Причем порой он делает это в таком ракурсе, который оказывается для нас совершенно непривычным.

Не случайно в самой середине XX в., несмотря на несколько блестящих исключений, жанр исторической биографии исчезает, что особенно заметно на фоне новых веяний, исходящих от «Анналов». Историки почти полностью оставили этот жанр своим старым конкурентам — писателям-романистам. Марк Блок констатировал это, впрочем, без того презрения, которое принято в отношении этой «историографии», и, более того, даже с сожалением и, возможно, с чувством, что биография, как и политическая история, еще не была готова воспринять обновления подходов и методов историков. И по поводу того определения, которое дал истории Фюстель де Куланж, один из отцов новой истории в XX в.: «история — это наука о человеческих обществах», Марк Блок заметил: «Пожалуй, это все-таки чересчур умаляет роль личности в истории».

Сейчас, когда история наравне с другими общественными науками переживает период усиленного критического пересмотра того, в чем некогда были уверены все, на фоне общего кризиса западных обществ, связанного с происходящими в них переменами, мне кажется, что биография частично освободилась от тех ограничений и ложных представлений, которые сдерживали ее развитие. Этот жанр может даже стать особенно удобным для того, чтобы понаблюдать и не без пользы поразмышлять об условностях профессии историка и его целях, о границах получаемых им знаний и о необходимых ему новых определениях.

Вот почему, представляя читателю свою книгу и определяя то, что я хотел сделать, мне придется начать с того, чем сегодня *не* должна быть историческая биография. Ведь именно те способы, которые были мною отвергнуты, помогли мне шагнуть в той скользкой области, в которую я вступил, мой собственный метод изучения истории, который, возможно, здесь, при таком противопоставлении, проявится более явственно, чем где-либо еще.

* * *

Мое образование историка научило меня тому, что историк занимается «глобальной историей», а потому я был сразу же поражен стремлением биографического жанра делать из своего персонажа нечто, что мы, Пьер Тубер и я, рассматривали как некий «глобализирующий» объект, вокруг которого организуется все поле исследования. Но какой еще объект больше и лучше, чем человек, кристаллизует вокруг себя и все свое окружение, и все те темы, на которые историк разделяет область исторического знания? Людовик Святой принимает участие сразу во всех сферах жизни — и в экономической, и в социальной, и в политической, и в религиозной, и в культурной. Он действует во всех этих областях, воспринимая их по-своему, а как — это должен проанализировать и объяснить историк, даже если задача полного воспроизведения облика отдельной личности и остается утопией. Ведь для этого в еще большей степени, чем для любого другого объекта исторического исследования, следует учитывать недостаток источников и их лакуны, которые не позволяют восстановить то, что скрывается за молчанием самого Людовика или молчанием его современников, а также разрозненность и противоречия, которые разрывают кажущееся единство его жизненного пути. Но биография — это не только собрание всего, что можно и нужно знать об одном человеке.

Если отдельная личность «глобализирует» вокруг себя разные по своей природе феномены, то это не потому, что она выступает как что-то более «конкретное» по сравнению с другими объектами историка. И вполне справедливо было отвергнуто совершенно неверное противопоставление «ложной конкретности биографии» и «ложной абстрактности», к примеру, политической истории. Но попытки написания биографии все еще в большей степени, чем исторические исследования ино-

го жанра, нацелены на то, чтобы создать эффект реальности, что еще более сближает методы биографа с методами романиста. Эффект реальности не зависит только от стиля исторического сочинения. Историк должен быть в состоянии, благодаря хорошему знанию источников и соответствующему их анализу, делать явной эту «реальность». Или же, проще говоря, препарировать свои документы так, чтобы они способствовали выявлению и объяснению представлений об исторической реальности. Мы увидим, что, по удачному стечению обстоятельств, у Людовика Святого был исключительный свидетель — Жуанвиль, благодаря которому историк часто мог бы позволить говорить себе: «Ну вот, это-то и есть самый “настоящий” Людовик Святой!». Впрочем, ему следует оставаться настороже.

Историк всегда ограничен содержанием документов, которое определяет задачи и границы его исследования. В этом его отличие от романиста, даже если последний и озабочен тем, чтобы действительно выяснить, правда ли то, что он описывает. Людовика Святого (наравне с Франциском Ассизским) можно считать в XIII в. персонажем, о котором мы осведомлены лучше всего непосредственно из первых рук. Потому, что он был королем, и потому, что он был святым. История в основном рассказывала о сильных мира сего и долгое время интересовалась ими именно как личностями. И это относится в первую очередь к средним векам. Но то очевидное преимущество, которое предоставляет историку досье Людовика Святого, в значительной степени уравновешено сомнениями в достоверности самих источников. Они в большей степени, чем другие, подвергают исследователя риску если и не соврать, полагаясь на их сведения, то по меньшей мере представлять Людовика Святого выдуманным, воображаемым.

Важнейшей причиной этого было положение древних биографов Людовика и ставившиеся ими задачи: почти все они (или, во всяком случае, самые главные из них) были агиографами. И они хотели не только сделать из Людовика короля-святого. Они хотели сделать из него и короля, и святого в соответствии с идеологическими представлениями тех групп, к которым они принадлежали. Таким образом, существует и Святой Людовик новых нищенствующих орденов, доминиканцев и францисканцев, и Святой Людовик бенедиктинцев из королевского аббатства Сен-Дени: для первых он был в первую очередь нищенствующим святым, в то время как для вторых, скорее, образцовым «национальным» королем. Еще одна

возможность для всяческих манипуляций — это то, что источники, представляющие личность короля, в основном были литературными. Прежде всего это *vitae*, — жития святых, написанные на латыни. А ведь средневековая литература делилась на жанры, которые подчинялись особым правилам. И жанр агиографии, даже если учесть, что в XIII в. эволюция представлений о святости начинает предоставлять ему больше свободы, исполнен стереотипов. Не может ли Людовик Святой наших источников превратиться всего лишь в некое собрание «общих мест»? Вот почему я должен был посвятить основную часть своего исследования изучению достоверности источников и рассмотреть те условия, в которых в XIII в. и в самом начале XIV в. была запечатлена память о Людовике Святом, причем не только пользуясь классическими методами критики источников, но и встав на более радикальную точку зрения: ведь это было систематическое запечатление именно «воспоминаний». Мне пришлось спросить себя: а можно ли вообще по имеющимся источникам узнать, каким Людовик Святой был «на самом деле», в реальной исторической действительности?

Особенности этих житий представляли собой одновременно и оправдание, и новую опасность для моего предприятия. Агиографический текст — это некий рассказ, даже если он построен вокруг описания проявлений достоинств и благочестия и содержит (как правило отдельно) перечисление чудес. Я мог, переходя от агиографической биографии XIII в. к исторической биографии конца XX в., еще раз убедиться в ложности противопоставления (которое недавно вновь попытались воскресить) истории «нарративной» и истории «структуралистской», названной некогда «социологической», а еще раньше «институциональной». Ведь любая история нарративна, так как уже по самому своему определению она помещает события во времени, в некоей протяженности, и значит она непосредственно связана с рассказом. Но не только поэтому. Ведь рассказ, в противоположность тому, что думают многие, даже у историков не является чем-то спонтанным. Он является результатом целого ряда интеллектуальных и научных операций, которые интересно было бы раскрыть перед читателем, а значит подтвердить их доказательствами. Рассказ содержит интерпретацию и потому представляет серьезную опасность. Жан Клод Пассерон отметил, что всякому биографическому подходу неотъемлемо присущ риск преувеличить значение единственного объяснения смысла и связи событий. Но то, что он

называет «биографической утопией», заключается не только в том, что историк рискует без всякого критического отбора предположить, что в таком биографическом рассказе нет ничего «незначашего». Еще бóльшая опасность заключается в иллюзии того, что он воссоздает реальность в ее подлинном виде. Ведь человеческая жизнь (а жизнь человека, облеченного двойной властью — и политической, и символической: и как король, и как святой, — в еще большей степени) может вызвать обманчивое представление о своей предопределенности... Не добавляем ли мы таким образом к тем образцам, которыми руководствовались агиографы, еще одного, обусловленного уже нашей исторической риторикой, который Джованни Леви определил как сочетание следующих принципов: «хронология точно предписана; характер действующего лица — цельный и стойкий; его действиям не присущи проявления слабости, а в решениях нет неуверенности»?

Я разными способами пытался избавиться от сковывающей логики этой «биографической иллюзии», против которой выступил Пьер Бурдьё. Людовик Святой не был тем невозмутимым героем, который шелк осуществлению своего предназначения короля-святого в соответствии с образцами, господствовавшими в XIII в. Он строил свою судьбу сам и сам создавал свою эпоху лишь постольку, поскольку эта эпоха создавала его самого. И эта судьба соткана из случайностей, сомнений, выбора. Было бы бессмысленно представлять биографию (как, впрочем, и любой исторический феномен) иной, чем она воплотилась. Историю не плшут, начиная все время со слов «вот, если бы...». Но мы должны заметить, что во многих ситуациях Людовик Святой мог бы действовать иначе, чем он действовал, даже если сам он считал, что историю творит Провидение. Ведь для христианина всегда может существовать несколько способов отреагировать на возможности, предоставляемые Провидением, не выходя при этом из послушания ему. Я попытался показать, что Людовик становился той личностью, которой он был, постепенно, делая один выбор за другим из предоставлявшихся ему возможностей, но этот выбор не был предопределенным. И я постоянно прерывал нить биографического рассказа, стараясь обозначить проблемы, с которыми он сталкивался на разных этапах своей жизни. Я также попробовал выявить те сложности, которые ставит перед историком определение этих поворотных моментов. Уникальная во французской истории чета правителей, состоявшая из самого Лю-

довика и его матери, Бланки Кастильской, не позволяет историку датировать «приход к власти Людовика IX», как это делают для Людовика XIV. И тогда, когда он узнало нашествии монголов на Центральную Европу, и когда из-за болезни стоял на пороге смерти, и когда был освобожден из мусульманского плена в Египте, и когда возвращался из Святой Земли в свое королевство после шестилетнего отсутствия, Людовик должен был делать выбор. Он должен был все время принимать те решения, которые сами, невольно, сделают из него того, кто в конечном счете станет Людовиком Святым. И я здесь указываю лишь несколько важнейших событий, которые потребовали от него решений, имевших необратимые последствия. Но именно в повседневном бытии, когда он осуществлял свои функции короля и когда подспудно, неосознанно и неявно шло его превращение в святого, жизнь Людовика IX стала тем, что и должен попытаться описать биограф.

Джованни Леви справедливо утверждает, что «биография представляет собой... идеальный жанр как для того, чтобы наглядно убедиться в том, что свобода, которой пользуются субъекты истории, имеет хотя и условное, но все же важное значение, так и для того, чтобы увидеть, каким образом в конкретной обстановке действуют нормативные системы, которые никогда не бывают лишены внутренних противоречий». Я по мере своих сил старался определить «поле» власти, обеспеченное Людовику Святому природой еще не окончательно сложившихся монархических институтов середины XIII в. и растущим престижем священной королевской власти, которой было далеко до того, чтобы стать абсолютной, ведь даже ее «пособность чудотворения строго ограничивалась. Я попытался указать его борьбу со временем и пространством, с «экономическими проблемами», которые он, впрочем, даже еще не умеет так называть. И я не пытался скрыть те противоречия, которыми полна и сама личность Людовика и его жизнь. В нем боролись склонности к плотским радостям и хорошей еде с идеалами победы над плотью и привычками гурмана; уживались радостное благочестие нищенствующих монахов и приверженность к строгой аскетической практике монастырской традиции; существовали представления о пышности королевских обрядов и смирении суверена, который желал вести себя если и никак самый скромный из мирян, то, по крайней мере, как христианин, который должен проявлять смирение; в нем жило противоречие между тем королем, который воскликнул: «Никто никогда не

любил жизнь так, как я», и тем, кто часто рисковал жизнью и постоянно думал о смерти и мертвых; между королем, который все больше и больше становился королем Франции, но хотел быть королем всего христианского мира.

Эта проблема переменчивости и противоречивости человеческой жизни, с которой сталкивается любая попытка создания исторической биографии, по правде говоря, усугубилась особыми свойствами самого Людовика Святого. Почти все его древние биографы утверждают, что в его жизни во время крестового похода произошел поворот, даже перелом. До 1254 г. мы имеем дело с королем, который, с точки зрения христианского благочестия, был вполне «нормален» — как и всякий обычный король-христианин. После же этой даты мы встречаемся с королем, несущим покаяние и верящим в свое эсхатологическое предназначение, который готовится и хочет подготовить своих подданных к вечному спасению, установив в своем королевстве новый образ жизни, основой которого должны были быть религия и нравственность, а сам собирается стать воплощением Христа. Такое представление о жизни и о правлении Людовика IX отвечает, с одной стороны, агиографической модели, в соответствии с которой в жизни святых должен быть момент «обращения», а с другой стороны — библейской модели, и в соответствии с ней Людовик Святой является новым Иосией, царствование которого Ветхий Завет представляет разделенным на две части — до и после обретения им Пятикнижия Моисеева.

Я и сам привожу аргументы в пользу тезиса о переломе, произошедшем в 1254 г.: по моему мнению, чрезвычайно важное значение тогда имела встреча Людовика, высадившегося в Провансе на пути из Святой Земли, с францисканцем Гуго де Динь, который проповедовал миллениаристские идеи и провозглашал установление уже на этом свете долголетнего правления справедливости и мира, предшествующего раю. Но столь ли велика пропасть между королем, поклонявшимся реликвиям Страстей Христовых, обретенным в 1239 г., а в 1247 г. создавшим институт судебных следователей, которые должны были стать истинными поборниками справедливости, и тем законодателем, из рук которого вышел «великий ордонанс» конца 1254 г., учредивший в его королевстве новый моральный порядок? Впрочем, кое-что все же позволяет историку хоть в какой-то степени избежать чрезмерной односторонности при описании жизненного пути Людовика Святого. Его биографы, в со-

ответствии с обыкновением ученых и интеллектуалов XIII в., прибегали в своих рассказах к доводам трех типов, и их взаимоналожение дает возможность избежать такой однонаправленности. Важнейшим источником для ряда биографов Людовика послужили Святое Писание и Святое Предание: ведь жизнеописание составлялось на основе библейских моделей. Далее, сами эти доводы строилось в соответствии с методами новой схоластики. Третий же элемент — *exempla* — то есть, собственно, сама живая ткань рассказа, состоящая из примеров и анекдотов, — хотя и несет в себе огромное количество общих мест, но в то же время дает автору возможность проявить свою фантазию рассказчика, которая нарушает жесткие рамки, обусловленные первыми двумя типами подачи материала.

И здесь перед нами встает вот еще какой важный вопрос: хотя в источниках ничего об этом и не говорится открыто, однако складывается впечатление, что уже очень рано, еще в юности, Людовик IX, даже не будучи настолько горд, чтобы мечтать о славе святого, был в каком-то смысле «запрограммирован» своей матерью и советниками быть воплощением идеального христианского государя, да и сам довольно рано начал к этому стремиться. Так что его жизнь была не чем иным, как целенаправленным и страстным исполнением этого плана. И я не согласен с Уильямом К. Джорданом, который при всем своем таланте и тонкости видит в Людовике Святом короля, разрывавшегося между своим долгом правителя и благочестием нищенствующего монаха. Я думаю, что этот король, причем с необыкновенным совершенством, действуя безотчетно, без каких-либо внутренних мучений, примирил и в своей душе, и на практике политику с религией и реализм с моралью. Книга даст возможность многократно убедиться в этом.

Но эта устремленность Людовика к цели вовсе не избавляет его жизнь от сомнений, столкновений, сожалений и противоречий, не делает его жизненный путь по-королевски «правильным» (по определению, данному некогда Исидором Севильским, само слово «правитель» происходит от «правое правление» — *rex a recte regendo*). Ведь если Людовику и удалось избежать внутренней драмы, его постоянное стремление воплотить собою идеального короля придает его жизни ту неожиданность, которая делает ее захватывающей от начала до конца. А разве в зеркале некоторых свидетельств образ святого короля не предстает искаженным, причем самым причудливым образом?

И вот еще что помогло мне не лишиться твердой почвы под ногами при написании биографии Людовика Святого. Я смог легко обойти мнимое препятствие: надуманное противопоставление индивида обществу, ошибочность которого показал Пьер Бурдьё. Индивид не может существовать иначе, как в переплетении разнообразных социальных связей, и как раз это разнообразие позволяет ему сыграть свою партию в общей игре. Знание общества необходимо для понимания того, какое место в нем занимал и как жил каждый его член. В предшествующих работах мне приходилось исследовать возникновение в XIII в. двух новых социальных групп: во-первых, купечества — и это позволило мне заняться выявлением связи между экономикой и моралью (с этой проблемой столкнулся и Людовик Святой); и во-вторых — университетских кругов, которые я некогда назвал «интеллектуалами». Они поставляли кадры для высших церковных институтов и (хотя и в меньшей степени) для светских правительств, а кроме того, являли собой некую третью силу — силу научного знания (*studium*), которая стала сосуществовать с властью церковной (*sacredotium*) и королевской (*regnum*). С этими интеллектуалами и этой новой силой Людовик имел довольно ограниченные контакты. Наконец, я изучал представления о тех, которые находились за пределами земной жизни, в Чистилище, представления о котором появились как раз в XIII в., и их связях с живыми. Ведь и Людовик Святой постоянно сталкивался со смертью, с мертвыми, с потусторонним миром. Так что социальный пейзаж, в котором жил король-святой, был мне в значительной степени знаком, и я мог сразу же определить, что в его жизни было обычным, а что — исключительным. Ведь с ним я восходил и на самый верх политической власти, и в рай.

Я восходил к пониманию личности, а точнее, я должен был сам себя спрашивать, могу ли я приблизиться к ее пониманию. Ведь проблема понимания личности усложнялась необходимостью разобраться в общих вопросах. Людовик Святой жил в то время, когда, как полагают некоторые историки, происходит внезапное рождение индивида. Я веду об этом спор на всем протяжении книги. Но чрезвычайно важно напомнить уже сейчас, что Людовик жил в тот век, который начался с появления ежегодного обязательного очищения совести путем исповеди вслух для всех христиан, введенной канонам IV Латеранского собора в 1215 г., а закончился рождением в искусстве индивидуального портрета. Был ли Людовик личностью?

Если да, то в каком смысле этого слова? Если основываться на справедливом разделении, проведенном Марселем Моссом, между самосознанием и понятием личности, то, думаю, Людовик Святой обладал первым, но не имел никакого представления о втором. Во всяком случае он, безусловно, был первым королем Франции, который сделал из своего сознания и своей личной позиции королевскую добродетель.

Наконец, в своих биографических разысканиях я снова нашел то самое «время», понимание которого всегда является одной из основных забот историка. Вначале это была множественность «времен» — временное разнообразие: оно было на какой-то период преодолено, когда на Западе, благодаря башенным и наручным часам, стало господствовать унифицированное время; оно вновь возникло в наши дни, когда в условиях кризиса нашего общества и социальных наук время как бы раздробилось. Ну а Людовик Святой жил в эпоху, предшествовавшую всему этому, когда эта унификация еще только предстояла и когда правитель должен был попытаться подчинить время своей власти. В XIII в. не было «времени» вообще, а было «время короля». По сравнению с другими людьми суверен находится со временем в особых отношениях, и отношение его ко времени, хотя в чем-то и подчиняется общим условиям эпохи, порой выступает за рамки общепринятого: власть обладает собственными временными ритмами, которым подчиняются и его путешествия, и методы правления. Он мог, до какой-то степени, зависеть от времени (ведь и король измерял время числом сожженных свечей, солнечными часами, звоном колоколов и кругом церковных праздников). Но работа по написанию биографии позволила мне особенно ясно понять то, к чему я еще не привык: время жизни, и для короля, и для его биографа, не совпадает с годами его правления. Возвращение индивида, а именно короля, в это измерение биологического времени открывает совершенно новые перспективы для хронологии и периодизации, несмотря на то что для Людовика IX, казалось бы, это было и не так важно, поскольку он стал королем уже в 12 лет и почти всю свою жизнь — как говорят этнологи, «от колыбели до могилы», — провел на троне. Ведь здесь имеется в виду особая единица измерения времени — политического времени — горячего времечка, если речь шла о династических интересах, как это было в случае с Людовиком; времени, непредсказуемого ни в начале, ни в конце, которое только сам король несет в себе всегда и всюду, поскольку яв-

яется личностью, индивидуальностью. Социолог Жан Клод Шамборедон убедительно говорил о необходимости разделения «времени жизни»—биографии—и «исторического времени». Я старался со вниманием относиться к тому, как отдельные периоды жизни Людовика Святого и его жизненный путь в целом накладывались на различные события исторической действительности XIII в., на ситуацию, сложившуюся в экономике, социальной сфере, политике, культуре, религии. Людовик Святой был современником завершения фазы длительного экономического подъема, исчезновения крестьянского серважа и утверждения городского бюргерства, создания нового феодального государства, триумфа схоластики и становления нищенствующего благочестия. Ритм этих великих событий по-разному сказывался на юности, зрелости и старости короля, на его поведении до и после болезни 1244 г., до и после возвращения из крестового похода в 1254 г., иногда заставляя его быть на переднем крае перемен, часто в гармонии с ними, а порой задерживая их ход. Подчас кажется, что он то подгоняет историю, то становится ее тормозом.

* * *

В качестве заключения я сделаю три замечания. Прежде всего не следует забывать, что люди — и каждый индивид, и каждая группа — в значительной мере формировались тогда теми знаниями и привычками, которые они приобретали в детстве и в юности, т. е. тогда, когда на них оказывали влияние люди старшего возраста, родители, учителя, старики. Ведь мы говорим о мире, где старшее поколение обладало огромным престижем, где память о прошлом была куда важнее, чем в обществах, в которых царит письменная культура. Иными словами, хронометр, задававший ритм жизни людям того времени, начинал действовать еще задолго до их рождения. И потому, хотя Марк Блок и имел основания говорить, что «люди в большей степени являются детьми своего времени, чем детьми своих отцов», его формулу можно было бы уточнить, сказав: «и своего времени, и времени своих отцов». Людовик, родившийся в 1214 г., был первым французским королем, который успел застать в живых своего деда (Филиппа Августа), и он в ряде отношений был воистину человеком столько же XII, сколько XIII в.

Биография Людовика Святого преподносит и еще один сюрприз: король был канонизирован после своей смерти. Мы

еще увидим, с какими трудностями! Соппротивление привело к тому, что в течение 27 лет, прошедших после смерти Людовика в 1270 г. до момента его канонизации в 1297 г., его сторонники, верившие в святость короля, как бы не давали ему уйти из жизни и делали все, чтобы он не был забыт ни свидетелями, ни папской курией. Этот период стал своего рода дополнением к его жизни, которое надлежит принять во внимание: ведь в течение этого времени биография Людовика была существенно переработана.

Итак, мой замысел — написать «тотальную» историю — историю жизни Людовика Святого, т. е. последовательно рассказать о его жизни, следуя источникам и затрагивая основные аспекты личности короля, связанные как с ним, как таковым, так и с его временем.

Как сказал Борхес, человека нельзя считать мертвым, пока не умрет последний из тех, кто его знал; нам посчастливилось познакомиться если и не с этим последним, то во всяком случае с тем из них, кто особенно хорошо был с ним знаком, — Жуанвиллем. Жуанвилль продиктовал свои воспоминания, имеющие совершенно исключительное значение, спустя более 30 лет после смерти Людовика, сам же он умер на 47 лет позже своего царственного друга в возрасте 93 лет. Поэтому можно считать, что биография, которую я попытался написать, действительно доходит до времени окончательной смерти Людовика Святого. Но не далее. Ведь жизнь Людовика Святого после Людовика Святого, т. е. история меняющегося во времени образа короля-святого, — это особый сюжет, захватывающе интересный, но связанный с совершенно иной проблематикой.

* * *

Я задумывал эту книгу, постоянно имея в виду два предварительных вопроса, которые, впрочем, скорее — две стороны одного и того же: можно ли воспроизвести биографию Людовика Святого? Можно ли выяснить, каким он был в действительности — «существовал» ли Людовик Святой как таковой?

В первой части я представил результаты моей попытки написать его биографию. Эта часть более нарративна в собственном смысле слова, хотя и ориентирована на рассмотрение проблем, встававших на том или ином этапе жизни Людовика.

Вторая часть посвящена критическому разбору попыток современников воспроизвести то, что хранила их память о свя-

гом короле. Я старался здесь подтвердить доказательствами тот, в конечном счете, положительный ответ, который я даю на вопрос «существовал ли Людовик Святой?». В третьей (последней) части я попытался проникнуть внутрь того персонажа, каким был Людовик Святой, изучая важнейшие черты, которые создали ему в XIII в. образ идеального и совершенно особенного короля, воплощения Христа в короле, но который смог обрести лишь ореол святости, что, впрочем, само по себе уже является прекрасной наградой.

Эта структура и этот подход к биографии побуждали меня цитировать много текстов источников. Я хотел, чтобы читатель видел и слышал моего героя так же, как и я сам, ведь Людовик Святой является первым королем Франции, который «заговорил» в источниках сам, хотя, разумеется, и голосом, дошедшим до нас лишь через посредство письменного текста. При этом мне приходилось несколько раз повторять отдельные отрывки текстов и заново возвращаться к одним и тем же темам на разных этапах моего исследования, в зависимости от применяемых подходов: это позволяло глубже понять суть моего героя. Эти повторы и перекличка — составная часть того метода, которым я пользовался, чтобы приблизиться к некоему правдоподобному Людовику Святому и свести его с читателем. Надеюсь, что это его заинтересует и, следя за ходом моего исследования, он узнает нечто новое.

Примечания автора

I

Вновь вошедший недавно в моду жанр исторической биографии стал темой многочисленных коллоквиумов и статей. Для моих размышлений и для проблематики этой книги наибольшее значение имели статьи историка Джованни Леви «Использование жанра биографии» (*Levi G. Les usages de la biographie // Annales. E.S.C. 1989. P. 1325–1336*) и двух социологов: Жана Клода Шамборедона «Время биографии и время истории» и Жана Клода Пассерона «Сценарий и свод. Биографии, направления, маршруты, траектории» (*Chamboredon J.-Cl. Le temps de la biographie et les temps de l'histoire // Quotidien et histoire. Colloque*

de l'École normale supérieure. Lyon. 1982. Mai. P. 17–29; *Passeron J.-Cl. Le scénario et le corpus. Biographies, flux, itinéraires, trajectoires // Le Raisonnement sociologique. P., 1991. P. 185–206*). И, разумеется, здесь надо назвать ставшую классической статью Пьера Бурдьё «Биографическая иллюзия» (*Bourdieu P. L'illusion biographique // Actes de la recherche en sciences sociales. 62–63. 1986. Jan. P. 69–72*). См. также замечания Бернара Гене во введении к работе: *Guenée B. Introduction // Entre l'Église et l'État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge. P., 1987. P. 7–16*. Из других работ следует назвать: *Hg.G. Klingenstein. Biographie und Geschichtswissenschaft / Wien,*

1979; Engelberg E., Schleser H. Zu Geschichte und Theorie des historischen Biographie. Theorie verständnisbiographischer Totalität. — Darstellungstypen und Formen // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1990. Bd. 30; Problèmes et méthodes de la biographie // Actes du colloque de la Sorbonne. 1989. Mai; Sources, travaux historiques. Publications de la Sorbonne. 1985; Colloque «Biographie et cycle de vie». Marseille, 1988; Enquête. Cahiers du Cercom. 1989. Mars. № 51. Association internationale de sociologie.

II

Во время подготовки этого труда, я представил на суд читателя некоторые из занимавших меня проблем в двух статьях: *Le Goff J.* Comment écrire une biographie historique aujourd'hui? // *Le Débat.* 1989. Mars-avr. № 54. P. 48–53; *Idem.* Whys and Ways of Writing a Biography: The Case of Saint Louis // *Exemplaria.* 1989. Mars. Vol. 1/1. P. 207–225. Вопрос, на который мы пытались ответить вместе с Пьером Тубером, стоит в заголовке нашей совместной статьи: «Возможна ли тотальная история средневековья?» (*Une histoire totale du Moyen Age est-elle possible?* // *Actes du 100e congrès national des sociétés savantes* (Paris, 1975). P., 1977. P. 31–44).

III

Замечание Марка Блока о роли личности в истории (см. выше, с. 103) взято из книги «Апология

истории, или ремесло историка» (*Apologie pour l'histoire ou métier d'historien*). 1-е (посмертное) издание 1949 г., новое критическое издание выпущено Этьеном Блоком (с предисловием Ж. Ле Гоффа) в 1993 г.

IV

Выражение «препарирование» (см. выше, с. 105) (*démontage*), примененное не к отдельному герою, а к «социальной структуре», употребляет Марк Блок в одной из своих неизданных работ, которая находилась в составе архива, похищенного во время войны немцами и недавно обнаруженного в Москве. Она будет опубликована в «*Les Cahiers Marc Bloch*» Этьеном Блоком, благодаря любезности которого мне стало об этом известно.

V

Суждение Пьера Бурдые о «совершенно абсурдном с научной точки зрения противопоставлении личности обществу» (см. выше, с. 111) было высказано в работе *Fieldword in Philosophy* // *Choses dites.* P., 1987. P. 43. Марсель Мосс говорит о различии между самосознанием и понятием индивида (см. с. 112) в статье: *Mauss M.* «Une catégorie de l'esprit humain: la notion de personne, celle de «moi» // *Sociologie et anthropologie.* 8e éd. P., 1983. P. 335. Об «обществе в человеке» писал Норберт Элиас: *Elias N.* *La Société des individus.* Trad. fr. P., 1991.

Ж. Ле Гофф

Пер. с фр. П.Ш. Габдрахманова
и В.Г. Ченцовой

Перевод подготовлен
при финансовой поддержке РФНФ
(проект № 97–01–00243)

«История повседневности» в Германии после 1989 года

1

Одна из секций съезда немецких историков в Ганновере в 1992 г. обсуждала тему «Что следует за историей повседневности?». Через два года прочитанные в 1992 г. доклады были опубликованы под другим названием — «Споры о социальной истории, истории повседневности и микроистории».

2

Расхождения между названием секции в 1992 г. и названием тома, вышедшего в 1994 г., кажется, указывают на два обстоятельства. С одной стороны, в исторической науке в Германии были и есть влиятельные фигуры и группы, которые исходят из того — или, точнее, внушают то, — что с такими подходами, которые именуется *Alltagsgeschichte*, уже покончено и что они устарели. С другой стороны, есть и противоположные суждения. Не случайно в более позднем по времени названии существование «Истории повседневности» уже не ставится под сомнение.

Инициатор обсуждения на съезде в Ганновере в 1992 г. Винфрид Шульце сослался на состоявшуюся в 1984 г. в Берлине дискуссию, вызвавшую большое оживление. Уже тогда был поднят вопрос о возможностях «Истории повседневности» и ее пределах.

3

Г. Велер и В. Моммзен подчеркивали в ту пору прежде всего ограниченность ее возможностей. Упрек их состоял в том, что «История повседневности» отменяет «крупные проблемы» и самое понятие «тотальная история». Кроме того, вызывало раздражение и то, что в своем интересе к опыту людей «История повседневности» требует максимального приближения исследования к рассказу действующих лиц истории о самих себе, к их самоистолкованию. Не вело ли это к тем методам, которые практиковались в прошлом и которые в конечном счете

надеялись преодолеть? Толкование и понимание в истории рассматривались критиками «Истории повседневности» как антитеза аналитическому подходу. Лишь всестороннее рассмотрение процессов и структур, действующих и существующих за спиной человека, могло якобы помочь раскрыть историческую динамику. К тому же немногочисленные единичные случаи и единичные примеры не могли, по мнению критиков, быть «репрезентативными», связанными с «глобальной целостностью».

4 Сторонники «Истории повседневности» уже тогда возражали, что такие понятия, как «тотальная история», сомнительны во многих отношениях — в методологическом плане, и в свете происходящих в современном мире глобальных событий. По крайней мере, пришло время отказаться от являющейся по сути своей европоцентристской концепции истории, в основе которой лежит понятие единого цивилизационного процесса, или процесса «модернизации»

5 Конечно, съезд историков в Ганновере отделяет от дискуссии в Берлине без малого десять лет. За это время Европа неузнаваемо изменилась. В 1989-1991 гг. прошли революции в Берлине, Праге, Варшаве и Будапеште, произошли кровавые события в Бухаресте, реализовались огромные сдвиги в бывшем Советском Союзе. На старые теоретические соображения наложился отпечаток событийных изменений. Неслучайно в своем докладе в Ганновере в 1992 г. Ю. Кокка говорил, что именно 1989 г. вновь показал «четкую обусловленность, даже зависимость социальных отношений, повседневной жизни, образа жизни и культурного развития от политики в ее всеобщих взаимосвязях». Он указал на крах СССР, коммунизма, на государственное воссоединение Германии, но также на конфликты в Восточной Европе и, как он сказал, на «возрождение национализма и праворадикального насилия» в Германии. Здесь проявляются «политические процессы, влияние которых в настоящее время весьма ощутимо, а именно в форме вызывающего опасения кризиса». Вследствие всего этого пределы возможностей «Истории повседневности» выступают теперь, по мнению Ю. Кокки, еще более ясно. «Микроисторическое малое» представляется еще менее удовлетворительным, чем раньше, ибо недооцениваются условия крупных изменений. С точки зрения повседневной жизни, полагает Ю. Кокка, кризисы в скрытой и открытой формах, как и связанные с ними структуры власти, не находят объяснения.

Остановимся на этом тексте. Ход мысли автора приводит, на мой взгляд, к неожиданному результату. Ю. Кокка ссылается

на «старые национальные идентичности и границы», перечисляет «региональные традиции и геополитические констелляции», подчеркивает «старые связи и страсти», «старые предрасудки и обиды». Без сомнения, перед внутренним взором Ю. Кокки — регион Персидского залива и тогдашняя Югославия (он называет Центральную и Восточную Европу). Разумеется, было бы необходимо отнести сюда и другие регионы, например Центральную Африку, Средний и Ближний Восток, индийский субконтинент, Мексику. Главное, однако, в другом: эти «политические» преобразования и кризисы как раз и побуждают Ю. Кокку — приверженца социальной истории — обратиться к социальным и культурным моментам, т. е. к тем самым процессам повседневного культурного самоопределения и определения. Он даже называет формы повседневной практики и опыта, в которых будет формулироваться, варьироваться, нюансироваться, отвергаться нечто вроде «идентичности».

Проект «Истории повседневности» всегда имел два плана. Он был ориентирован на цели и задачи исторической науки в той же мере, как и на критику ее традиционных концептов, теорий и методов.

Начнем с первого. Здесь подразумеваются две вещи. С одной стороны, не следует сбрасывать со счетов дилетантские фикции, те рассказы о собственной истории с их интерпретациями, а также умышленным сокрытием фактов, что имеют хождение вне рамок цеховой — профессиональной — истории. С другой стороны, к данной теме относится и проблема формулировки целей и задач истории как научной дисциплины: как возникает и изменяется спектр допустимых вопросов и перспектив? В отношении первого пункта вопрос состоит в том, чтобы понять и построить «историю снизу», в частности, проверяя «солидную историографию», но прислушиваясь и к иным голосам, повествующим о своей (или же чужой) истории. В прежней ФРГ это практиковалось, в частности, применительно к истории немецкого фашизма и национал-социализма. Биографические интервью — так называемые голоса дилетантов — существенно помогли раскрыть различные формы причастности к совершению нацистских преступлений, таких, как соучастие, соглядатайство и предоставление свободы действий нацистам, извлечение личных выгод (например, при слежке за соседями или жителями определенного квартала), дискриминация или обособление тех, кто обозначались как «евреи» или иные общественно чуждые лица и пр. В этой перспективе общественный, т. е. укоренен-

ный в повседневной практике, «базис» диктаторского режима и его ничем не ограниченной захватнической и истребительной деятельности, направленной на уничтожение людей, были показаны совершенно иначе.

- 7 Стали явными последствия и в публичной сфере — так, в 1983 г. был переименован ряд улиц. Вообще восприятие и обозначение общественных мест стало предметом споров. Некоторые из них затягивались на десять лет и более. Об этом свидетельствует, например, то обстоятельство, что лишь в 1995 г. были переименованы некоторые тюрьмы, которые до того времени, несмотря на критику со стороны общественности, продолжали носить имена фашистских военных деятелей и генералов (тюрьма в баварском Оберстдорфе, названная в честь генерала Дитля).

- 8 Кроме уже сказанного, проект «Истории повседневности» следовало рассматривать как «политический» и в другом отношении — с точки зрения его задач и целей. Нужно было внести изменения в преподавание истории как дисциплины, т. е. в порядок проведения экзаменов, учебные планы, а также издательскую политику и, не в последнюю очередь, порядок замещения должностей. Научный истеблишмент реагировал быстро — должности и средства массовой информации стали закрытыми для преподавателей направления «Alltagsgeschichte». В ответ были предприняты контрмеры — возникли «мастерские историков», появились журналы, а также отдельные публикации. Но вот в том, что касается замещения должностей, как все больше выясняется, удалось достичь лишь незначительных успехов. И именно это может привести к тому, что у проекта «Истории повседневности» действительно окажется лишь ограниченный радиус влияния.

- 9 Теперь о критике прежних концептов. В центре ее — проблема форм и способов «усвоения». Под «усвоением» здесь подразумеваются взаимоотношения между отдельными людьми и группами, а также воспринимаемые ими стимулы и принуждения, с которыми в каждом случае они имеют дело. В своей рукописи «Национальная экономика и философия» Карл Маркс настаивал на том, что «усвоение» не означает ни одностороннее «потребление», ни одно лишь «владение». Следует иметь в виду скорее «чувственное усвоение» реального человека, усвоение человеком в своих интересах результатов общественного труда.

Исходя из подобной перспективы, мы изменяем взгляд на условия действий людей в обществе. Эти действия, конечно,

не продуцируются каждым отдельным человеком или каждой группой всякий раз заново. Они выявляются и в тот же момент воспринимаются, и при этом всегда продуцируются сообща. «Усвоение», таким образом, подразумевает практику самовыявления в уже наличествующем; при этом процесс «усвоения» находится в состоянии постоянного изменения. Вырисовывающийся взгляд на действующих лиц истории более не нацелен на те мнимо автономные личности, которые рассматривались в немецком идеализме (прежде всего у Фихте) как последний оплот существования мира и истории.

Что дает этот подход? Анализ диктатур XX в., как мне кажется, показывает, насколько устарели и заслуживают критики господствующие их интерпретации. Традиционным было обращать внимание прежде всего на крупные фигуры — такие, как Гитлер и Сталин, на тех, кто переводил стрелки истории или терроризировал людей и манипулировал ими или, в сомнительных случаях, делал и то и другое одновременно.

В альтернативном варианте анализа акцентируются ментальные и политико-исторические константы: в случае с советской диктатурой — великодержавная политика царской и советской России; из ментальных установок — быть может, агрессивность вместе с послушанием у «русских» или смесь комплекса дисциплины и особого отношения к труду у «немцев». Диаметрально противоположные по целям, однако, весьма сходные в принципе, все «систематические» подходы — от теоретическо-модернизаторских до марксистских — применяют одну и ту же систему аргументации.

Однако есть и совсем другой вариант анализа. Вспомним реплики, которые подавал Грамши в своих письмах из итальянской тюрьмы, касаясь вопросов о господствующих структурах мышления и восприятия или же о значении «культуры» и которые долго оставались незамеченными. Стоило бы, конечно, вспомнить и о Вальтере Бенджамине с его резкой критикой оптимистической веры в прогресс (в частности, в его тезисах об истории). В связи с дебатами в среде английских марксистов можно упомянуть о Э. Томпсоне, Р. Вильямсе и других. Они сопоставляли деятельность (agency) и опыт (experience). Их внимание было направлено прежде всего на мятежные массы, которые, например, в английских городах XVIII в. требовали «справедливой цены на хлеб»: женщины и молодежь активно выступали здесь против существовавших отношений. Предметом изучения были также ремесленники, кустари, ра-

10

11

12

бочие мануфактур и первых фабрик, которые использовали разнообразную сектантскую практику в борьбе за свои рабочие места, против нищих и бедняков.

Эти работы были новаторскими и как пример истории «снизу», и в плане новых теоретических подходов. Они наконец-то знаменовали отход от понятий «базис» и «надстройка» или «объективный» и «субъективный» фактор. Повествование, пример которого представлен в работе Э. Томпсона, отмечено законной и имеющей далеко идущие последствия симпатией к этим новым актерам на исторической сцене. Однако для самокритичной оценки потенциала этого направления важным является следующее наблюдение: именно реконструкция форм «усвоения» (т. е. то, что исследуется в «Истории повседневно-сти») привела к выявлению и критике той самой романтизации, которая не в последнюю очередь характерна для работ Э. Томпсона. Особенно важной в этом отношении оказалась история Германии XX в.: именно здесь «массы» фабричного и сельского пролетариата проявляют себя в 1914 и 1933 гг. отнюдь не как те революционные «герои», которых рисовал себе Маркс, а позже и Томпсон.

13 Решающим представляется следующий вывод: рассмотрение истории жизни конкретных персонажей с последовательным и параллельным развертыванием способов действия и восприятия показывает, что люди не вполне одинаково движутся «по одной и той же колее». Скорее они действуют параллельно в различных плоскостях. В конкретном случае это означает, что, например, соучастие и попустительство (скажем, выпад

14 против дискриминируемых, против мнимых «чужаков» или «иудеев») могут существовать параллельно со «своеволием» и «своенравием», которое означает следование своим собственным склонностям, а не общим установкам. Это «своенравие» может также проявляться в отношениях соседства, в домашних и супружеских отношениях, при трезвом удовлетворении собственных потребностей и интересов на месте работы, например при заключении соглашений или принуждении к коллегиальности на рабочем месте. Такое, условно говоря, расчленение поведения актеров, выступающих на исторической сцене, означает отказ от восприятия личности как единой и равной самой себе. Остается, однако, вопрос: как развивать этот подход за пределами индивидуальной биографии. И в этой связи стоит остановиться на микроисторических исследованиях.

15 Впервые употребленный в итальянских исследованиях термин «микроистория» завоевывает все большую популярность.

К. Пони и К. Гинцбург развили этот подход и дали примеры микроисторических исследований. Конечно, в их исследованиях предполагалось, что, при всем разнообразии отдельных жизненных проявлений, обнаруживается влияние одной скрытой структуры, даже если большинство актеров (действующих лиц) это влияние не осознает. Гренди предложил рассматривать «исключительное нормальное» как возможный способ проникновения в преимущественно скрытую (а в массовых источниках едва заметную) структуру исторического процесса. Оправданна ли вообще эта гипотеза, и не является ли она одним из сдерживающих факторов мышления? Могут ли быть достигнуты при такой постановке вопроса «крупные результаты», «выходы на крупные проблемы»? Рассматривая такого рода вопросы, многие цитируют Клиффорда Гиртца, писавшего, что даже «незначительные факты могут говорить о крупных проблемах». При этом частенько упускают из виду употребленное Гиртцем слово «могут».

Но еще важнее другое. Ясно ли вообще, что за крупные проблемы имеются в виду? В исторической социальной науке типа той, которая существует в Билефельде, по этому вопросу нет никаких сомнений: к крупным проблемам можно отнести только такие, как возникновение современного государства, взаимоотношения между классами, формы производства. Однако чьи это проблемы? Не есть ли это вопросы тех, кто извлекает выгоду, и (процитирую Макса Хоркхеймера) тех, кто занимает в обществе «командные высоты»? Разве не существуют иные крупные проблемы, имеющие отношение к другим людям и актерам? Есть ли, например, здесь место анализу роли «насилия»? Как проявляются в этой панораме страдание и боль?

Совсем иной стороной проблемы занимается Жак Ревель. Его интересует изменение перспективы при смещении фокуса исследовательского объектива. Разрабатываемая Ревелем микроистория с ее уменьшенным фокусным расстоянием исследователяского объектива ведет, однако, к увеличению видимой историком картины. Одна или несколько личностей предстают крупным планом перед глазами наблюдателя — историка. Так, Анжелика Арру как бы нанесла на карту этапы жизненного пути одного посыльного из дома весьма состоятельного римлянина XVIII в. Мы узнаем об одном случае — примере одной жизни, одной среди трудно определимого множества. «Большая» это жизнь или «малая»?

Тем не менее не все возможно для каждого, во всяком случае не в любое время. Только ли характер власти мешал нем-

цам в ГДР еще до 1989 г. выразить свое возмущение по поводу отсутствия пиленого сахара, неспособности хозяйственной бюрократии эффективно и удовлетворительно организовать работу – не говоря уже о свободе слова и передвижения, выразить возмущение в форме ленинского лозунга «Мы больше не желаем этого!». Было ли это связано с глобальным соотношением политических сил? Было ли это проявлением диктатуры СЕПГ на местах? Было ли это связано с длительно существовавшими образцами социалистической культуры, влияние которых вновь и вновь ощущалось и укреплялось (такими образцами, как норма чистоты, норма производительности, нормы порядка)? В какой же сфере были определены границы возможностей, как и кем?

При анализе этой проблемы традиционный подход предусматривал бы изучение ее под разными углами зрения; традиционным было бы и предположение о том, что на уровнях «большой политики» или на уровне ментальностей (или и того, и другого) были созданы определенные рамки для каждого отдельного лица и типа поведения. Так возникает перед внутренним взором исследователя как бы замкнутая история, действующие лица которой движутся в различных плоскостях, не пересекающихся и не зависящих друг от друга, которые по воле случая могут быть полностью изолированы одна от другой.

При этом не принимается в расчет то, что 1989 г. стал важным рубежом, что отчасти те же самые ориентации, т. е. «своеобразие», которое до осени 1989 г. способствовало приспособлению к режиму, и лишь потом, лишь вследствие изменения в действии одного из многих факторов, вызвало совсем другой тип поведения. В резолюции октября 1989 г. рабочие предприятия по изготовлению турбин Бергманн-Борсиг не требовали ничего, кроме того, что десятилетиями добивались их отцы (т. е. поколение, построившее новое общество в ГДР), – «иметь возможность работать по-настоящему». Но лишь осенью 1989 г. настал момент, когда это требование смогло быть реализовано. Чтобы уяснить, как это получилось, необходим взгляд через увеличительное стекло, позволяющий выявить малейшие изменения. О том, как это сделать, говорится, в частности, на страницах журнала «Историческая антропология» (я – один из его издателей), выходящего в Германии с 1993 г. С моей точки зрения, целевая установка этого журнала не отличается от той, которую я здесь изложил в связи с «Историей повседневности». Она перекликается с соображениями Райхарда Видерса, приве-

тельными в статье «История и общество». Главное — это изучение социальных практик и форм «усвоения», а также несогласованностей и разрывов в обществе.

* * *

В своей концепции индивида сторонники «Истории повседневности» используют понятие «актер». В актерах они видят не «выразителей» неких анонимных сил, не их «агентов» (которые лишь реализуют находящиеся за ними силы). Актеры совершают поступки, они действуют исходя не только из свободы воли, но и не как простые марионетки. Они зависимы, но действуют таким способом, который позволяет им определить свои шансы, и они пользуются этими шансами.

При этом, исходя из антропологических и особенно культур-антропологических подходов, стоило бы ввести в научный оборот и идею «состояния» («агона») между актерами. Американский этнолог Д.Р. Эдисон в своей интерпретации трудов К. Гирца обнаруживает аспекты «агонической» концепции в понимании Клиффордом Гиртцем (локальной) культуры.

Имеется в виду та ориентация, которая проходит красной нитью через все сферы жизни. Действуя в условиях состязания, актеры осмысливают себя и свои обязательства. Конечно, при этом сохраняется некоторая неопределенность. В то же время присутствует и игровой момент: актеры-«игроки» сохраняют в своем состязании определенную дистанцию по отношению к тому, что они делают. Этот акцент на «агоне» может способствовать преодолению заостренности некоторых системных концептов...

23

Примечания

¹ Доклад, прочитанный в Институте всеобщей истории РАН 2 октября 1996 г., печатается с небольшими сокращениями.

² Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte, Mikro-Historie, eine Diskussion. / Hg. W. Schulze. Göttingen, 1994.

³ Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Hg. F.-J. Brüggemeier, J. Kocka. Fr. / M. N. Y., 1989.

⁴ Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen.

⁵ Kocka J. Perspektiven für die

Sozialgeschichte der neunziger Jahre Sozialgeschichte... S. 33–34.

⁶ Ср. проект «Биография и социальная культура в Рурской области», опубликованный Л. Нитхаммером: *Nitthammer L. Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet*. Berlin; Bonn, 1983.

⁷ Die Nation als Ausstellungsstück. Hamburg, 1987.

⁸ Wehler H.-U. Geschichtswissenschaft heute // Stichwörter zur «Geistigen Situation der Zeit». Hg. J. Habermas. Fr. / M., 1979. S. 709–753, 739.

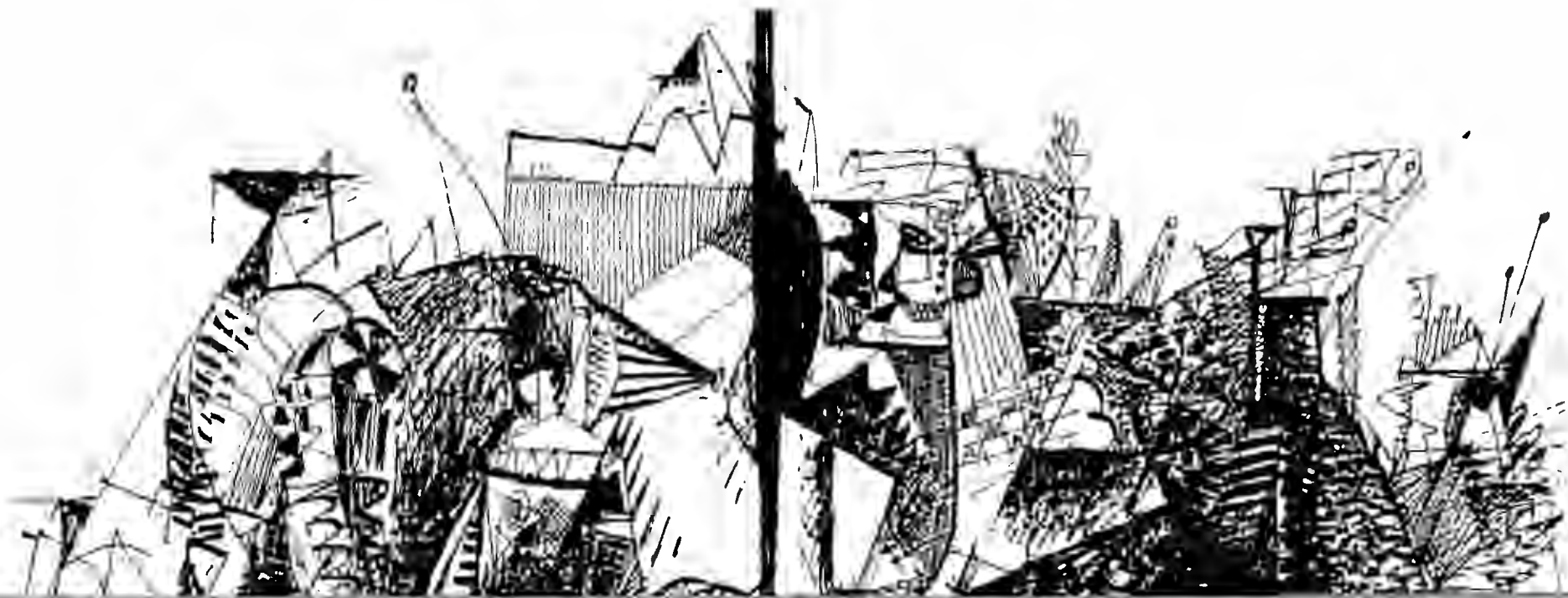
⁹ Об этом см. подробнее мое введение к названному тому

- «Alltagsgeschichte», а также соответствующие пассажи в рукописи К. Маркса «Национальная экономика и философия». Понятие «усвоение» я использую при исследовании способов поведения индустриальных рабочих и работниц в конце XIX — первой половине XX в. Суть в следующем: соучаствуя в той или иной деятельности, люди, хотя и вынуждены приспособливаться друг к другу, предпринимая усилия, чтобы «усвоив» своеобразные ситуации, остаться «самими собою», сохранить «собственную» сферу. Взаимное приспособление осложняется поэтому противостоянием, что и проявляется в «своенравии». Под последним подразумеваются усилия исторических «актеров» обеспечить существование своей «собственной» сферы, возможность оставаться «самим собой». Тем самым эти «актеры» ускользают от необходимости выбирать лишь между господством и подчинением, с одной стороны, или же неповиновением и сопротивлением, с другой. См.: *Lüdtkе A. Eigensinn. Fabrikalltag, Arbeitserrfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg, 1993.*
- 10 *Gramsci A. Quaderni del carcere. Vol. 1–4. Torino, 1977. Vol. 1. P. 311f; Vol. 3. P. 163ff, 201ff.*
- 11 *Walter B. Über den Begriff der Geschichte // Ejusdem, Gesammelte Schriften. F. / M., 1974. Bd. 1–2. S. 691–704.*
- 12 *Thompson E. The Moral Economy of English Crowd // Past & Present. 1971. № 50. P. 76–136; Idem. The Making of the English Working Class. L., 1963. P. 9: «Класс» не должен быть ни «структурой», ни «категорией»; «класс... находится в процессе».*
- 13 Подробнее см. об этом мои исследования о «своенравии». Ср. сн. 8, с. 375.
- 14 См.: *Hirschmann A. Shifting involvements. Private interest and public action. Princeton, 1982.*
- 15 См.: *Гуницбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные методы преподавания новейшей истории. М., 1996. С. 207–236; Levi G. On Micro history // New Perspectives on Historical Writing / Ed. P. Burke. Oxford, 1991. P. 93–113; Medick H. Weben und Überleben in Laichingen, 1650–1900 // Localgeschichte als Allgemeine Geschichte. Göttingen, 1996.*
- 16 *Geertz C. The Interpretation of Cultures. N.Y., 1972. P. 22: «small facts can speak to large issues».*
- 17 *Horkheimer M., Adorno Th. W. Dialektik der Aufklärung. Fr. / M., 1969. S. 45.*
- 18 *Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience. Ed. J. Revel. P., 1996.*
- 19 *Arru A. Il servo storia di una carriera nel Cettcento. Bologna, 1995.*
- 20 Об этом см.: *Lüdtkе A. «Helden der Arbeit». Zur mißmutigen Loyalität von Industriearbeitern in der DDR // Sozialgeschichte der DDR/ Hg. H. Kaelble, J. Kocka // Stuttgart, 1995. S. 188–213.*
- 21 *Historische Anthropologie. / Гл. издатели: Lüdtkе A., Medick H., Mitterauer M. Köln, 1993. Bd. 1.*
- 22 *Sieder R. Sozialgeschichte auf dem Weg zu einer historischen Kulturwissenschaft // Geschichte und Gesellschaft. 1994. Bd. 20. S. 455–468.*
- 23 *Edison J. Homo symbolance agonisticus. Geertz's «agonistic» vision and its Implications for Historical Anthropology // Forcaal. № 26/27. P. 109–103, S. 114ff.*

А. Людтке

Пер. с нем. С.И. Лучицкой
Перевод подготовлен
при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 97–01–00243)

казус
в политике



- 1 Бессмертный Ю.Л.
- 2 Кошелева О.Е.
- 3 Смирнов В.П.



1



3



2

Казус Бертрана де Борна, или «Хотят ли рыцари войны?»

Кто сегодня не слышал о трубадуре Бертране де Борне? В любой антологии средневековых провансальских поэтов его сочинения занимают одно из самых видных мест. Нам достоверно известны 43 его песни, о принадлежности ему еще четырех – спорят. В любом случае, это – огромное поэтическое богатство, сравнимое по объему лишь с наследием наиболее крупных провансальских трубаду-
ров. По мнению М.Б. Мейлаха, «поэзии Борна присуща некая особая образная насыщенность, замечательная изобразительная и языковая суггестивность»; ему «никогда не изменяет чувство юмора. Все это вместе придает его песням ноту современного звучания, сближающую его творчество с поэзией XX века».

Однако своей известностью Борн обязан не только незаурядному поэтическому дару. Не менее, если не более, важным оказалось то, что Борн прославился настойчивым стремлением разжигать повсюду свары и раздоры – будь то между чужими или родными, отцом и детьми, братьями и т. п. – и не менее откровенно выраженной радостью по поводу разгорающихся при этом военных стычек. В сирвентах Борна нетрудно найти иллюстрации этой его странной, на первый взгляд, страсти.

...Когда другие миру преданы
Стремлюсь испытать хотя б глоток войны.
Чума на тех, кто станет мне мешать,
Когда войну я соберусь начать!
Мир мне не в сладость,
Война – мне радость,

- Мне для всех времен
Лишь война закон...
Как радостно в бою добыть себе коней
Побольше отобрать стрел, копий и мечей,
Атаки каждое мгновенье,
Турнир иль битва — наслажденье,
И щедрый мир, и ласки дам -
5 За это жизнь свою отдам!*
- Всю жизнь я только то и знал,
6 Что дрался, бился, фехтовал...
- Признаюсь вам, не так влечет
Меня еда, питье иль сон,
Как громогласный клич «Вперед!»
И битвы шум со всех сторон:
7 Ржут кони, вздыбясь, чуя кровь,
И крик: «На помощь!» слышен вновь*.

- Борну было хорошо известно, какой имидж создали ему эти
(и подобные им), строфы в глазах современников. Он знал,
что его считают «зачинщиком смут», побуждающим грандов
8 «ненавидеть» друг друга. Борн соглашался, что и в самом деле
хотел бы видеть грандов постоянно воюющими между собой,
но не считал, что это дает основание видеть в нем любителя
смут как таковых:

- 9 Я, право, не зачинщик смут,
Хоть грандов побуждаю биться*.

- Как Борн оправдывал это свое утверждение, мы увидим
чуть дальше. Показательно, однако, что Борн считал нужным
в данном случае *оправдываться*, косвенно признавая, что его
воинственные призывы не встречали повсеместной и безого-
ворочной поддержки. Об этом же свидетельствуют и суждения
современников Борна — его собратьев по перу и его читателей-
слушателей. Такие суждения запечатлены, в частности, в так
называемых *Razo* — «объяснениях» («комментариях») к песням
Борна, составленных при его жизни (или вскоре после смер-
ти). Их — 18, больше, чем у кого бы то ни было из трубадуров.
(Видимо, сирвенты Борна особенно нуждались в пояснениях!)
1) Во многих из них (как и в обоих сохранившихся жизнеописа-
ниях Борна) — там, где идет речь о его пристрастии к сварам и
стычкам, авторы всегда высказываются в сходном ключе: с

большим или меньшим *удивлением* или даже с откровенным *осуждением*. «Был он [Бертран де Борн] мужем благовоспитанным и куртуазным... Был у него, однако, такой обычай, что постоянно подстрекал он сеньоров к междоусобным браням, а молодого короля, сына короля Английского [Генриха II Плантагенета], до тех пор возбуждал к войне против отца, пока тот не был убит стрелой в одном из Бертрановых замков». «...Желал он всегда одного: чтобы все они [Генрих II и его сыновья] — отец, сын и брат все время друг с другом воевали. Желал он также, чтобы всегда воевали между собой король французский и король английский. Когда же они мир заключали или перемирие, тотчас же старался он сирвентами своими этот мир разрушить, внушая каждому, что тот себя опозорил, заключив мир и пойдя на уступки...». «Бертран сказал... что постыдно и бесчестно для короля, начавшего войну с другим королем из-за отнятой у него земли, мир заключать или перемирие, не добившись удовлетворения своих требований... Прослышав же, что они [Ричард Львиное Сердце и Филипп II Август] окончательно рассорились, Бертран де Борн весьма возвеселился...». «Как прослышал Бертран де Борн, что король грозит [войной] тем сеньорам, [которые отказывались возвратить незаконно захваченные города и замки], то, будучи из тех, что большей не знают радости, как только сеньоров друг с другом стравливать, весьма возрадовался...». 11
12
13
14

Как понять эту недоумевающую или даже осуждающую тональность по поводу Бертрана де Борна в высказываниях его современников? Почему Борну приходилось оправдываться перед читателями в связи с прославлением им боевых стычек и частных войн? Разве «максимы» Борна не укладывались в принятые стереотипы? Разве то, что он проповедовал (и делал), представляло нечто необычное? Каков же был тогда принятый канон отношения рыцаря к смутам и войнам? И в чем, собственно, состоял, на взгляд современников, «казус Борна»?

В поисках ответа на эти вопросы попытаюсь, прежде всего, внимательнее присмотреться к контексту воинственных призывов Борна. Не собираюсь преувеличивать познавательную роль анализа этого контекста. Он вряд ли способен раскрыть подлинные реалии рыцарской жизни, да и всю подноготную воззрений самого Борна. Имея дело с поэтическим текстом, не будем забывать, что он формируется по своим собственным законам и отнюдь не нацелен на прямое воспроизведение взглядов автора или же на пресловутое «отражение» действи-

15 тельности. Скорее в нем можно услышать отзвуки некоего преднамеренного (или непреднамеренного) диалога с поэтическими предшественниками и современниками, способные прояснить, против чего (или, точнее, против каких поэтических топосов) выступает поэт в том или ином случае. На этой, в частности, основе возможна попытка нащупать *интертекстуальные связи* в сирвентах нашего трубадура и в результате всего этого — глубже осмыслить «казус Борна».

Такие интертекстуальные связи — как и вся образная система Борна — могут быть поняты не только (и не столько) через эксплицитное содержание его сирвент, но, пожалуй, в первую очередь, на основе косвенных данных. В частности, важно проследить, насколько вписываются (или не вписываются) высказывания и образы Борна в жанровые топосы современной ему — или предшествующей — поэтической традиции, как именно звучат они в его поэтической речи, какова используемая Борном лексика, как перекликаются (или пересекаются) в ней эти разные традиции.

16 Как известно, одной из высших ценностей в лирике трубадуров считалась *Joï* — куртуазная радость, Радость с большой буквы, которую юный герой-трубадур испытывал при созерцании Дамы или при интимной близости с нею. Это понятие — «Жуа» — употребляли обычно по отношению к экстатическим состояниям. В нем видели исток едва ли не всех важнейших куртуазных ценностей. Поучительно, что именно с этим состоянием сравнивает Борн свою любовь к войне. По его словам, «и “вальвассоры”, и “шателены” (т. е. те группы рыцарства, к которым был ближе всего сам Борн) радуются [Jausir] во время войны, а не во время мира». Об этом же идет речь и в других сирвентах Борна, в частности в уже цитировавшихся строках, где трубадур перечисляет важнейшие для него «радости жизни». Как ни понимать эти последние строки, радость любви приравнивается здесь к экстатическому упоению военной схваткой, а сама она выступает как органичный элемент куртуазного поведения.

19, 20 Столь же определенно звучит эмоциональный, — а не рациональный! — стимул военного действия в другой сирвенте Борна:

Нас тридцать воинов-солдат
В мечом изорванных плащах,
Пусть он — сеньор, а я — вассал,
Друг с другом мы равны в боях,

*Нас страсть к сраженьям в бой зовет,
Не ждем мы и полушки в дар,
Нас лишь одна награда ждет:
Ответный выдержать удар*.*

21

Упоение боем заставляет Борна видеть весь окружающий мир подчиненным ритму рыцарской войны:

Ради чего весною ранней
Расцветают повсюду
Цветы и травы?
Чтобы дать всем знать:
Пришел славный сезон войны.

22

Но и этого мало. Война в изображении Борна — это как бы инновация молодости. Следуя куртуазным топосам, Борн богогворит молодость и молодежь. В его образном мире молодость отождествляется с неумемностью, беззаботностью, бесшабашностью, составляющими главное содержание жизни. Понятие молодости выступает при этом не как чисто возрастное. В сирвенте, специально посвященной критериям «молодости» и «старости», Борн различает каждое из этих состояний, прежде всего, по манерам поведения человека. И среди важнейших критериев молодости — стремление благородного рыцаря предаваться радости боя, азарту стычки на поле брани или на турнире: ведь «молод» тот, кто не устает воевать, кто всегда рад ратной сече, кто не побоится заложить все, что у него есть, до последней полушки, лишь бы иметь возможность сражаться, куртуазно вести себя с дамой и проявлять щедрость и гостеприимство. Не желает Борн знать и про запреты для военных стычек «в понедельник или во вторник», «в марте или в апреле». Для боевых схваток годится любой день.

23

24

Радость войны не затмит и то, что она не безопасна. «Ввязавшись в схватку, — пишет Борн, — каждый благородный думает лишь о том, чтобы рубить головы и руки».

25

«Ведь лучше достойная смерть, чем позорная жизнь!» (37, 39–40).

26

Эта максима органично вписывается в характерную для Борна иерархию поэтических ценностей. В ней родовая воинская честь — как и в былых «жестах», повествовавших о борьбе с неверными, — стоит больше, чем самая жизнь. Однако это не значит, что честь куртуазного рыцаря может быть добыта только ценой убийства противника. Конечно, в пылу боя слав-

27

28 ный рыцарь готов, по словам Борна, превратить голову побе-
жденного «в кашу из мозгов с соломой», и он не думает в этот
момент ни о чем, кроме как о числе нанесенных — и получен-
ных — ударов. Не пугают его и рвы, где валяются трупы уби-
29 тых. Но нигде и никогда Борн не зовет к «войне насмерть» при
30 противоборстве рыцарей. И это неудивительно. Для победы в
рыцарском бою смерть противника не только не нужна, но и
31 вредна: она лишает надежды на выкуп и грозит мезьтью. Побе-
да в рыцарском бою и убийство противника не имели в этом
смысле причинной связи.

В общем, в ряде сирвент Борна военные схватки рыцарей
воспеваются как самоцель, как плотская радость и развлече-
ние, они выступают как атрибуты куртуазного канона, привле-
кающие сами по себе и не обусловленные каким бы то ни бы-
ло социальным контекстом. Однако не менее часто этому дис-
курсу противостоит совсем иной.

Кто не знает, что рыцари XII—XIII вв. не гнушались грабе-
жей на больших дорогах, оправдывая свои военные набеги ча-
ще всего борьбой с ростовщиками (проклинаемыми самой
32 церковью!). Борн воспевал подобные военные предприятия
как вполне правомерные, и их социальная оправданность в це-
лом не вызывала у него ни тени сомнения. К тому же, алчность
33 не была чужда Борну, как и всем другим рыцарям.

Но, говоря о социальном подтексте воинственных призы-
вов Борна, нельзя не обратить внимание и на совсем иную
сторону дела. В сирвентах Борна военный конфликт с участи-
ем рыцарей сплошь да рядом выступает не только как прехо-
дящее, но как *основополагающее* условие для их социального
комфорта, как непреложная *социальная* необходимость. Что
здесь имеется в виду?

По мнению Г.Ж. Гуирана (как и некоторых других исследо-
вателей), все объясняется тем, что Борн был типичным «гла-
шатаем рыцарской молодежи» и как таковой закономерно
стремился утвердить «монополию рыцарства на военную
34 службу». На первый взгляд, это наблюдение не вызывает сом-
нений. Можно ли им, однако, удовлетвориться? Не упрощает
ли оно дело? Задумываться на этот счет приходится, в частно-
сти, исходя из небезосновательных соображений самого же Гу-
ирана об органичной связи поэзии Борна и с эпической, и с
35 куртуазной традициями. Но, как известно, ни в той, ни в дру-
гой традиции военная монополия рыцарства никогда не стави-
лась под сомнение и рассматривалась как самоочевидная. Ут-

перждать ее, значило бы повторять стандартные топосы. Ограничивается ли Борн такими банальностями? Как уже отмечалось выше, высказывания этого поэта о войнах и раздорах никак не казались его современникам банальными. Да и сам он представлялся им фигурой отнюдь не ординарной, отличавшейся приверженностью далеко не общепринятым идеалам. Присмотримся снова к текстам Борна.

Я, право, не зачинщик смут,
Хоть грандов побуждаю биться.
Ведь вальвассоры смогут тут
(И шателены) отличиться.
Для Радости причины есть:
Щедрее гранды и любезней,
Коль о войне слышат весть.
И мира тем война полезней!*

36

По логике этой сирвенты война оказывается средством «давления» рыцарства на грандов. Чего именно добиваются эти рыцари от грандов (т. е. от графов, герцогов, принцев и королей)? Анализируя лексику (и подтекст) стихов Борна, можно попытаться осмыслить внутренние интенции нашего трубадура и то, за какую интерпретацию взаимоотношений грандов и рыцарства он выступает.

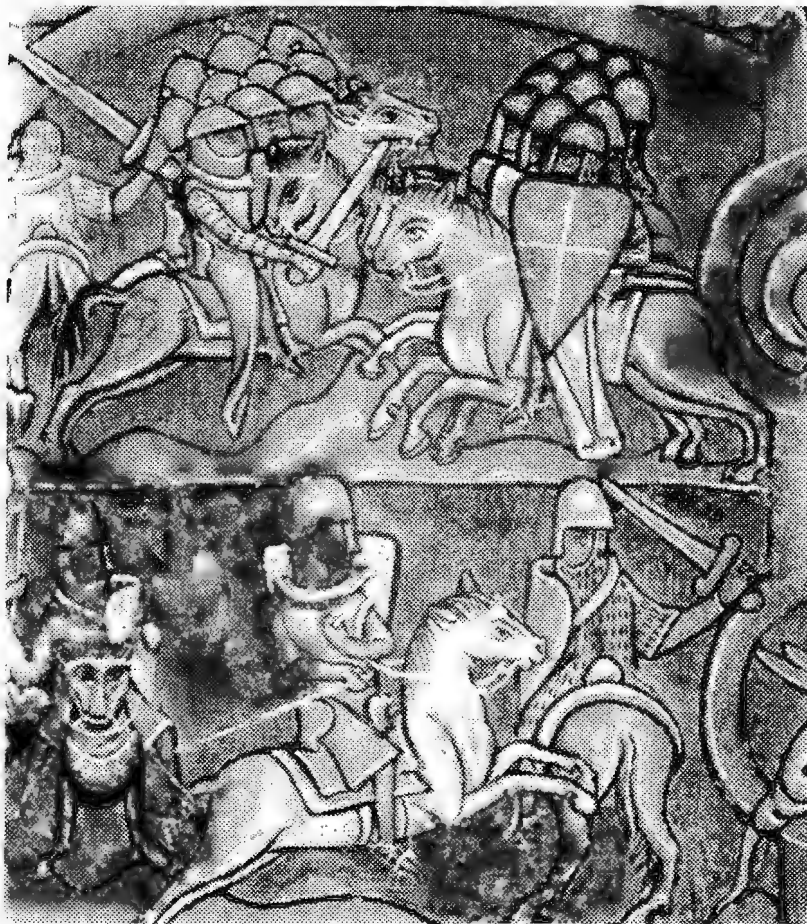
Возвращаясь к только что цитированной сирвенте, отмечу, прежде всего, что лексические формулы поведения грандов по отношению к рыцарям, возглашаемые Борном, как бы перекрывают друг друга. Гранды, говорит Борн, становятся во время войны «plus francs, larcs et privatz», т. е. «более любезны, щедры и дружелюбны» к рыцарям, чем в мирное время. Речь идет здесь очевидно *не только о материальном* вознаграждении рыцарей за военную службу грандам. В этом убеждает анализ многих других сирвент Борна, судя по которым видно, что Борн рассматривает состояние войны как такое, которое помогает рыцарству исключить его дискриминацию со стороны грандов *во всех* мыслимых аспектах. Именно о всеобъемлющей перестройке отношений рыцарей и грандов мечтает Борн, рассуждая о «достойных» и «недостойных» грандах.

«Недостойные» — это те Rics homes, которые надеются, что из-за страха, который они внушают рядовым рыцарям, последние не осмелятся выражать недовольство даже при «грубом» с ними обращении. А между тем, замечает Борн, чем «запугивать» рыцарей, лучше бы заботиться о своей доброй славе

(*digz valens*), которая скорее может привлечь рыцарство на сторону того или иного гранда. Этого никогда не добиться тем грандам, которые не умеют ценить ни «куртуазную радость» (*Jois*), ни радость молодости (*Jovens*), ни иные куртуазные достоинства. Не симпатичны Борну (как и «всем добрым людям») и те магнаты, что тратят деньги на возведение башен и порталов, вместо того чтобы одаривать нуждающихся в поддержке рыцарей. В глазах Борна все подобные гранды «плохи от головы до пяток и от ног до верхушки своей башки»; по отношению к противникам они слепы, а на друзей смотрят с пристрастием, всегда готовые их предать; им трудно носить кольчугу и меч, зато они любят шпоры, которые помогают удирать; их советы — не умнее, чем у слуг; их дворы бедны припасами, а подарки — скудны и тощи; их слова неумелы и неприятны... «О ничтожные людишки! (*Ai plasa gen...*)», — восклицает Борн и тут же вопрошает: «Куда подевались те куртуазные герои, что долгими неделями и месяцами осаждают замки и все это время содержат, как полагается, свой двор, не забывая о дарах и помня о жонглерах?!». Зато, продолжает Борн, ныне полно красивеньких особ в роскошных одеждах, с модными прическами, белыми зубами и с усиками на губах, которые, однако, не умеют ни любить, ни служить Даме, ни держать себя при дворе, ни проявлять настоящую щедрость.

Что касается гранда, вызывающего уважение Борна, то его черты вырисовываются как из простого противопоставления чертам гранда недостойного, так и из вполне эксплицитной характеристики этих черт. Достойного гранда — и идеального правителя — отличает в изображении Борна уже то, что он неизменно гостеприимен и всегда привечает появляющихся при его дворе благородных рыцарей. Обращаясь к ним, достойный гранд не позволит себе пренебрежительного отношения или неуважительного (*umil*) тона. Наоборот, у него доброе и приветливое выражение лица и такой же приветливый голос. Всея манерой поведения и построением речи гранд должен демонстрировать дружественное расположение к рыцарю (*privat*). Не случайно, по наблюдениям Ж. Гуирана, в лексике, которой пользуются у Борна достойные гранды в общении с рыцарем, преобладают такие же лексемы, как и в общении Дамы и ее поклонника: *adrech*; *drechuga*; *soгал*; *fin*. Вообще, как, собственно, и следовало ожидать от трубадура XII в., Борн относит к числу важнейших отличий достойного гранда его «умение правильно и приятно говорить». Оно выступает как своего рода условие

правильных действий. Соответственно, и сам Борн тщательно 48
выбирает противостоящие по смыслу и звучанию эпитеты для
характеристики достойных и недостойных грандов.



Рыцарские боевые стычки (XII в.). Бодельянская рукопись

Главное содержание взаимоотношений гранда и благородного рыцаря должно, по словам Борна, включать в идеале любовь (*amors*) и взаимопомощь, а сами гранды должны поступать как «благородные, куртуазные, любезные, вежливые и

49 щедрые (*francs e cortes e chauzitz // E larxs e bon donadors*) воители», пользующиеся в таких случаях заслуженной славой. Как видим, Борн печется далеко не только об одаривании рыцарства и его материальном благополучии (хотя никогда об этом не забывает). В его представлении собственно щедрость смыкается со всем стилем общения грандов и рыцарей, предполагая необходимость для грандов проявлять «любезность», «дружелюбие» и, как мы бы сегодня сказали, лояльность. Борн явно хотел бы видеть общение этих двух категорий «на равных» и, во всяком случае, при исключении произвола со стороны гранда.

50 В общем, там, где Борн включает свое упоение войной в некий социальный контекст, последний предполагает не только (и не столько) простую защиту монополии рыцарства на военную службу, но прежде всего установление отношений взаимоуважения и взаимопомощи между грандами и рыцарями. Исключить произвол и самовластье магнатов по отношению к рядовым рыцарям — вот желанный идеал Борна. А раз этому может способствовать состояние войны между магнатами — да здравствует война! Ведь именно в это время рядовому рыцарю легче не позволить третировать себя, помыкать собою, легче отстаивать свои достоинство и честь.

51 Как известно, о распрях между разными группами феодальных сеньоров говорится едва ли не во всех средневековых источниках. Отличие текстов Борна в том, что автор выступает не на стороне сильнейших — не на стороне Власти, но — в пикку ей — на стороне мятежной и непокорной рыцарской массы. Он не призывает к ее абсолютной супрематии, но отстаивает признание за каждым из рыцарей возможности быть на равных со всеми грандами — будь то графы, герцоги или короли. Его ничуть не смущает перспектива бесконечных частных войн, сопровождающих эту рыцарскую свободу. Именно эта свобода всего важнее Борну.

52 \ Суть этой свободы весьма своеобразна. В ней причудливо сплетаются генетически разнородные элементы. Среди них, само собой, — свобода как этническая независимость, которую отстаивали эпические герои жест, воевавшие с сарацинами. Но на ней лежит и очень заметный отпечаток куртуазных представлений, предполагающих взаимную связанность свободных людей обменом дарами и обязанностями. Не случайно, свобода рыцарей у Борна, исключая какой бы то ни было произвол по отношению к ним, не исключает их подчинения

сюзерену-гранду. Рыцарская свобода оказывается здесь метафорой взаимозависимости.

Если использовать современные понятия, можно было бы сказать, что в подтексте поэтических идеалов (и метафор) Борна — реципрокность в отношениях между магнатами и рядовыми рыцарями. Или — что почти то же самое — в сирвентах Борна содержится идеал взаимоуважения личного достоинства рыцаря и правителя, гарантирующий каждому рыцарю личную неприкосновенность и свободу (в свойственном этому времени смысле).

* * *

Осмисливая риторику Бертрана де Борна, я хотел бы теперь задаться более общим вопросом. *Хотят ли рыцари войны?..* (Речь, конечно, не об абстрактных рыцарях всех времен и народов, но о рыцарях — современниках и соотечественниках Борна).

Разумеется, поэзия Борна — лишь один из источников для получения ответа на этот вопрос. Тем не менее сирвенты этого певца войны по-своему поучительны. Начать с того, что даже у «экстремиста» Борна мы не найдем императива «убить противника», который иногда приписывают рыцарству.

53

Как видно в том числе и из цитировавшихся текстов Борна, рыцарская война XII в. — это вообще совершенно особая война, плохо укладываемаяся (или даже вообще не укладываемаяся) в наше одноименное понятие. Она, как уже отмечалось, была неразрывно связана с полуритуальными элементами куртуазного канона. Ее участники чувствовали себя, как мы бы сказали, актерами, занятыми в спектакле, разыгрываемом обеими воюющими сторонами по некоторым общим правилам. Противник — если речь шла о христианском рыцаре — вообще не ассоциировался с врагом в собственном смысле слова. Совместные торжественные трапезы рыцарей обеих воюющих сторон после окончания очередной боевой стычки — лишь одно из свидетельств этого. Рыцарская война того времени почти не знала кровопролитных сражений (Дюби). В ней довольно строго регламентировались боевые приемы, роль благородных воинов, численное соотношение военных контингентов и мн. др.

Если, тем не менее, рыцарская война могла рассматриваться — как у Борна — в качестве самоценности, то обосновыва-

лось это, как уже отмечалось выше, тем, что она открывала возможность для рыцарской молодежи показать себя и свою удачу, подтвердить свое воинское умение, оправдать свое социальное призвание, наконец (не последнее по важности!), отстоять — вопреки королям и герцогам — свою независимость и свое личное достоинство, пусть ценой политической анархии и непрерывных смут. В этом последнем своем качестве рыцарская воинственность противодействовала становлению княжеского деспотизма, препятствовала ущемлению личного достоинства рыцаря, мешала возобладанию прав государя над правами рыцарского индивида.

Это видение рыцарской воинственности не было, однако, всеобщим. Как отмечалось, оно смущало — или даже возмущало — авторов ряда жизнеописаний Борна. Явно не разделяли его те, кого Борн относит к «состарившимся», «ничтожным» грандам, избегающим боевых стычек и предпочитающим мир войне. Не совпадали с идеалами Борна и ориентиры некоторых трубадуров и писателей того же XII в. Их герои порой прямо осуждали войну и утверждали предпочтительность мира. О неприемлемости для ряда современников Борна его воинственных идеалов свидетельствует резко негативная оценка этого трубадура уже у Данте. Мог ли он поместить Борна в восьмом круге своего «Ада» в виде всеми проклинаемого сторонника раздоров, носящего, как фонарь, собственную отсеченную голову, не будь в памяти современников и ближайших потомков Борна осуждающей его оценки? Не случайно же копиисты охотно приписывали именно Борну все тексты неизвестного авторства, в которых присутствовало воспевание войны. Видимо, осуждение войн и раздоров становится характерным в конце XII в. не только для рыцарских писателей из королевского окружения (внутри которого один из современных Борну королей, Людовик VII, именуется, например, *rex pacificus*).

Все это не значит, что можно игнорировать поэтизацию рыцарских войн у Борна. Она — реальный литературный факт. Важно лишь не упрощать ее социальный подтекст и ее последующие интертекстуальные связи. Рыцарская воинственность выступает у Борна в коннотации с целой системой социальных идеалов рыцарства. Говоря об этих идеалах, ведущие исследователи западноевропейского рыцарства подчеркивают, что они почти никогда не соблюдались. При всей справедливости этой констатации она вряд ли достаточна для историко-культурного осмысления рыцарских идеалов конца XII — начала XIII в.

Для такого осмысления потребен более широкий подход. С точки зрения интертекстуальных связей – и традиций европейской культуры – важно не столько то, насколько рыцарство было верно своим идеалам, сколько то, каков вклад этих идеалов в вербализацию нравственных императивов европейца. Неприкосновенность личности, человеческое достоинство, недопустимость правового произвола, взаимность обязанностей властителя и подвластного ему человека – вот императивы, которые вербализовала рыцарская риторика. В этом смысле рыцарские усобицы конца XII – начала XIII в. не только разрушали города, села и крепости. Они еще и создавали ценности, которые, не имея материального воплощения, обогащали западноевропейскую цивилизацию. Счастье западноевропейского человека в том, что формирование этих ценностей развернулось уже восемь столетий назад.

58

Правомерно ли говорить обо всем этом, отправляясь от риторических формул Бертрана де Борна? Ведь в них, казалось бы, – лишь абстрактные идеалы одного из десятков (или сотен) авторов, чьи свидетельства о рыцарстве XII в. нам известны?..

59

Казус Борна – действительно один из очень многих. Но это такой исключительный казус, который, на мой взгляд, приоткрывает и нечто, представлявшееся современникам ненормальным, и, косвенно, то, что наоборот, казалось им обычным. «Хотеть войны» так, как Борн, представляло собой, действительно, нечто редкостное, хотя и не невозможное. Суть же этого «хотения» может быть сколько-нибудь полно осмыслена лишь в рамках социокультурного универсума XII в. и характерного для него куртуазного канона.

Риторические формулы Борна, конечно же, не больше чем словесные образы, в лучшем случае способные рассказать только о тех или иных идеалах. Но разве не они – идеалы или контр-идеалы – ориентировали и мысли, и дела тех, кто слушал сирвенты Борна и кто решал, следовать или не следовать его призывам?

Осмысливая эти идеалы XII в., сегодняшний историк культуры не может ограничиваться воспроизведением их формального звучания. Для него важнее их подтекст, их интертекстуальные связи, раскрывающиеся в исторической ретроспективе.

Примечания

- ¹ *Gouiran G.* L'amour et la guerre. L'oeuvre de Bertran de Born. Aix-en-Provence, 1985; *Idem.* Le seigneur-troubadour d'Hauteafort. Aix-en-Provence, 1985.
- ² Заметно больше, чем Борн, оставили лишь Пейре Карденаль и Гаусельм Файдит; по количеству дошедших до нас произведений Борн не отличается от таких прославленных трубадуров, как Бернар де Вентадорн, Маркабрюн или Пейре Видаль (см.: *Pilet A., Carstens H.* Bibliographie der Troubadours. N. Y., 1968. Далее: P.-C.).
- ³ *Мейлах М.Б.* Жизнеописание трубадуров: Обоснование текста. М., 1993. С. 595.
- ⁴ Все цитируемые ниже русские переводы сирвент Борна сверены со старопровансальским оригиналом и с имеющимися прозаическими переводами на современный французский язык. Абсолютное большинство русских переводов песен Борна принадлежит А.Г. Найману (Песни трубадуров. Перевод со старопровансальского Анатолия Наймана. М., 1979. Далее: *Найман*), большинство французских — Жерару Гуирану. Поэтические достоинства переводов А.Г. Наймана общеизвестны. Однако иногда в них встречаются терминологические и содержательные погрешности, обнаруживающиеся, в частности, при сопоставлении с новейшими прозаическими переводами Гуирана (*Gouiran G.* L'amour... Passim). В этих случаях я цитирую оригинальный старопровансальский текст Борна и даю его перевод. Там, где такие переводы зарифмованы, они выполнены И.М. Бесмертной и отмечены звездочкой; (в некоторых из них мы были вынуждены пренебрегать поэтическими требованиями ради содержательной точности). Остальные русские переводы, если это специально не оговорено, приводятся по А.Г. Найману.
- Атрибуция переводимых текстов указывается по последнему изданию Ж. Гуирана (римскими цифрами). При цитировании переводов А.Г. Наймана указывается нумерация сирвент Борна в соответствии с принятым порядком по изданию А. Pilet — Н. Carstens (арабскими цифрами).
- ⁵ № XVIII, 17–24, 36–40;
 Quant es fis devas totas partz,
 A mi resta de gerra uns pans.
 Pustella en son huoill qui m'en partz,
 Si tot m'o comenssiei enans!
 Patz no-m fai conort,
 Ab gerra m'acort,
 Ab gerra m'acort,
 Q'ieu non teing ni crei
 Negin'otra lei...
 Cum puosca aver cairels et dartz,
 Elms et aubercs, cavals et brans;
 C'ab aisso-m conort
 E-m teing a deport
 Assaut e tornei,
 Donar e dompnei.
- ⁶ *Найман.* С. 76 (P.-C. 80, 44).
- ⁷ N XXXVII, 41–46:
 E-us dic que tant no m'a sabor
 Manjar ni beure ni dormir
 Cuma quand auch cridar: «A lor!»
 D'ambas las partz et auch bruir
 Cavals voitz per l'ombratge
 Et auch cridar: «aidatz! aidatz!»
- ⁸ N XV, 23: «c'unc rics l'autre azir».
- ⁹ N XV, 22–23:
 No-m tendatz per acusador
 Si-us voill c'unc rics l'autre azir.
- ¹⁰ Жизнеописание Борна — как и других провансальских трубадуров — впервые были опубликованы еще в конце прошлого века (лучшее издание XIX в.: *Chabaneau C.* Les biographies des troubadours. Genève, 1895) и затем

- неоднократно переиздавались. Я цитирую жизнеописания по переводам в упоминавшемся выше издании М.Б. Мейлаха, см. с. 51 и след.
- ¹¹ М.Б. Мейлах. Жизнеописания трубадуров. С. 53.
- ¹² Там же.
- ¹³ Там же. С. 85–86.
- ¹⁴ Там же. С. 90.
- ¹⁵ Л.М. Баткин противопоставляет интертекстуальные связи (как и любой «интертекст») бахтинскому диалогизму. Если диалогизм, как пишет Л.М. Баткин, подразумевает реальные реминисценции и заимствования между текстами, то «презумпция» термина «интертекстуальность» – это «смерть автора». (По мысли Л.М. Баткина, интертекстуальные связи целиком представляют атрибут рефлектирующего исследователя, средство «размытия» грани между произведениями») и потому угрозу для процесса бесконечного углубления в потаенный смысл каждого авторского произведения. См.: Баткин Л.М. Тридцать третья буква: Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., 1997. С. 143–144.)
Употребляя термин «интертекстуальные связи», я вкладываю в это понятие иной смысл. Я подразумеваю под ним верифицируемый результат некоего осознанного (или неосознанного) диалога между изучаемыми авторами, каковой результат исследователь в состоянии зафиксировать и представить на суд читателя.
- ¹⁶ Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975. С. 99: «Joi составляет все содержание жизни трубадура, который живет в радости как рыба в воде».
- ¹⁷ Там же. С. 101.
- ¹⁸ N XV, 24–25: Car meil s'en poiran valvasor // Et castellan de lor jausir, // ...ab guerra que ab patz.
- ¹⁹ Текст см. выше, примеч. 5.
- ²⁰ А.Г. Найман считает возможным переводить эти строки (C'ab aissom conort // E-m teing a deport // Assaut e tornei // Donar e dompnei) даже как *противопоставление любви и войны*:
Любовных услад
Мне слаще звон лат (Найман. С. 79).
- ²¹ N XX, 15–21: Nos em XXX. tel gerrier: // Chascus ha capa traucada, // Tuich segnor e parsonier, // Per cor de gerra mesclada, // C'anc no-n cobrem dinairada; // Anz qand a als colps mestier, // Ant lor coreilla prestada.
- ²² N XXXVII, 1–5.
- ²³ N XXXVIII, 25–35; в другой сирvente Борн утверждает, что рыцарь, который не живет войной, становится «размазней и злыднем» (N XXVI, 22–35).
- ²⁴ N XVIII, 25–29.
- ²⁵ N XXXVII, 37–39: E qand er en l'estor intratz, // Chascus hom de paratge // Non pens mas d'asclar caps e bratz...
- ²⁶ Ibid., 40: que mais val mortz que vius sobratz.
- ²⁷ Можно согласиться с Ж. Гуираном, что на упоении Борна боевой страдой и кровавой сечей лежит отпечаток эпической традиции жест, в которых сражающийся с сарацинами герой не хочет помнить ни о чем, кроме победы (Gouiran G. Bertran de Born, troubadour de la violence? // La violence dans le monde médiéval. Aix-en-Provence, 1994. P. 237 et suiv.). Однако другая идея Гуирана, выдвигаемая в этой же статье, согласно которой «синтез» поэтики жест и куртуазной поэтики побуждает Борна рисовать войну как нечто ирреальное, возможное лишь в неопределенном будущем (Ibid. P. 241), не кажется на фоне приведенных текстов достаточно аргументированной.
- ²⁸ N XVI, 46–49.
- ²⁹ N XXXVII, 25–30.

- ³⁰ В частности, поэтому трудно согласиться с М. Манчини (*Mancini M. I Cortigiani e cavalieri-predoni. Metafora feudale, per una storia dei trovatori // V scenographie di Bertran de Born. Bologne, 1993. P. 20*), когда он пишет о якобы руководящей Борном безграничной и дикой «ярости» (*furia selvaggia*).
- ³¹ См. об этом, например: *Duby G. Le dimanche de Bouvines. La guerre au XII siècle. P., 1973.*
- ³² P.-C. 80, № 25 (*Найман. С. 92*): «Ржущие кони, фанфары, знамена, // Дротиков копий и пик часток, // Скрасим трофеями горечь урона, // А ростовщик станет гол, как сокол, // Не протрусит по дороге осел, // Не переступит хозяин порога, // Тщетно купец будет звать на подмогу, // И воцарится в стране произвол». Как показал Ж. Гуиран (*L'amour... P. 653*), последнюю строку, судя по имеющимся различиям, следует понимать иначе: «Каждый получит, что сам произвел». Видимо, более адекватное понимание последних четырех строчек этой строфы в том, что во время войны каждый, кто оказывается в пути, может рассчитывать лишь на Божий промысл, ведь в это время всякое может быть. В любом случае, перевод Наймана явно вводит отсутствующий у Борна мотив злонамеренного установления «произвола».
- ³³ Не будем только забывать, что ее оправданием был императив расточения (а не накопления) богатства (см., в частности: *Бессмертный Ю.Л. Это странное ограбление // Казус-96. М., 1997*).
- ³⁴ *Gouiran G. L'amour... P. XXXV–XXXVIII, 848; ср.: Duby G. Situation de la noblesse en France au début du XIII s. // Hommes et structures du Moyen Age. P., 1973. P. 344–352; Gaucher E. La biographie chevaleresque. P., 1994. P. 525*
- et suiv.; *Paterson L.M. Troubadours. N.Y., 1993. P. 139 etc.*
- ³⁵ *Gouiran G. Bertran de Born... P. 241.*
- ³⁶ № XV: No-m tendatz per acusador // Si-us voill c'uns rics l'autre azir, // Car meil s'en poiran valvasor // Et castellan de lor jausir. // Que plus es francs, lars et privatz, // Fe qu'eu vos dei, // Rics hom ab guerra que ab patz.
- ³⁷ N VIII, 23–33.
- ³⁸ Ibid., 41–44.
- ³⁹ Ibid., 45–55.
- ⁴⁰ N XLa. P. 774–775.
- ⁴¹ N XXX. P. 620–621.
- ⁴² N XIII, 23, 27, 33.
- ⁴³ Ibid., 8.
- ⁴⁴ Ibid., 29–30; N XIV, 11.
- ⁴⁵ N XV, 26.
- ⁴⁶ *Gouiran G. L'amour... P. CIII.*
- ⁴⁷ N V, 82–83, 37–39.
- ⁴⁸ Как справедливо отмечает Габриель Спигель (*Spiegel G. Romancing the Past. The Rise of Vernacular Prose Historiography in 13-th Century France. Los Angeles, 1995. P. 138*), «правильный порядок говорения» (*biau parler*) выступает в рыцарской ментальности как своего рода условие сохранения социальной стабильности, поскольку в основе ее лежит установленный порядок «означивания» всего и вся.
- ⁴⁹ N VIII, 78–85.
- ⁵⁰ Более того, достойно действующий вальвассор в глазах Борна выше недостойного (*galiodor*) графа или короля (№ 1. P. 20–21).
- ⁵¹ По мнению Гуирана, когда Борн пропагандирует войну, он имеет в виду некое «ирреальное будущее» (*Gouiran G. Bertran de Born... P. 244*), а не настоящее. Против этого предположения говорит прежде всего восприятие современников Борна. Не только цитировавшие выше авторы жизнеописаний этого трубадура, но и писцы, копировавшие его сирвенты, склонны были именно Борну приписывать все тексты сомни-

- гельного авторства, если только в них воспевались насилие и войны (Ibid. P. 237).
- ⁵¹ О роли такого обмена (типа погача) во взаимоотношениях между трубадурами писал еще А. Марру (в книге, которую он первоначально издал под псевдонимом Henri Davenport) – *Les troubadours*. P., 1961. P. 61.
- ⁵² Подобное мнение было высказано на «Лотмановских чтениях» 1997 г. М.Л. Гаспаровым.
- ⁵³ *Spievok W. Propagande pour la guerre et nostalgie de la paix dans la littérature de guerre au Moyen Age // Le monde des héros dans la culture médiévale. Greifswald, 1994. P. 279–288.*
- ⁵⁴ См. примеч. 51.
- ⁵⁵ *Duby G. Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme. P., 1973. P. 380–386.*
- ⁵⁷ Ibid. P. 312 et suiv. P. 387 et suiv.; *Kohler E. Trobadorlirique und hofischer Roman. Berlin, 1962. S. 214 ff.; Spiegel G. Op. cit. P. 4–7.*
- ⁵⁸ Нельзя, кроме того, забывать, что, как это отмечал в свое время Патрик Гири (*Geary P. Vivre en conflit dans une France sans Etat // Annales E.S.C., 1986. P. 1107–1113*), при отсутствии сильной центральной власти частные войны оказывались едва ли не единственным средством ограничения произво-
- ла. Хотя они и сами могли быть его источником, именно они были в состоянии поддержать в какой-то мере принятые установления.
- ⁵⁹ Иногда приходится слышать недоумения по поводу стойкого внимания исследователей к так называемым хрестоматийным фигурам (к числу которых относится, конечно, и Бертран де Борн). Случаен ли этот интерес? Казалось бы, чем искать новые аспекты в истории давно исследуемых персонажей, не лучше ли анализировать «новые» сюжеты и еще не фигурировавших в исследованиях индивидов? Спору нет, найти новые грани в уже изучавшихся источниках и темах не просто. Однако хрестоматийные персонажи прошлого не так уж второстепенны для исторического познания, как может, на первый взгляд, показаться. Надо ведь «заслужить» включение в разряд подобных типажей! Для этого нужно было иметь какие-то такие черты, которые бы обратили на себя внимание современников, заставив их «запомнить» эту фигуру, включить ее в «историческую память» и отразить в текстах. Неудивительно, что и исследователи-историки пристрастны к подобным персонажам.

Ю.Л. Бессмертный

*Статья подготовлена
при финансовой поддержке РФНФ
(проект № 97–01–00244)*

Лето 1645 года: смена лиц на российском престоле

В 1598 г. умер последний царь из рода Рюриковичей – Федор Иоаннович. Традиция перехода царского престола от отца к сыну, таким образом, прервалась, и возникла новая – выбор самодержца Российского на избирательном Земском соборе при участии представителей от разных сословий. Такие Соборы, хотя и не в полном составе, произошли в 1598, 1606, 1610, 1613 гг., и их избранники получили самодержавную власть в свои руки. В 1645 г., со смертью царя Михаила Федоровича, возник вопрос о его преемнике. О том, как он был разрешен, трудно найти в литературе четкий ответ.

- 1 Историкам представляется, что и в 1645 г. должен был действовать избирательный Собор, они упорно ищут источники, подтверждающие это. Однако найденные материалы Л.В. Черепнин характеризовал как «сомнительного свойства» и как
- 2 «противоречивые». Действительно, упомянутые им сведения о Соборе 1645 г. исходят не из документальных источников, а из туманных высказываний современников, трактовать которые можно по-разному. Но все же это не помешало ему дать утвердительный ответ на поставленный им же вопрос «Был ли избирательный Собор 1645 г.?», поскольку нет других данных по этому поводу. Позволю себе в этом не согласиться с уважаемым историком. В нашем распоряжении достаточно источников, позволяющих реконструировать день за днем события лета 1645 г. Они помогают ответить на вопрос: «Как перешел российский престол от царя Михаила Федоровича Романова к его сыну царевичу Алексею Михайловичу?» и таким образом косвенно ответить и на вопрос: «Был ли собор 1645 г?».

Наша задача — рассмотреть казус, внесший серьезные политические изменения в жизнь России. Это перелом в уже бывшей устойчивой практике созыва избирательных соборов. Но он совпал по времени и вошел в тесное соприкосновение с другим важным событием, самим по себе имевшим необычайный характер, — выдачей замуж царевны Ирины Михайловны. Так, переплетение двух сюжетов делает наш казус двуединым и потому особенно интересным.

Смерть царя, государя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича Романова в возрасте 49 лет, в день собственных именин 12 июля 1645 г., поразила современников своей внезапностью. Как водится, поползли слухи о том, что государя «извели», «окормили». Однако придворные доктора знали, что уже с апреля царь недомогал и анализы показали — желудок, печень и селезенка у него не в порядке. Тем не менее Михаил Федорович появлялся на дворцовых церемониях и в церкви, и о его болезни знали немногие, но все понимали, что царь находится «в кручине» из-за сватовства своей дочери.

В чем же состояло дело о сватовстве царевны Ирины Михайловны, по поводу которого судили и ржали во всем Московском государстве и за его пределами?

Говорят, что история любит повторяться, и российская история являет тому много примеров, в их числе и интересующее нас событие. В свое время царь Борис Годунов решил нарушить московские обычаи и выдать дочь Ксению за герцога датского Ганса, по-русски — королевича Ягана. Приехав в Москву, жених тут же заболел и умер, а в его смерти заподозрили самого царя. Москвичи не горевали по Ягану, так как всегда с подозрением относились к иноверцам и не одобряли желания Годунова сблизиться с ними, но царская семья была в большой печали.

И вот тихий и робкий царь Михаил Федорович, освободившись от опеки своего отца патриарха Филарета, умершего в 1633 г., решился на смелый шаг — повторить попытку Годунова и выдать свою старшую дочь царевну Ирину за иноземца королевских кровей. Михаил Федорович и сам в молодые годы пытался свататься к иноземным принцессам, но неудачно. Теперь породниться с «Европой» было решено через дочь. После поисков и раздумий вновь остановились на «принце датском», видимо, с легкой руки Шекспира этим принцам было суждено смущать покой разных «королевств». В этот раз королевича звали Вальдемар, ему исполнился 21 год и он был сыном датского короля Христиана IV.

Очевидно, не только сам Михаил Федорович, но и какие-то неизвестные нам лица из его ближайшего окружения поддерживали идею этого брака, однако противников нарушения традиций, как всегда, было больше, особенно среди духовенства. Тем не менее Михаил пошел на конфронтацию. Брак царевны, конечно, не был только внутрисемейным делом — он имел далеко идущие последствия для всего государства, ибо в будущем давал возможности иноземным династиям претендовать на московский престол, а в настоящем — предполагал создание вокруг новой семьи своего двора с иноземным укладом, открывал в Россию более широкий путь иноземцам, а значит будоражил ее покой. И действительно, приезд королевича сразу всколыхнул московскую жизнь.

О событиях развернувшихся в Москве в 1645 г., — сватовстве Вальдемара, смерти Михаила Федоровича и воцарении Алексея Михайловича сообщают не только официальные источники, но и непосредственные свидетели как с русской, так и с датской стороны. Это дает нам возможность не только восстановить ход событий, но и взглянуть на случившееся «разными глазами». Что же это за источники? Во-первых, обширная приказная документация за это время, отражающая в бюрократическом варианте интересующие нас происшествия. Во-вторых, сочинение «С преставлении благочестивого государя... Михаила Федоровича и как... сын его государев... Алексей Михайлович учинился царем и великим князем...». Оно носит вполне официальный характер, имеет несколько редакций, сохранившихся неполностью. В-третьих, «Повесть о внезапной кончине... государя Михаила Федоровича, случившейся по безуспешному делу супружества княжны Ирины Михайловны с Вальдемаром королевичем» (один из вариантов названия), написанная в 1645 г. в Москве простым, но ученым монахом «по прошению и приуждению благоразумного и честного мужа». Не назвавший свое имя автор, вероятнее всего, — Иван Наседка — ключарь Московского Успенского собора, постригшийся в 1645 г. в Чудском монастыре. Он бывал с посольством в Дании и являлся яростным обличителем лютеран. Его произведение — это традиционная для древнерусской литературы «повесть о преставлении» (т. е. о смерти) и одновременно — политический памфлет, заказанный неким «благочестивым» вельможей хорошо владеющему пером монаху. И автор, и заказчик преисполнены негодования по отношению к идее брака царевны с Вальдемаром и враждебны к нему лично. В-чет-

вертых, это обширное сочинение на немецком языке, принадлежащее кому-то из свиты королевича Вальдемара. Анонимный автор подробнейшим образом записал события, происшедшие во время пребывания королевича в Москве и дополнил свой текст многим официальными документами, появившимися в ходе переговоров.

8

Все эти доселе малоизвестные источники в комплексе прекрасно дополняют друг друга, воссоздавая подробную картину событий, происшедших в Москве в 1645 г.

Шапка Мономаха



Королевич прибыл в Москву в конце января 1644 г. Это был его второй визит – первый раз он возглавлял датское посольство, посетившее Россию в 1640 г. В качестве жениха Вальдемар был встречен почетнейшим образом. Из многих городов страны для его встречи были даже специально вызваны служилые люди. По договору Михаила Федоровича с королем Христианом IV, Вальмару назначались в удел города Ярославль и Суздаль, он считался «старшим по царе и царевиче Алексее», ему и его людям была обещана свобода вероиспове-

9

10 дания и отсутствие принуждения в ношении русской одежды и прочих бытовых вещей.

Однако вопреки этому договору в Москве Вальдемару первым условием для заключения брака поставили его крещение в православную веру. Согласно московскому церковному законодательству, в 1620 г. утвержденному на церковном соборе патриархом Филаретом, заключение брака между православной женщиной и иноверцем (в том числе христианином другой конфессии) запрещалось под страхом расторжения такого брака и отлучения от церкви. Обычно иноземцы, жившие в России, при вступлении в брак с русскими подвергались повторному крещению.

11 Такое же требование выдвинули и перед королевичем, но он наотрез отказался от повторного крещения, так как уже был крещен по лютеранскому обряду (Аугсбургскому исповеданию) и повторное крещение считал кощунством. Русские, глубочайшим образом убежденные в единственной истинности своей веры и считавшие для себя невозможным ее перемену, никак не могли понять приверженности Вальдемара к лютеранству. Они даже подозревали, что истинная причина отказа королевича креститься — его боязнь, что царевна нехороша лицом и, может быть, по русскому обычаю выпивает. Вальдемар заверяли в том, что Ирина Михайловна, которую он так и не видел, девица красивая, умная и скромная, за всю свою жизнь ни разу не была пьяна. Упрямство царевича казалось в Москве странным, поскольку обычно выходцы королевских кровей из других народов (татары, нагайцы, кавказцы и др.), приняв в ней православие, пользовались большим почетом и уважением, пополняя собой ряды московского боярства. Национальность для русских того времени в сущности не имела значения, они считали важным только вероисповедание.

12 Конфликт с Вальдемаром тут же породил «прения о вере» с датчанами. Сам патриарх Иосиф написал к королевичу догматическое послание, убеждающее в необходимости нового крещения путем троекратного погружения; принимал участие в прениях с пастором Вальдемара Максимом и Иван Наседка. Однако некоторые лица при дворе во главе с князем С.И. Шаховским полагали, что возможно заключить брак и без крещения, и искали в каноническом праве какие-то лазейки для такой процедуры, за что Шаховскому, и не только ему одному, пришлось долгие годы провести в ссылке. Шаховской опрометчиво намекнул однажды, что поступал он так по желанию

самого Михаила Федоровича, и, возможно, это было недалеко от истины.

Чтобы уговорить королевича, прибегали к самым разным средствам. Приставленный к Вальдемару родной брат царицы Семен Лукьянович Стрешнев пытался войти в доверие к близким королевичу людям из его свиты, искал повода выпроводить из Москвы лютеранского пастора, чтобы тот «не сбивал» королевича с пути. Совсем отчаявшись, Стрешнев прибег к последнему средству — попробовал влиять на жениха с помощью колдовства и ворожбы. Позднее это открылось, и Стрешнев оказался в опале, был лишен своего придворного чина «кравчего».

Сам царь Михаил Федорович и его 15-летний сын Алексей показывали королевичу свое крайнее расположение и в то же время не делали никаких уступок в вопросе о вере. Вальдемар иногда приглашался за царский стол и в свою очередь принимал у себя Михаила Федоровича с Алексеем «по немецкому обычаю». Датский аноним подробнейшим образом описывает один из таких визитов 17 сентября 1644 г. Это место его сочинения уникально для записок иностранцев о русском дворе, поскольку все другие иностранные авторы видели государей на строго официальных посольских приемах в окружении бояр. В данном же случае встреча носила скорее дружественный, частный характер, царь сам находился в гостях. Все, что не соответствовало русским обычаям (например, в присутствии высочайших персон датская свита осталась при оружии), вызывало у московских гостей и любопытство и настороженность. Михаил Федорович, любивший и при своем дворе светскую музыку, заинтересовался инструментами оркестра, не раз просил сыграть музыкантов еще и еще. Он рассматривал и брал в руки различные заморские вещи, например шпагу и шляпу королевича. Головными уборами царь с королевичем якобы даже обменялись (в чем можно усмотреть глубоко символический смысл).

Чем чаще наполнялись кубки, тем более возрастала взаимная дружба и «такое увеселение продолжалось несколько времени; со стороны царя и царевича великая любовь и расположение к графу изъяслялись в очень ласковых словах, телодвижениях и объятиях». Присутствовавший здесь же при царевиче Алексее боярин Борис Иванович Морозов несколько раз переводил разговор на больной вопрос о смене веры, это омрачало веселье; «тогда встал, наконец, царевич, схватил его за кафтан на груди и велел идти вон».

13

14

15

16

Автор записок явно сгущает краски, желая показать, как был всеми любим его господин Вальдемар. Но в целом его повествование, несмотря на нелепость ситуации, в которую попали в Москве датчане, не пропитано враждебностью и презрением к «москвитам», чем, например, отличались записки соотечественника датчан Ульфельда, посетившего Москву при Иване Грозном. Аноним иногда посмеивается и подтрунивает над русскими обычаями. Примечательно, что такие случаи вызывают взрыв патриотического негодования переводчика и публикатора его записок на русском языке, господина А.Н. Шляпкина, который столь же суров, как и его предки, когда дело касается православных традиций. Например, на замечание датского автора: «Патриарх был в белой шапке с длинными и широкими наушниками, которые... придавали ему некоторое сходство с охотничьей собакой», Шляпкин в примечаниях дает собственную сердитую ремарку: «Протестантская заморская любезность, распинающаяся по вере и не уважающая служителей ея!».

Но «вернемся на прежнее». Если Михаил Федорович лишь изредка встречался с Вальдемаром, то царевич Алексей приходил к нему часто. Молодые люди вместе охотились, Алексей приглашал Вальдемара то посмотреть на шествие послов по Москве, то принять участие в медвежьей потехе, они постоянно «угощали» друг друга и проводили время «в любви и дружеском расположении». Были ли эти встречи чисто официальными, или царевич Алексей стремился к живому общению с юношей, близким по возрасту и ровней, любопытствовал узнать людей другой культуры, что в дальнейшем проявилось с такой силой в его сыне, царе Петре I? Мы вправе предполагать последнее, ибо и здесь, в царском дворце, находили выражение две противоположные черты, свойственные русской действительности и особенно проявившиеся в XVII в.: отчуждение от всего иноверного и, одновременно, жгучий интерес к нему.

Так как брак не хотели заключать на датских условиях, Вальдемар просил отпустить его из Москвы, но каждый раз получал твердый отказ, царь писал ему: «Мы отпускать Вас никогда не обещались, потому что отец Ваш прислал Вас к нам во всем в нашу государскую волю, и Вам, не соверша великоначатого дела, как ехать?». Вальдемар пытался тайно бежать из Москвы, но вырваться из ее стен ему не удалось.

Итак, в июле 1645 г. королевич Вальдемар уже полтора года жил в Кремле, а вопрос о браке полностью зашел в тупик.

12 июля Вальдемару передали вести от находившегося в Москве польского посла, с которым королевич имел тайные сношения. Поляк сообщал, что «будто бояре толкуют и положительно говорят: что ни делай графская милость, а они его никогда не отпустят».

20

Но 13-го рано утром зазвонили по всей Москве колокола и известили народ о том, что государя, царя и великого князя Михаила Федоровича волею Божиею не стало, оставил он земное царство и отошел в вечное блаженство. Что же произошло в эту ночь в царском дворце? Пришедши в церковь на заутреннюю службу, Михаил Федорович не смог достоять ее до конца, ему сделалось дурно, и его унесли в покои. Планировавшиеся именные торжества были отменены. К ночи ему стало совсем плохо. Царь призвал к себе жену, сына, патриарха, боярина Морозова и других ближних бояр и сказал им: «Уже бо отхожу от вас», благословил Алексея на царство, наказал патриарху совершить обряд помазания. Затем причастился, всех расцеловал и «отъиде... яко неким сладким сном успе». Так повествует о кончине Михаила Федоровича книга «О преставлении...», упоминавшаяся выше. Видимо, ее первая редакция составлялась под руководством боярина Морозова, который вставил в нее особое обращение к нему царя с просьбой по-прежнему опекать и оберегать его сына. Позднее все места, связанные с именем Морозова, оказались из текста вычеркнутыми.

21

Едва царская душа успела расстаться с телом, бояре и патриарх Иосиф, «нимало помедлив», «тое же ночи и того часа, стада приставися к Богу», начали проводить присягу и целовать крест царевичу. Из Успенского собора принесли животворящий крест Господень, а из Разрядного приказа – крестоприводную запись, т. е. текст присяги, и тут же ближние люди, по сути вся правительственная верхушка, присягнули новому царю – Алексею Михайловичу.

22

Обратимся к самой крестоцеловальной записи, которую принесли во дворец из Разрядного приказа в ночь смерти царя, ибо документы, связанные с проведением присяги, сохранились в фонде этого приказа, но до сих пор не были исследованы. В них имеются две крестоприводные (крестоцеловальные. — *О.К.*) записи. Первая, старая, составлена на имя царя Михаила Федоровича, Евдокии Лукьяновны и детей: Алексея Михайловича, его сестер и тех детей, «каких Бог даст». Ее текст несколько отличен от той присяги, которая давалась в 1613 г., так как многие обстоятельства изменились, ушли в

23

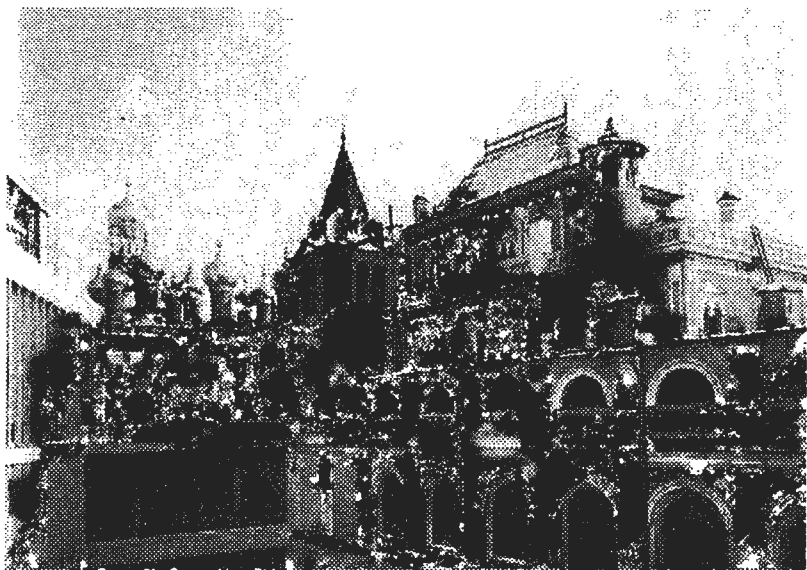
прошлого события Смуты, нашедшие отражение в присяге. По этому тексту присягали вновь поступившие на царскую службу. Крестоприводная имеет дату — 1645 г., т. е. она составлена незадолго до смерти царя.

24 Вторая крестоприводная запись, помещенная вслед за первой, повторяет тот же текст, но составлена она на имя царицы Евдокии Лукьяновны и царевича Алексея Михайловича. В заголовке было оставлено пустое место для даты, приписанной другим почерком позднее — «в нынешнем 1645 году».

25 Таким образом, можно сделать несколько предположений. Первое — крестоприводная запись была составлена еще при жизни Михаила Федоровича (об этом говорит отсутствие в ней даты) и по его указу. Он сознательно поставил на главное место в присяге имя Евдокии Лукьяновны, которая должна была неофициально опекать Алексея Михайловича, который хотя и был молод, но уже достиг совершеннолетия. Второе — эта крестоприводная запись была составлена спешно той же 26 ночью на основе старого текста присяги Михаилу Федоровичу, его имя исключили чисто механически, поэтому имя Евдокии оказалось первым. Следует напомнить, что впервые женщина, царская вдова, фигурировала в присяге после кончины царя Федора Иоанновича — это была его жена Ирина Годунова. В то время такая присяга показалась современникам делом необычным, произошедшим вследствие интриг Бориса Годунова. Но так же поступил и Федор Годунов, поставив в присяге себе на первое место имя своей матери вдовы царицы Марии Годуновой. Последовал тем же путем и Лжедмитрий I, который заставил присягать, кроме себя и своей «матери», вдове Грозного старице Марфе. Понятно, что мать Михаила Федоровича, будучи не царского рода, в его крестоцеловальной 1613 г. не упоминается. Но ко времени составления присяги Алексею Михайловичу введение в нее имени вдовой царицы, видимо, уже считалось «за обычай».

Так или иначе, но присягавшие ночью во дворце ближние люди целовали крест в первую очередь царице Евдокии, но позднее, видимо, бояре решили в крестоцеловальной сделать поправку: 14 июля глава Боярской думы Федор Иванович Шереметев велел дьякам поставить на первое место в тексте присяги имя Алексея Михайловича, а затем уже имя его матери. И действительно, мы видим, что текст присяги, согласно указанию, дьяком перечерчен.

Таким образом, закрадываются сомнения в том, что присяга во дворце прошла так спокойно, как об этом рассказывает книга «О преставлении... Михаила Федоровича...», она сопровождалась спорами по поводу места и роли царицы в грядущем правлении Алексея.



Теремной дворец Московского Кремля.
Северный фасад.
Совр. фотография

Примечательно, что автор этой книги не упоминает каких-либо царских распоряжений относительно царицы, он с нею только нежно прощается, а по-прежнему опекать юного Алексея просит его дядьку Бориса Морозова. Вполне вероятно, что произведение составлялось по указу самого Морозова, когда он стал действительно вместе с Алексеем руководить государством. Первоначальная редакция содержала не один дифирамб Морозову, в последующих редакциях они оказались вычеркнутыми.

Вся процедура присяги во дворце прошла молниеносно, и уже 13 июля, утром, страна имела нового государя. Как отметил датский аноним: «В продолжение 10 часов Россия видела своего великого князя живым и умершим и посадила нового на

его место». По его свидетельству, Михаила Федоровича погребли в соборе Михаила Архангела 15 июля около пяти утра.

Начавшаяся ночью 13 июля во дворце, процедура присяги утром продолжилась в Московских соборах: «все чины московские крест целовали». Ко кресту на Москве приводили «Чудовский архимандрит Кирилл, да боярин князь Никита Иванович Одоевский, да окольный князь Семен Васильевич Прозоровский, да думный разрядный дьяк Михаил Волошеинов». Месяц спустя оказался в опале и ссылке стольник князь Иван Хованский; среди прочих предъявленных ему обвинений, о которых мы еще скажем ниже, находилось и следующее: «Да тебя ж, князя Ивана, привели к крестному целованью сильно, как целовали крест великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси самодержцу, и в том во всем твое воровство и измена явилась». Однако мне представляется, что на князя возвели поклеп, так как он сам, среди прочих, был назначен приводить к присяге население городов Вязьмы и Можайска. Указ об этом появился уже 14 июля утром, в нем повелевалось послать гонцов «во все полки и во все города для своего государева и земского дела» — крестоцелования». На плечи разрядных подьячих легла большая работа на переписке текста наказа гонцам и самой присяги для множества российских городов. Она заняла несколько дней. Именно в этот момент боярин Ф.И. Шереметев и внес поправку в текст присяги, поставив Алексея на первое место.

Сам текст присяги в целом был составлен по образцу аналогичных крестоприводных записей прежних государей, но с определенным редактированием. Каждая присяга обычно требовала от подданных отказа от других претендентов на престол — у Бориса Годунова в таком качестве фигурировал Симеон Бекбулатович, у Лжедмитрия I — Фелька Годунов, у Михаила Федоровича в 1613 г. — Маринка с воренком и Заруцким. В присяге Алексею Михайловичу никаких конкретных имен не приводилось, что свидетельствует о стабилизации положения на российском престоле. Формулировка этого места была следующей: «Опричь Государя своего... на все великие Государства Российского царствия [...] иного государя из иных государств, Польского и Литовского и Немецких решь-королей и королевичей, из розных земель царей и царевичей, и из русских родов никого не хотети». Слова о «королевичах» если и не прямо, то косвенно касались Вальдемара, который в случае брака с царевной и возможной бездетности Алексея после

смерти последнего мог бы претендовать на престол. Текст присяги почему-то не упоминал детей Алексея Михайловича, «которых ему, государю, вперед Бог даст», как это было в крестоцеловальной Бориса Годунова и Михаила Федоровича.

Текст присяги сводился к следующему: я, имярек, целую крест Господень государю своему царю и великому князю Алексею Михайловичу и его государеве матери в том: служить «справду», «безо всякия хитрости», государево здоровье оберегать и никакого лиха на государево здоровье не мыслити и «опричь Государя своего на царство никого не хотеть» (см. выше), доносить о всяком злом умысле на государя, служить на той службе, на какой государь велит, и со всеми врагами, «которые государю непослушны, битись за него, государя, не щадя головы своей до смерти». В другие государства не отъезжать и без отпуска со службы не съезжать, с изменниками не ссылаться и ни в чем государю не изменять «ни которыми делы». Самовольством, скопом и заговором ни на кого не приходиться, никого не грабить и не побивать, по свойству или дружбе никому не покрывать, а по недружбе — ложно не сказывать. И во всем честно служить и добра хотеть. Для всех думных и дворовых чинов к общей присяге добавлялась еще особая для каждого припись, связанная с его службой. Например, кравчий, подававший блюда царю за столом, целовал крест на том, чтобы ничем его, государя, в естве и питье не испортити».

Важнейшим актом в процессе проведения присяги было крестоцелование войска, стоявшего в то время в Туле «для приходу крымского царя и крымских и ногайских людей». В течение лета 1644 и 1645 гг. южная граница России подвергалась набегам крымчан и ногайцев, которых провоцировала Турция. Целью этих молниеносных налетов был грабёж и погром. Летом 1645 г. по вестям ждали большого нападения из Крыма, и войско под предводительством князя Я.К. Черкасского стояло в полной боевой готовности.

17 июля к нему прибыл из Москвы князь Ал.Н. Трубецкой «для государского и земского великого дела» — приведения войска к присяге, что и было исполнено в тот же день в тульском соборе при участии игумена Предтеченского монастыря и протопопа этого собора. Текст присяги повторяли вслух за читающим, потом подходили ко кресту. Священнослужители держали крест, «переменяясь»: процедура шла без перерыва весь день. Уже на следующий день отчет Трубецкого об успешном завершении присяги был в царских руках. Дьяк пометил

37

38

39

40

на его обороте, что 18 июля «государь сия отписки слушал и указал послать на Тулу стольника князя Бориса княж Иванова сына Троекурова» с милостивым словом для Трубецкого и с похвалой всему войску. 19 июля Троекуров выехал в Тулу. Здесь он первым делом собрал «генералитет» в съезжей избе и говорил от царского имени благодарственную речь. Тем временем служилые люди всех чинов, находившиеся в Туле, собрались у избы, и Троекуров обратился к ним со следующими словами: «Государь, царь и великий князь всея Руси, вас, стольников и стряпчих, и дворян московских и жильцов, и дворян, и детей боярских украинских и замосковных городов, и тульских приказных людей, и голов, и сотников стрелецких, и иноземцов, и стрельцов, и казаков, и всяких служилых людей пожаловал, велел вас о здоровье спросить за то, что вы великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси и ево государыне матери благоверной государыне царице и великой княгине Евдокие Лукьяновне крест целовали, милостиво похваляем». «Изговоря» все это, Троекуров тотчас вскочил на коня и ускакал в Москву: молниеносность его приезда была рассчитана на особый эффект.

Юный царь в эти дни, судя по пометам на документах, сам внимательно следил за ходом присяги. Когда Трубецкой написал, что иноземцев ему велено приводить ко кресту «по их вере», а для этого требуются их священнослужители, Алексей Михайлович сам «слушал сия отписки о немцах и татарах» и нужных лиц срочно велел послать в Тулу. Князь А.Н. Трубецкой — один из близких людей к Б.И. Морозову — прекрасно выполнил свою ответственную миссию и был первым, кого Алексей Михайлович пожаловал боярским чином.

В других городах присяга шла несколько медленнее, так как приходилось собирать служилых людей в административный центр из разных полков. Так, 23 июля в Брянск прибыл для крестоцелования князь Василий Волконский. Городской воевода П. Ромодановский отвел ему двор и выделил подьячих, а сам послал в уезд стрельцов «по дворян и по детей боярских», чтобы те тотчас к Волконскому явились. 31 июля Волконский уже отписал в столицу, что к нему прибыли брянчане, почеповцы, стародубцы, рословцы и трубчане — дворяне и дети боярские, а также стрельцы, казаки и сотники, губные старосты и проч., и все царю крест целовали. Подобные отписки поступали из всех городов, и к началу августа присяга фактически была принята всем служилым сословием России. Крест цело-

вали Алексею Михайловичу не только служилые люди, но и представители иных сословий — клир, посадские, крестьяне, бобыли, вольные работные люди и др. Судя по отпискам, присяга в целом проходила мирно и спокойно. Отмечаются всего два казуса. 45

В Рязани сын боярский Дементий Гололобов вместо присяги «неизвестно что шептал», его заставили текст повторить, он опять говорил неотчетливо, лишь отдельные слова. Его на всякий случай воевода кинул в тюрьму, а его знакомым учинили распрос: нет ли у Дементия какой болезни или дефекта речи, но ничего такого прежде никто не замечал, и его в третий раз заставили прочесть крестоцеловальную запись отчетливо и опять отправили в тюрьму — «до указа». Чем было вызвано поведение Гололобова — политическими соображениями или похмельем — остается только гадать. Другой сын боярский, Пешков, выйдя из церкви после присяги, произнес «непригожее слово» против царицы Евдокии Лукьяновны. Слышавшие это тут же донесли. Но чем досадила ему царица, также осталось неясным. 46 47

Таким образом, процедура принятия присяги населением была проведена очень быстро и организованно, что далеко не всегда наблюдалось в неторопливых действиях российского государственного аппарата. И потом в подобных ситуациях все проходило столь же быстро: и Федора, и Петра Великого нарекали царем и крест им целовали буквально сразу же после кончины предшественника, в государевых хоромах. Однако во время присяги Петру I не все прошло гладко: «Учинились сильны и креста не целовали стрельцы Александрова приказу Карандеева». С этого начался стрелецкий бунт. 48

При дворе после похорон соблюдался сорокадневный траур по царю Михаилу Федоровичу, но политическая жизнь не замерла. Служебных перемещений пока не было, за исключением одного: 26 июля воеводой в Новгород был послан царский кравчий Семен Урусов, т. е. по каким-то причинам он был удален из Москвы. В народе поговаривали, что это он якобы «окормил» царя Михаила Федоровича. 3 августа были посланы гонцы во все окрестные государства с извещением о воцарении на российском престоле нового царя Алексея Михайловича Романова. 49 50

В августе быстро разрешились два зашедших было в тупик внешнеполитических дела. 9 августа был отпущен польский посол Стемпковский вместе с самозванцем Иваном Лубой.

Несчастный шляхтич Луба, самозванец поневоле, был выращен с детства в Польше как сын Марины Мнишек, из него готовили нового Лжедмитрия. По требованию русского правительства Луба был привезен поляками в Москву, но посол его не выдавал, так как польские дипломаты считали Лубу лично ни в чем не виновным, жертвою обстоятельств. Теперь же он был отпущен в Польшу «под честное слово» польского короля.

3 августа в присутствии Боярской думы и высшего духовенства царь и патриарх в последний раз просили королевича Вальдемара принять православие, хотя вопрос об его отпуске из Москвы в случае отказа был уже решен, только царица выражала с этим несогласие. 13 августа Алексей Михайлович торжественно объявил Вальдемару, что его отпускают из Москвы с такой же честью, с какой он был встречен. Действительно, провожали королевича очень пышно, с богатыми дарами, с угощением, с почетным эскортом.

Таким образом, благодаря уступкам, были сохранены дружественные отношения с Польшей и Данией и удалены из Москвы два человека, Луба и Вальдемар, присутствие которых накануне венчания на царство было совсем нежелательно и могло вызвать различные кривотолки. 22 августа кончился сорокадневный траур по Михаилу Федоровичу, и вскоре должна была состояться процедура венчания Алексея Михайловича на царство, но ее пришлось отложить: 18 августа умерла государыня царица Евдокия Лукьяновна.

Царица была потрясена смертью мужа, «и никтоже можаше утолити плача ея, дондеже и живота своего гонзнула». Государыню также, видимо, обидело боярское решение оттеснить ее на второй план, что нашло отражение в изменении текста присяги, и, конечно же, расстраивало несостоявшееся замужество дочери с королевичем. Алексей Михайлович, по словам датского анонима, уговаривая Вальдемара, говорил о своей матери: «День деньской она все плачет переставаяочи, так что не видит уже и света Божьего». От всех бед царица «впаде в скорбь и печаль велию и болезнию разболеса и начат болезновати». Но непосредственной причиной смерти Евдокии Лукьяновны Иван Наседка считал известие об отпуске Вальдемара: «Слышавши же она от сына своего таковое речение, что отказ тому нечестивому королевичу, и паки болезнию и печалию одержима бысть, яко желание ее не совершися вконец, и абие преставися». Вальдемар уехал на следующий день после ее похорон.



Теремной дворец. Опочивальня.
Совр. фотография

В рассказе Наседки об истории сватовства Вальдемара проглядывает очень глубоко скрытый намек на то, что внезапная смерть Михаила Федоровича и «через пять седмиц» последовавшая кончина его жены явились Божьей карой за приглашение королевича. Основной его вывод из случившегося: «Да престанем неверных в дружбу призывати и с ними любиться», так как это приводит к несчастьям для всей русской земли. Наседка выражал восторг по поводу того, как новый царь быстро спровадил из Москвы Вальдемара, но сожалел, что последний так легко отделался: «...нелепо случися, яко таковой враг насмеяся и обогатися, во свою землю отыде, ничим же вредим — да уж несть чем помощи». Если бы сам Господь не удержал королевича от крещения и свадьба бы состоялась, то, вероятно, произошло бы следующее, резонно замечает наш писатель: «...аще бы и зять был нынешнему государю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, но обаче выше бы себе добра восхотел с своими державцы с погаными немцы, восхотел бы болшей властец быти и царством владети и смуту и крамолу ученил велику зело». Видимо, многие в Москве, особенно духовенство, разделяли эту точку зрения и вздохнули с облегчением, когда карета королевича пересекла границу русского государства.

53

Чтобы оправдать отступление от воли покойных царя и царицы в отношении отказа в отпуске Вальдемару, вина перекладывалась на тех, кто якобы долго вводил их в заблуждение относительно возможности заставить в конечном счете королевича креститься. Об этом ярко свидетельствует уже упоминавшееся выше обвинение, выдвинутое против князя И. Н. Хованского и его тетки княгини Марьи, которые якобы говорили царю «поманные слова», что им «подлинно ведомо, что королевич крестница». Именно из-за этих внушений «королевич в Москве задержан и из-за того учинились проторы и убытки великие». 22 августа Хованскому была объявлена ссылка в Сибирь, заменившая смертную казнь.

54

Похоронив мать в Вознесенском девичьем монастыре, царь Алексей ушел в Троицу постом и молитвой готовиться к принятию царского венца.

Венчание Алексея Михайловича на царство состоялось 28 сентября, на Харитона Исповедника, на следующий день после окончания сорокадневного траура по царице-матери. Это был торжественный обряд, совершаемый патриархом в Успенском соборе, во время которого осуществлялось миро-

помазание и новому монарху вручались царские регалии — скипетр, держава, венец и крест, полученные, согласно легенде, от византийского императора Владимира Мономаха.

Во втором часу дня Алексей Михайлович вышел из царских хором в Золотую палату, где его в сенях встречали бояре и чиновные люди в золотом платье. В это же время в соборе, где был установлен «царский чертог, сиречь высокое место» из персидского золота «с камнями», собрались все церковные иерархи во главе с патриархом Иосифом. Царь со свитой прошествовал из дворца в собор «со всяким благочинием». Совершился торжественный внос в собор царских регалий, принесенных ближними людьми.

Начался молебен, после которого царь и патриарх сели на чертожное высокое место, по правую сторону от них расположились бояре, по левую — духовный чин. Тут Алексей Михайлович произнес речь, обращенную к патриарху: он сделал краткий исторический экскурс в прошлое — от Рюрика до Мономаха и до «деда» своего Федора Иоанновича, остановился на событиях Смуты и венчании своего отца Михаила Федоровича, помянул добрыми словами его царствование и обратился к патриарху с просьбой теперь совершить обряд над ним, законным наследником российского престола, — миром помазать и царским венцом, бармами и диадемою венчать. Патриарх произнес ответную речь, которая как эхо повторила сказанное царем. Затем он одарил царя крестом животворящего древа и возложил его на царскую выю, затем возложили на него бармы, венец, дали в руки яблоко (державу) и скипетр. Последовало поздравление от бояр, после чего патриарх обратился к царю с душеполезным поучением. В том числе он сказал: «Глаголет бо Господь Бог пророкам: Аз воздвигох тя, царя правды, и приях тя за руку и укрепих тя. Сего ради слышите царие и князи и разумеите, яко от Бога дана бысть держава вам и сила от Вышняго; вас бо Господь Бог в Себя место избра на земли, и на свой престол вознес и посади, милость и живот у вас положи. Вам же подобает, приемше от Вышняго повеления правления человеческого ради православным царем, не токмо о своих пещися и свое точно правити, но и все обладаемое от греволнения спасати и соблюдати стадо его от волков невреждимо, и бояться серпа небесного...». Именно так всю жизнь царь Алексей и ощущал себя: человеком, призванным Богом пещися о своем православном «стаде» и держащим перед Богом ответ за него.

После патриаршего поучения был снова молебен, а затем началась обедня, во время которой был совершен чин миропомазания. Царь «стоял всю обедню во всем своем царском сане». По окончании обедни царь со свитой прошествовал в Архангельский собор, тут на площади их встречал народ: «всенародное многое множество бесчисленное православных христиан стояху кийждо во своем месте со страхом и трепетом, со мною сердечною радостью». Затем царь прошел в Благовещенский собор, и на этом церковная часть церемонии закончилась, начался пир в Грановитой палате «зело Chesный и великий». В честь царского венчания раздавались богатые дары, кормили нищих, облегчали участь тюремных сидельцев. В день венчания и последующие дни царь произвел многочисленные пожалования в думные чины — вокруг него начала складываться новая придворная элита, и во главе нее оказался царский дядька, ставший ему «в отцово место» — боярин Борис Иванович Морозов.

Итак, наш рассказ о событиях, следовавших за кончиной Михаила Федоровича, может благополучно завершиться на том, что был устроен «пир на весь мир». Однако некоторым современникам, тем, кому уже представлялось «за обычай» избирать царей посредством Земских соборов, восшествие на престол Алексея Михайловича казалось излишне поспешным. Ведь по смерти царя Федора Иоанновича три претендента на царский престол — Борис Годунов, Василий Шуйский и Михаил Федорович — избирались при участии представителей «всей земли». Адам Олеарий, ученый и путешественник из Голштинии, писал: «Это коронование, по стараниям вельможи Бориса Ивановича Морозова, ...по некоторым причинам должно было совершиться так быстро, что не все в стране, кто желал, могли явиться для присутствия на нем». Олеарий покинул Россию в 1643 г. и о данных событиях писал со слов приехавших в Голштинию русских посланников, следовательно, отразил их мнение. Оно созвучно и некоторым другим свидетельствам. После царского венчания было подано несколько доносов. Один из них — на дворянина Михаила Пушкина, который говорил, что царь Алексей «на Московском государстве учинился не по их выбору». Другой донос — на шацкого мурзу Федота Бердишева, высказавшегося так: «Не довелось де было быть на Московском царстве... Алексею Михайловичу... посадить де было на государство Московское королевича Датского, который был на Москве...». Однако, очевидно, это было

единичное мнение, возможное именно для мурзы: он мог и пренебречь иноземством королевича и его нежеланием принимать православие. Характерен ответ Бердишеву на его рассуждения крестьянина Сеньки Коновалова: «У тебя де дети есть, и только де после тебя детям твоим поместья твоего не дадут, и им какво будет?». Именно так, как акт вполне естественный и законный, соответствовавший древним нормам наследственного права, и рассматривался большинством населения переход царской власти к Алексею Михайловичу. По словам Ивана Наседки, «Бог его, государя, избрал, и от всего христианского народа возлюблен бысть и возведен на царский престол великого сего московского государства, всем нам православным христианам люб и приятен, понеже царская отрасль, истинный царев сын».

Боярская Дума без колебания целовала крест Алексею и не потребовала с царя никаких ограничительных записей, как это было с Василием Шуйским и, возможно, с Михаилом Федоровичем. Подьячий Г. Котошихин — современник описанных событий — объяснял это тем, что Алексея Михайловича «разумечи гораздо тихим», похожим на своего тихого же отца, который «без боярского совету не мог делать ничего». Собственно в такой записи, несколько ограничивавшей царский произвол, были заинтересованы только близкие к престолу круги боярства, простых же людей больше волновал вопрос об ограничении собственно боярского и воеводского произвола на местах. Гарантию такого ограничения там видели в сильной царской власти, умевшей держать бояр в страхе и трепете. Именно поэтому ограничительная клятва царя Василия Шуйского не вызвала восторга в городах Русского государства. Ведь «этот царь вместо того, чтобы являться грозой боярства, как Иван Грозный, заявляет о намерении вершить дела только после совета с боярами. Нужен ли такой царь народу?».

Сегодня с сожалением можно говорить о том, что зернышко «демократизма», начавшее прорастать на русской почве в Смутное время, так и не сумело пустить крепкий корень и с восшествием на престол Алексея Михайловича погибло. Но то, что у нас теперь вызывает справедливую досаду, совсем иначе расценивалось большинством современников. Они благодарили Бога за то, что он даровал прямого и законного наследника и нет споров и раздоров по поводу его избрания, ибо то совершается Божьим произволением, а не людским желанием.

Современники событий 1645 г. также вряд ли могли бы согласиться с мнением ученых о том, что вопрос о престолонаследии после смерти Михаила Федоровича оказался «тягостно запутан», ибо документы об избрании Михаила Федоровича 1613 г. его не регламентировали. Алексей Михайлович был единственным законным наследником, и прецедента для обсуждения его кандидатуры фактически не существовало, тем более что уже в присяге Михаилу Федоровичу говорилось о верности не только ему самому, но и его детям. Потому-то историки и не могут отыскать в источниках каких-либо определенных следов избирательного собора 1645 г. — его просто не было. Произошел возврат к прежней традиции прямого наследования престола от отца к сыну.

Такой вывод заставляет задуматься, не ввели ли мы в заблуждение читателя. Видимо, в ряду «казусов воцарения» казусом необычным можно в первую очередь посчитать не сюжет с восшествием на престол Алексея Михайловича, а предшествующие ему случаи соборного избрания российских государей, и именно им в первую очередь место на страницах «Казуса». Однако о них написано немало. Наш же сюжет, представлявший-ся до сих пор весьма малопримечательным, в исторических трудах оказывался достойным упоминания не более чем в двух строках. Будем надеяться, что более обширное повествование на эту тему убеждает в том, что она не только интересна событиями напряженными и отразившими дух времени, но и значима как казус, поставивший точку в истории избирательных Земских соборов.

Примечания

- ¹ Черепнин Л.В. Земские соборы русского государства в XVI—XVII вв. М., 1978. С. 272—274.
- ² Там же.
- ³ Бахрушин С.В. Политические толки в царствование Михаила Федоровича // Труды по источниковедению, историографии и истории России эпохи феодализма. М., 1987. С. 111—112.
- ⁴ См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1961. Т. 5. С. 255.
- ⁵ Временник Московского Общества истории и древностей Российских. (Далее: МОИДР). М., 1853. Кн. 17.
- ⁶ Голубцов А. Памятники прений о вере, вызванные делом королевицы Вальдемара и царевны Ирины Михайловны // Чтения в Обществе истории и древностей российских. (Далее: ЧОИДР). 1892. Вып. 2.
- ⁷ Кузнецов И.И. Святые блаженные Василий и Иоанн Христа ради московские чудотворцы. М., 1910 (Записки московского археологического института. Т. 8). С. 447; Цветаев Д. Протестанство и про-

- тестанты в России до эпохи преобразований. М., 1890. С. 475.
- ⁸ Два сватовства иноземных принцев к русским великим князьям в конце XVII ст. / Пер. с нем. А. Шляпкина // ЧОИДР. 1867. Вып. 4.
- ⁹ Шербачев Ю.Н. Материалы по истории древней России, хранящиеся в Копенгагене (1326-1690) // Там же. 1893. Вып. 1. С. 221, 224 и др.
- ¹⁰ Российский государственный архив древних актов. (Далее: РГАДА). Ф. 210. Московский стол. № 1118(III).
- ¹¹ См.: Булычев А.А. О публикации постановлений церковного собора 1620 г. в мирском и иноческом «Требниках» (1639 г.) // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 2. М., 1989. С. 48.
- ¹² См.: Голубцов А. Прения о вере, вызванные делом королевича Вальдемара и царевны Ирины Михайловны. М., 1891.
- ¹³ Два сватовства иноземных принцев... С. 15, 33, 40, 64.
- ¹⁴ РГАДА. Ф. 141. 1647 г. № 66; Ф. 6. № 1.
- ¹⁵ Два сватовства иноземных принцев... С. 25.
- ¹⁶ Там же. С. 27.
- ¹⁷ Там же. С. 63.
- ¹⁸ Там же. С. 27, 30.
- ¹⁹ Соловьев С.М. Указ. соч. С. 245.
- ²⁰ Два сватовства иноземных принцев... С. 60.
- ²¹ Временник МОИДР. Кн. 17. С. 204-207.
- ²² Там же. С. 208-209.
- ²³ РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 201.
- ²⁴ Там же. Л. 579-585.
- ²⁵ Там же. Л. 362.
- ²⁶ Там же. Л. 585-590.
- ²⁷ Два сватовства иноземных принцев... С. 61-62.
- ²⁸ РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 201. Список присягнувших к 21 июля стольников и дворян московских. См. л. 364.
- ²⁹ Дворцовые разряды. Спб., 1851. Т. 2. Стб. 2 (по книге «О преставлении благочестивого государя... Михаила Федоровича» — дьяк Ларионов).
- ³⁰ Кошелева О.Е. Приговор князю Ивану Никитичу Хованскому // Архив русской истории. М., 1994. Вып. 5. С. 143.
- ³¹ Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 4.
- ³² Там же.
- ³³ Акты археографической экспедиции. (Далее: ААЭ). Спб., 1836. Т. 2. С. 58-59.
- ³⁴ Собрание государственных грамот и договоров. (Далее: СГГид). М., 1819. Ч. 2. С. 202.
- ³⁵ Дополнение к актам историческим. (Далее: ДАИ). Спб., 1846. Т. 2. С. 1.
- ³⁶ СГГид. М., 1822. Ч. 3. С. 421.
- ³⁷ Там же.
- ³⁸ РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 201. Л. 597 (см. также: Древняя российская вивлиофика. М., 1789. Т. 8).
- ³⁹ Новосельский А.А. Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII века. М.; Л., 1948. С. 347-348.
- ⁴⁰ РГАДА. Ф. 210. Московский стол. № 201. Л. 24.
- ⁴¹ Там же. Л. 24об.
- ⁴² Там же. Л. 30-33.
- ⁴³ Там же. Л. 34об.
- ⁴⁴ Там же. Л. 40-43об.
- ⁴⁵ РГАДА. Ф. 210. Оп. 21. № 50. Книга крестоприводная за сентябрь 1645 г.
- ⁴⁶ Там же. Л. 22-23.
- ⁴⁷ Там же. Л. 333-335.
- ⁴⁸ См.: Восстание в Москве 1682 г. Сб. документов. М., 1976. С. 9.
- ⁴⁹ Дворцовые разряды. Т. 2. Стб. 3.
- ⁵⁰ Бахрушин С.В. Указ. соч. С. 112.
- ⁵¹ Временник МОИДР. Кн. 17. С. 208.
- ⁵² Два сватовства иноземных принцев... С. 62.
- ⁵³ Голубцов А. Памятники прений о вере... С. 11-17.

- 54 Кошелева О.Е. Указ. соч. С. 142–143.
- 55 Чин поставления на царство царя и великого князя Алексея Михайловича. Сообщил архимандрит Леонид // Памятники древнерусской письменности. Спб., 1882. Вып. 16.
- 56 Олгарий А. Описание путешествия в Московию // Россия XVI–XVII вв. глазами иностранцев. Л., 1986. С. 372.
- 57 Новомбергский Н. Слово и дело государевы. М., 1911. Т. 1. С. 370.
- 58 Смирнов П.П. Челобитные дворян и детей боярских всех городов в первой половине XVII века // ЧОИДР. 1915. № 3. Приложение 8. С. 68–70. См. также: Бахрушин С.В. Указ. соч. С. 113.
- 59 Там же.
- 60 Голубцов А. Памятники прений о вере... С. 15.
- 61 Абрамович Г.В. Князья Шуйские и российский трон. Л., 1991. С. 136.
- 62 Смирнов П.П. Посадские люди и их классовая борьба до середины XVII века. М., 1948. Т. 2. С. 5; Черепнин Л.В. Указ. соч. С. 274.

О.Е. Кошелева

Судьба одной речи

(18 июня 1940 года:
эпизод—событие—символ)

Случилось так, что трехминутная речь малоизвестного генерала стала историческим событием. Это произошло с речью генерала де Голля, которую он произнес 18 июня 1940 г.

В Европе тогда шла война. Объединенные англо-французские войска в беспорядке отступали под натиском немецких бронетанковых дивизий и господствовавшей в воздухе немецкой авиации. 10 млн человек — четверть населения Франции, — бросив свои дома, искали спасения в бегстве.

17 июня 1940 г. охваченные ужасом и отчаянием французы услышали переданный всеми радиостанциями взволнованный старческий голос нового главы французского правительства, 84-летнего маршала Филиппа Петэна: «Французы! По призыву Президента Республики я с сегодняшнего дня взял на себя руководство правительством Франции... Я принес себя в дар Франции, чтобы смягчить ее несчастья. В эти горестные дни я думаю о несчастных беженцах, которые, лишившись всего, бродят по дорогам. Я выражаю им свое сочувствие и сострадание. С тяжелым сердцем я говорю вам сегодня, что надо прекратить борьбу. Этой ночью я обратился к противнику, чтобы спросить, готов ли он вместе с нами, как солдат с солдатом, после борьбы и с честью положить конец военным действиям».

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль немедленно ответил: «То, что случилось во Франции, не изменит наши действия и цели; англичане будут продолжать войну, если необходимо — годы, если необходимо — одни».

На следующий день после обращения Петэна, 18 июня в Лондоне выступил по радио французский генерал Шарль де Голль, который по договоренности с Черчиллем накануне прибыл в Великобританию на английском самолете. Вслед за Черчиллем и вопреки Петэну де Голль призвал продолжать войну против Германии. Подчеркивая, что немцам принесли победу «их танки, самолеты, их техника», де Голль заявил: «Но разве сказано последнее слово? Разве нет больше надежды? Разве нанесено окончательное поражение? Нет!

Поверьте мне, ибо я знаю, о чем говорю: для Франции ничто не потеряно. Мы сможем в будущем одержать победу теми же средствами, которые причинили нам поражение.

Ибо Франция не одинока! Она не одинока! Она не одинока! За ней стоит обширная империя. Она может объединиться с Британской империей, которая господствует на морях и продолжает борьбу. Она, как и Англия, может неограниченно использовать мощную промышленность Соединенных Штатов.

Эта война не ограничивается лишь многострадальной территорией нашей страны. Исход этой войны не решается битвой за Францию. Это мировая война». Выразив твердую уверенность, что «в мире есть средства, достаточные для того, чтобы в один прекрасный день разгромить наших врагов», де Голль завершил свою речь словами: «Я, генерал де Голль, находящийся в настоящее время в Лондоне, обращаюсь к французским офицерам и солдатам, которые находятся на британской территории или могут там оказаться в будущем, с оружием или без оружия; к инженерам и рабочим, специалистам по производству вооружения, которые находятся на британской территории или могут там оказаться, с призывом установить контакт со мной.

Что бы ни произошло, пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет. Завтра, как и сегодня, я буду выступать по лондонскому радио».

Итак, Петэн обещал французам мир, а де Голль – продолжение войны. Их речи отражали противостояние не только двух личностей, но и двух военно-политических концепций; двух различных представлений о чести и национальных интересах. Они приобрели большое общественное звучание; глубоко и надолго разделили французское общество.

Выступление де Голля, положившее начало его долгой и блестящей политической деятельности, было совершенно необычным действием, порывавшим со всеми поведенческими

стереотипами добропорядочного военного. В час национальной катастрофы де Голль отказался повиноваться своему правительству и военному командованию, нарушил воинскую дисциплину и присягу, покинул армию и самовольно отправился за границу. С морально-этической точки зрения дело усугублялось тем, что в 20-е годы де Голль служил в штабе Петэна, пользовался его покровительством, назвал своего первенца Филиппом в честь Петэна, посвятил Петэну одну из своих книг, а теперь выступил против него. Правда, отношения между Петэном и де Голлем испортились еще в довоенное время в связи с различием их взглядов на будущую войну, особенно после того, как де Голль решил издать написанную им по поручению Петэна книгу по истории французской армии под своим собственным именем. Но об этом знали немногие. 5

Петэн расценил действия своего бывшего подчиненного как измену и самую черную неблагодарность.

22 июня 1940 г. правительство Петэна подписало перемирие с Германией. В тот же день оно разжаловало де Голля и отдало его под суд — сначала по обвинению «в подстрекательстве к неповиновению», а затем по обвинению в измене, в «покушении на внешнюю безопасность государства» (т. е. в шпионаже) и в дезертирстве. 2 августа 1940 г. военный трибунал города Клермон-Ферран заочно приговорил де Голля к смертной казни, с лишением воинского звания и конфискацией имущества. Для полноты картины его лишили и французского гражданства. 6
7

Де Голль не покорился. Он видел свой долг не в слепом повиновении, а в служении Франции, национальные интересы которой, по его мнению, требовали продолжать войну до победы. Выступая по английскому радио, де Голль призывал французов противодействовать оккупантам и осуждал политику правительства Петэна, которое, по его словам, «является и может являться только орудием врага». 8

Силы противников были более чем не равны. Самый молодой генерал французской армии, 49-летний генерал де Голль, только что временно произведенный в первый генеральский чин бригадного генерала (но еще не утвержденный в нем), бросил вызов высшему французскому военному авторитету, единственному действующему маршалу Франции. 9

С точки зрения военной иерархии, их разделяла пропасть. Маршал носил на рукаве своего мундира семь генеральских звезд; бригадный генерал — только две звезды. Петэн просла-

вился еще в первую мировую войну, когда он успешно руководил обороной Вердена против немецкого наступления. Затем Петэн был главнокомандующим французской армией, военным министром, академиком, послом в Испании, заместителем премьер-министра.

10 Де Голль тоже участвовал в битве под Верденом, но всего лишь в чине капитана. Там он был ранен, попал в плен, был сочтен погибшим и удостоился «посмертной» благодарности в приказе Петэна. После возвращения из плена де Голль продолжал военную службу, но к началу второй мировой войны дослужился только до чина полковника. Звание бригадного генерала ему присвоили лишь 25 мая 1940 г. — за месяц до капитуляции Франции.

Накануне перемирия высшей точкой карьеры де Голля было командование — в течение месяца — 4-й бронетанковой дивизией и десятидневное (с 6 по 16 июня 1940 г.) пребывание в правительстве в качестве заместителя военного министра.

11 С юридической точки зрения, Петэн являлся законным, признанным всеми государствами главой французского правительства, а де Голль — разжалованным генералом, мятежником и дезертиром, укрывшимся за границей. Петэну подчинялись все вооруженные силы Франции, тогда как в распоряжении де Голля находились только сформированные им в Англии добровольческие отряды «свободных французов», численность которых сначала не достигала и 7 тыс. человек.

Пожалуй, только в одном отношении — в оценке характера, хода и исхода второй мировой войны — свежеиспеченный бригадный генерал далеко превосходил знаменитого маршала. Это, на первый взгляд, чисто теоретическое преимущество на практике оказалось решающим.

12 Для Петэна вторая мировая война была как бы повторением или продолжением первой: с теми же средствами и целями, с теми же врагами и союзниками, хотя и с противоположными результатами. Основываясь на своем опыте обороны Вердена, Петэн полагал, что вторая мировая война будет позиционной; ибо новые средства борьбы — танки и авиация — все равно не смогут преодолеть хорошо построенную оборону. Де Голль, напротив, еще в 30-е годы пришел к выводу, что «танк переворачивает всю тактику», и потому механизированные войска сыграют решающую роль в будущей войне, которая неизбежно приобретет маневренный характер.

Петэн полагал, что, разгромив Францию, Германия фактически уже выиграла войну, так как единственный оставшийся у нее противник — Великобритания — не имел крупной сухопутной армии и, следовательно, по мнению Петэна, был обречен на поражение. По свидетельству Черчилля, в июне 1940 г. Петэн прямо говорил, что «через три недели Англии свернут шею, как цыпленку». Он был уверен, что вслед за неминуемой капитуляцией Англии будет заключен мирный договор, по образцу Версальского договора 1919 г., и произойдет очередной передел мира в пользу победителей: на этот раз в пользу Германии и Италии. Свою главную задачу Петэн видел в том, чтобы обеспечить Франции наиболее выгодные условия будущего мира: избежать слишком больших территориальных потерь и в максимальной степени сохранить французскую колониальную империю, удовлетворив основные притязания Германии и Италии за счет английских владений. По мнению Петэна, сохранять союз с Англией означало бы «связать себя с трупом» и оказаться в крайне невыгодном положении при заключении мира. Гораздо выгоднее было порвать с Англией и сотрудничать с победоносной Германией, чтобы обеспечить Франции возможно более благоприятные условия мира.

Летом 1940 г., когда гитлеровская Германия находилась в зените своих военных успехов, когда сам Черчилль со дня на день — «может быть, этой ночью; может быть, на следующей неделе» — ожидал вторжения немецких войск, допускал, что они захватят Англию, и рассматривал возможность продолжения войны в колониальной империи, соображения Петэна выглядели вполне логично, тем более что французы привыкли считать свою армию лучшей в мире и думали, что уж если ее разбили, то англичанам, конечно, не устоять.

Генерал де Голль исходил из другой концепции национальных интересов и воинской чести. Считая, — как он позднее написал в своих мемуарах, — что Франции, «подобно сказочной принцессе или мадонне на старинных фресках, уготована необычная судьба», что «Франция, лишённая величия, перестает быть Францией», де Голль не допускал и мысли о капитуляции перед Германией. В момент величайшего триумфа немецкой армии он понял, что поражение Франции — лишь эпизод в войне, которая должна закончиться разгромом Германии, и построил на этой предпосылке всю свою деятельность. В речи 18 июня де Голль впервые сказал и потом не раз повторял, что, хотя Франция разбита и сама не может освободиться, она все

18. 19 же имеет основание надеяться, что к ней на помощь придут союзники, в первую очередь Англия, а «может быть, еще и другие»: США и – кто знает? – даже СССР.

18 июня де Голль говорил лишь от своего собственного имени и прямо обращался только к французским солдатам, офицерам, инженерам и рабочим военной промышленности, оказавшимся в Англии, но его речь имела и более широкий смысл, так как по существу призывала всех французов продолжать войну против Германии.

Особенно важное значение впоследствии приобрела сказанная де Голлем фраза: «Пламя французского сопротивления не должно погаснуть и не погаснет». Под словом «сопротивление» де Голль тогда подразумевал сопротивление французских колоний атакам Германии и Италии, но, произнеся это слово, он, сам того еще не зная, дал название будущему движению Сопротивления.

* * *

Среди хаоса и смятения, царивших тогда во Франции, мало кто услышал краткую речь де Голля и, тем более, обратил на нее внимание.

Из ответов участников Сопротивления на вопросы французского Комитета по истории второй мировой войны, проводившего специальное исследование на эту тему, явствует, что большинство из них не слышало выступления генерала де Голля по Би-Би-Си под названием «Призыв 18 июня». Центральная французская пресса не откликнулась на речь де Голля. Ее опубликовала только одна местная газета в Марселе. Кроме того, еще две марсельские газеты и одна газета в Лионе напечатали выдержки из речи де Голля или ее краткое изложение.

21 Тем, кто прочел или услышал речь 18 июня 1940 г., она могла показаться лишь одним из бесчисленных и не очень важных эпизодов гигантской войны. Только в свете последующих событий она обрела исторический смысл, и ее стали воспринимать как историческое событие.

Для того чтобы какой-то факт – отдельный «казус» – превратился в «историческое событие», т. е. приобрел исторический смысл и закрепился в памяти, нужны, по крайней мере, два условия: такой факт должен быть связан с крупными событиями, повлиявшими на жизнь нации, и он должен стать известным. При этом совершенно не обязательно, чтобы факт



Генерал де Голль в Лондоне.
Фотография 1940 г.

был известен точно и полностью. Напротив, в исторической памяти обычно остаются не сами факты, а более или менее верное представление о них; мысленный образ. Часто факты обрастают легендами, им приписывают значение, которого

они не имели, они превращаются в миф или в символ и в таком виде входят в историю.

Речь де Голля 18 июня 1940 г. может служить примером превращения исторического «казуса» в историческое событие, а затем и в символ, сохранившийся в памяти современников и последующих поколений.

Первоначально внимание подавляющего большинства французов было обращено вовсе не к безвестному эмигранту де Голлю, а к главе их собственного правительства – маршалу Петэну, который прекратил военные действия, взял в свои руки всю полноту власти и создал во Франции авторитарный режим фашистского типа, известный под названием «режим Виши». В своих многочисленных радиовыступлениях Петэн внушал французам, что разгром Франции «был лишь отражением в военной области слабостей и пороков прежнего политического режима». По его мнению, до войны французов охватил «дух наслаждения»; они стремились к легкой и сладкой жизни, не хотели много работать, соблюдать дисциплину и поэтому были разбиты. Нужно извлечь уроки из поражения, признать ошибки республики и демократии, вернуться к «античным добродетелям, свойственным сильным народам», т. е. повиноваться власти, соблюдать социальную иерархию, уважать церковь, неустанно трудиться.

Для большинства французов, переживших страшный военный разгром, утративших веру в прежние идеалы и ценности, такие слова звучали как суровая истина и даже как откровение, тем более что находившиеся под правительственным контролем печать и радио при поддержке церкви и многих деятелей культуры создали подлинный культ Петэна. «Вождь и отец» французского народа, «спаситель», ниспосланный Франции провидением, сохранивший в 84 года «простоту, скромность, молодость ума и сердца», все действия которого проникнуты «мудростью, истиной и добротой», – так живописали Петэна французские газеты. Знаменитый писатель Ф. Мориак «отождествлял личность маршала с оскорбленной нацией». Петэна сравнивали с «новым Христом», который «пожертвовал собой во искупление грехов побежденной Франции». Его появление во главе государства приравнивали к «чуду»; называли его «протектором Франции», возлагали на него «все надежды на возрождение и на спасение страны».

Очень большой вклад в прославление Петэна внесли церковные деятели. «Франция – это Петэн, и Петэн – это Фран-

ния», — изрек глава французской католической церкви кардинал Жерлье. «У изголовья страдающей Франции весь протестантизм объединяется вокруг маршала. У нас нет другого долга, кроме одного, единственного — следовать за ним», — говорил глава французской протестантской церкви пастор Бегнер. «Бог дал нашей родине этого вождя», которому «слепо повинуются и которого страстно любят», — писала газета «Круа», орган французского епископата.

Култ Петэна охватил массы населения, которые считали, что Петэн принес им мир. Во время поездок Петэна по стране его приветствовали толпы людей, часами ожидавшие правительственный поезд, чтобы на минуту увидеть Петэна в окне вагона. Женщины приносили Петэну своих детей, чтобы он благословил их. К Рождеству 1940 г. свыше 2 млн детей прислали в подарок Петэну свои рисунки. На новый, 1941 г. только в Париже в течение одного дня было продано 3,5 млн открыток с изображением Петэна. Ничего подобного Франция не видела, по крайней мере, 100 лет.

Противники Петэна сначала были очень немногочисленны. Запрещенная в начале войны Французская коммунистическая партия выступала против оккупантов и правительства Виши, но не встречала широкого отклика. В нелегальном обращении к населению, подписанном лидерами ФКП Морисом Торезом и Жаком Дюкло, известном впоследствии как Манифест, или «Призыв» 10 июля 1940 г., компартия клеймила позором «правительство предателей и изменников, которое заседает в Виши» и, «подражая зловещему Тьеру, рассчитывает на помощь извне, чтобы удержаться у власти вопреки воле нации». Однако, требуя для Франции права «жить свободной и независимой», предлагая создать «Фронт свободы, независимости и возрождения Франции», Манифест 10 июля одновременно призывал покончить с капитализмом, соединив в одно целое «национальное и социальное освобождение». Кроме того, рассчитывая на скорое заключение мира, компартия в первые месяцы после поражения избегала открытых атак против оккупантов, а руководство ее парижской организации в июне—августе 1940 г. даже вступило в переговоры с оккупационными властями в надежде получить от них разрешение на легальное издание коммунистической печати. По требованию Коминтерна и находившихся в Москве руководителей ФКП переговоры были прекращены, но все это отталкивало от коммунистов патриотов других политических взглядов.

Группы Сопrotивления, стихийно возникшие во Франции в 1940—1941 гг. и не имевшие связи с де Голлем, также еще не пользовались авторитетом. Большинство французов вообще не знали об их существовании. Их немногочисленные газеты и листовки, тираж которых обычно не превышал нескольких сотен экземпляров, выступали против оккупантов, но нередко хвалили Петэна, уверяя — как это сделала, например, подпольная газета «Либертэ», — что Петэн «с восхитительной ясностью ума и неизрасходованной энергией стремится поддерживать независимость Франции, сохранить все надежды французов».

Некоторые патриоты сначала думали, что Петэн и де Голль действуют согласованно. Так, одна из листовок, обнаруженных полицией Виши в начале 1941 г., предлагала: «Французы, докажите свою привязанность к Петэну, помогая де Голлю и Англии». Другая листовка гласила: «Маршал Петэн и генерал де Голль уже соединяются... Да здравствует Франция! Да здравствуют Петэн и де Голль!».

Наряду с коммунистами и группами внутреннего Сопrotивления во Франции рано начали действовать деголлевцы. Первые полученные правительством Петэна сведения о «мятежной деятельности сторонников бывшего генерала де Голля» относятся к осени 1940 г. В сентябре-ноябре 1940 г. «деголлевские листовки» и «надписи деголлевского направления» были обнаружены в 16 французских городах, в том числе в Париже, Марселе, Лионе, Клермон-Ферране, Монпелье, Бордо, Тулузе.

В Монпелье и Клермон-Ферране полицейские видели надписи углем и мелом: «Да здравствует де Голль!», «Долой Гитлера!», «Англия победит!». В Тулузе они нашли листовку: «Слушайте генерала де Голля. Он победит и вызовет Вас от нацистского зла. Верьте в освободителя нашей страны». В ряде городов распространялась другая листовка, где было сказано: «Генерал де Голль не предатель — он великий француз». Еще в одной листовке говорилось: «Если мы хотим спастись, последуем за де Голлем и его добровольцами».

В начале 1941 г. советский поверенный в делах при правительстве Петэна А.Е. Богомолов сообщал из Виши в Москву: «Вся Франция кишит сейчас английскими агентами, что совпадает с понятием деголлевских агентов». Даже если Богомолов преувеличивал, все же несомненно, что уже в конце 1940 — начале 1941 г. имя де Голля было хорошо известно, и во Франции возникло деголлевское движение, имевшее, по мнению

Богомолова, «много сторонников среди офицерства, госаппарата и городской мелкой буржуазии».

Свою родословную сторонники де Голля вели от 18 июня 1940 г., хотя далеко не все точно знали и помнили, что именно было сказано в этой речи. Яркий образ — «пламя французского сопротивления» — запечатлелся в умах, но как бы отделился от остального — гораздо менее известного — содержания речи. Многие патриоты вкладывали в речь де Голля свой смысл, воспринимая ее как призыв к сопротивлению оккупантам во Франции, хотя, строго говоря, такого призыва там не было. Поскольку в их представлении деголлевское движение сливалось или совпадало с движением Сопротивления, речь 18 июня становилась точкой отсчета для всего Сопротивления. Она выходила за рамки «казуса», простого эпизода в биографии де Голля; приобретала символический характер, становилась историческим событием.

* * *

В течение 1940 и 1941 гг., когда Петэн пользовался массовой поддержкой населения, его речи были несравненно более известны, чем речи де Голля. Зато сейчас о речи де Голля 18 июня 1940 г. знает, без преувеличения, каждый француз, тогда как о речах Петэна вспоминают только специалисты-историки.

Как и почему это произошло?

Решающая причина, конечно, заключается в том, что де Голль связал свою судьбу с победителями, а Петэн — с побежденными. В войне победили антифашистские силы, к которым принадлежал де Голль, а блок фашистских государств, с которым сотрудничало правительство Петэна, был разгромлен. Если бы события развивались иначе, если бы де Голль потерпел поражение, вряд ли бы сейчас многих интересовали его речи.

Де Голль защищал правое дело. Он боролся против фашистов, за свободную и независимую Францию, существующую в сообществе демократических государств. Напротив, Петэн установил во Франции режим фашистского типа и соглашался с зависимым положением Франции в рамках фашистского «нового порядка». В конечном итоге деятельность де Голля отвечала национальным интересам Франции, а деятельность Петэна противоречила им.

Очень важное значение имел и тот факт, что деятельность де Голля не закончилась вместе с войной. Она продолжалась в

послевоенный период, причем именно тогда де Голль достиг вершин власти. Поскольку его политическая деятельность началась речью 18 июня 1940 г., к ней неизбежно обращались все, кто интересовался биографией де Голля или историей современной Франции.

Во время войны де Голль оказался первым и единственным сравнительно известным французом, который сразу публично выступил против перемирия, за продолжение войны и освобождение Франции. Некоторые другие — впрочем, очень немногочисленные — французские военные и политические деятели (например, бывшие министры П. Кот, Ж. Мандель, П. Мендес-Франс, генералы Коше, Катру, Лармина, адмирал Мюзелье) тоже хотели продолжать войну, но они медлили с публичными заявлениями или не имели возможности их сделать. Только де Голль проявил достаточную проницательность, смелость, силу характера, чтобы, невзирая на грозившие ему опасности, договориться с английским правительством, бежать в Англию и выступить на ее стороне.

В первое время поддержка Англии имела для де Голля решающее значение. Его речь 18 июня неоднократно повторялась в английских радиопередачах; она была полностью опубликована в английской печати и в официальном вестнике «свободных французов», издаваемом в Лондоне. Деятельность де Голля освещали ведущие английские газеты; крупнейшие английские и американские информационные агентства «Рейтер» и «Ассошиэйтед Пресс». Ссылаясь на них, о речи де Голля 18 июня 1940 г. и о других действиях «свободных французов» сообщила советская пресса.

Таким образом, с первых дней своего пребывания в Лондоне де Голль получил мощную поддержку английских средств массовой информации. Особенно важное значение имело радио, которое слушало и которому верило большинство населения Франции и других оккупированных стран. Уже в августе 1941 г. полиция докладывала правительству Петэна, что «английское радио» пользуется огромной популярностью. «В городе, как и в деревне, ему внимают очень многочисленные французские слушатели, среди которых оно находит благоприятный прием... Новости, даже самые фантастические, принимают без оговорок, как истинные; добровольно разносят и распространяют среди любопытной или желающей казаться хорошо информированной публики. Они питают разговоры, а иногда даже более или менее открытые дискуссии. Люди поль-

ются их аргументами и достаточно часто руководствуются их лозунгами».

56

Де Голль одним из первых объяснил значение радиопропаганды, постоянно выступал по радио и впоследствии, полушутя, говорил, что «выиграл благодаря микрофону». Именно радио сделало имя де Голля известным во Франции и во всем мире.

57

Вступив на тернистый путь политики в довольно позднем возрасте, де Голль неожиданно обнаружил выдающиеся способности политического и государственного деятеля. В своих выступлениях он выдвинул программу действий, которая отвечала интересам французского народа, всех демократических и антифашистских сил. Де Голь добивался разгрома гитлеровской Германии, обещал покончить с вишестским режимом, восстановить республику, союродать права человека и гражданина, хранить верность демократическим принципам. Позднее (в 1943—1944 гг.) он предложил провести ряд серьезных социально-экономических реформ, включая введение государственного контроля над экономикой и создание широкой системы социального обеспечения.

Особенно большое значение имело обращение де Голля к национальным чувствам французов, их любви к своей родине, желанию видеть ее свободной и независимой. Тщательно подцензурная французская печать юбличала «негроидную веру в чудо», критиковала ожидание английского, русского и американского чуда», вообще «гиски невозможной победы» — французы продолжали надеяться на поражение Германии. Когда в 1941 г. Советский Союз и США вступили в войну против Германии, эти надежды окрепли, а с конца 1942 г. — после поражения фашистских армий под Сталинградом и победы англо-американских войск в Северной Африке — произошел поворот в войне и во французском общественном мнении. По словам французского историка П. Лябори, начиная с 1943 г. французская нация сплачивается «против оккупантов и против Виши», хотя многие еще доверяют Петэну.

58

59, 60

Не ограничиваясь пропагандой, де Голль заранее сформировал военные и гражданские организации, которые должны были овладеть властью в освобожденной Франции. При поддержке англичан он создал в эмиграции движение «Свободная Франция», а в 1941 г. основал в Лондоне Французский национальный комитет — прообраз Временного правительства в эмиграции. Англичане помогли де Голлю овладеть властью в некоторых французских консиях, и «Свободная Франция»

61

получила самостоятельную территориальную базу. После высадки англо-американских войск в Северной Африке де Голль сформировал в Алжире Французский комитет национального освобождения, управлявший французскими колониями. В 1944 г. комитет был переименован во Временное правительство Франции.

Посланцы де Голля установили контакт с организациями Сопротивления во Франции; снабжали их деньгами, оружием, средствами связи и постепенно поставили под свой контроль. Все организации Сопротивления — от деголлевцев до коммунистов — признали руководство де Голля и направили своих представителей во Временное правительство.

Будучи, как и Петэн, очень властным человеком, харизматической личностью, способной вызывать восторг и поклонение, де Голль авторитарно руководил «Свободной Францией» и Временным правительством, подчиняя или устраняя соперников. По его собственным словам, он пользовался «абсолютной властью» и все решения принимал единолично.

Сторонники де Голля восторгались своим вождем. По словам известного французского историка А. Мишеля, они придавали де Голлю «черты легендарного героя», прославляя его почти в тех же выражениях, в которых вишисты восхваляли Петэна. Появление обоих триумфировало к «чуду»; оба они спасали честь Франции, являлись ее живым воплощением и предметом безграничной народной любви, «надеждой Франции» и «спасителями» Родины. Таким образом, мифу о Петэне противопоставляли легенду о де Голле.

Еще в годы войны в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто появились сборники речей де Голля, начинавшиеся, естественно, речью 18 июня; публиковались его первые биографии и очерки о деятельности «Свободной Франции», где речи 18 июня отводилось почетное место.

В результате к моменту освобождения Франции де Голль был уже всемирно известной личностью, «человеком 18 июня», общепризнанным лидером Сопротивления, главой Временного правительства. Когда в июне 1944 г. англо-американские войска начали освобождение Франции, вместе с ними сражались вооруженные силы «Свободной Франции» и отряды французского Сопротивления. 25 августа 1944 г. де Голль с триумфом прибыл в освобожденный Париж. Он победил, и отблеск победы озарил всю его прошлую деятельность, включая речь 18 июня.

В мае 1945 г. Германия капитулировала, а летом Петэн предстал перед Верховным судом Франции по обвинению в измене и связях с врагом. На суде он уверял, что «всегда сопротивлялся немцам», «сам был участником сопротивления», использовал свою власть «как щит, чтобы защитить французский народ», и в то время, как «генерал де Голль продолжал борьбу за пределами наших границ», он, Петэн, «подготовил путь к освобождению». Верховный суд не внял его доводам. 15 августа 1945 г. большинством в один голос он приговорил Петэна к смертной казни с конфискацией имущества и, сверх того, к «национальному позору» (*indignité nationale*), т. е. к лишению всех прав. Учитывая преклонный возраст обвиняемого, которому уже исполнилось 89 лет, судьи большинством в четыре голоса выразили пожелание, чтобы смертный приговор не приводился в исполнение.

17 августа глава Временного правительства генерал де Голль помиловал Петэна, заменив ему смертную казнь пожизненным заключением. В 1951 г. Петэн умер в тюрьме в возрасте 95 лет.

* * *

После освобождения Франции движение Сопротивления стало историей. Оно превратилось в историческое наследие, в своего рода национальное достояние, за обладание которым началась упорная борьба. В процесс формирования образа недавнего прошлого включились политики, журналисты, историки.

В первые послевоенные годы, когда генерал де Голль возглавлял правительство и участники Сопротивления играли решающую роль в политической жизни Франции, день 18 июня превратили в национальный праздник. Каждый год в этот день устраивали военный парад и другие торжественные церемонии. Руководители государства возлагали венки к могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки, зажигали от неугасимого огня факел и везли его по улицам Парижа к мемориалу в парижском форте Мон-Валерьен, где во время оккупации гитлеровцы расстреливали заложников и участников Сопротивления. В Париже служили торжественные мессы, проводили памятные собрания многочисленные ассоциации бывших деятелей «Свободной Франции», участников Сопротивления, бывших фронтовиков и жертв войны. Праздничные церемо-

73 нии описывались в прессе, передавались по радио, оставались
в памяти.

Образ де Голля приобретал черты спасителя нации. Появи-
лись его первые послевоенные биографии, названия которых
74 говорят сами за себя: «Шарль де Голль — освободитель»,
75 «Шарль де Голль — первый труженик Франции», «Генерал де
76 Голль на службе Франции». Вновь были изданы военные речи
77 де Голля.

На книжный рынок хлынул поток воспоминаний, где авто-
ры спешили сообщить о своей причастности к Сопrotивле-
нию или изобличить его противников. Только за первые четы-
ре месяца после освобождения Франции (с сентября по де-
кабрь 1944 г.) вышло в свет 67 книг и статей, а в 1945 г. — еще
78 205 книг и статей по истории Сопrotивления. Фактически каж-
дые два-три дня появлялась новая книга или статья на эту те-
му. Почти все они высоко оценивали речь 18 июня. Даже не-
многочисленные в ту пору противники де Голля — правый
журналист А. де Кериллис и бывший соратник де Голля по
«Свободной Франции» адмирал Мюзелье, называвшие де Гол-
ля «диктатором» и осуждавшие «его мечты об абсолютной вла-
сти», — не отрицали, что де Голль «имел неоспоримую заслугу,
79 обратившись по радио с призывом 18 июня 1940 г.»
80
81

Только коммунисты давали понять — сначала еще в очень
осторожной форме, — что именно они, а не де Голль, сыграли
главную роль в Сопrotивлении, хотя первое время не отрица-
ли, что «из Лондона *также* (курсив мой. — В.С.) раздался при-
зыв де Голля к Сопrotивлению». 6 июня 1945 г. газета «Юма-
ните», центральный печатный орган компартии, выступила с
сенсационной статьей, в которой утверждала, что ровно пять
лет тому назад — 6 июня 1940 г., т. е. за 12 дней до речи де Гол-
ля, — Центральный комитет ФКП предложил французскому
правительству объявить всеобщее ополчение, вооружить народ
и «превратить столицу в неприступную крепость». Правитель-
ство отвергло эти «предложения национального спасения», и
82 Францию постигла катастрофа. Затем де Голль произнес свою
знаменитую речь, но он находился в эмиграции, а в самой
Франции «в начале июля» Торез и Дюкло бросили «энергич-
ный призыв к народу Франции», предлагая «сражаться за сво-
83 боду и независимость».
84

12 июня «Юманите» опубликовала текст «предложений
85 6 июня», а 19 июня — под общим заголовком «5 лет тому назад
французский народ отверг поражение» — поместила выдержки

из «предложений 6 июня», речи де Голля 18 июня и июльско-го Манифеста ФКП.

86

10 июля 1945 г., в годовщину передачи всей полноты власти Петэну, «Юманите» опубликовала те же самые выдержки из Манифеста ФКП и впервые — притом неточно — датировала его, дав своей публикации заголовок «10 июля 1940 г. Французская коммунистическая партия призвала к борьбе».

87

Фактически началось соперничество дат и символов. Деголлевскому символу — речи 18 июня — коммунисты противопоставляли сразу два своих символа — «предложения 6 июня» и «призыв 10 июля».

Опубликованные в «Юманите» тексты «предложений 6 июня» и Манифеста 10 июля 1940 г. вошли в отчетный доклад на X съезде ФКП и в автобиографию генерального секретаря ФКП Мориса Тореза, став, так сказать, каноническими, хотя их достоверность вызывает большие сомнения. В публикации «Юманите» и в докладе Тореза на X съезде текст Манифеста ФКП был сокращен и обработан в патриотическом духе, представляя собой, по позднейшему признанию историков-коммунистов, «монтаж из изолированных фраз». Подлинный текст «предложений 6 июня» вообще не обнаружен, и вопрос о его существовании остается открытым.

88

89

90

91

Тем не менее именно эти документы использовались в полемике коммунистов против де Голля.

В январе 1946 г. де Голль был вынужден покинуть правительство — как оказалось, на целых 12 лет. Началась холодная война. Бывшие участники Сопротивления окончательно раскололись. Коммунисты и деголлевцы вступили в ожесточенную борьбу друг с другом. Часть деголлевцев призвала к примирению с бывшими вишистами. Сам де Голль основал партию «Объединение французского народа» (РПФ), находившуюся в оппозиции к IV Республике. Опираясь на РПФ, де Голль повел борьбу за свое возвращение к власти, причем ее главным идейно-политическим обоснованием стало прославление Сопротивления и роли в нем генерала де Голля начиная с его речи 18 июня.

В конце 40 — начале 50-х годов вышли в свет мемуары ближайших соратников де Голля военного времени — полковника Пасси (А. Деваврена) и генерального секретаря РПФ Ж. Сусгеля, а затем и «Военные мемуары» самого де Голля, первый том которых носил название «Призыв». Основанные на огромном количестве ранее неизвестных документов, отлично напи-

92

93

94

санные, они создавали величественный образ де Голля, который 18 июня 1940 г. первым призвал французский народ к Сопротивлению, а затем неустанно боролся не только против оккупантов и Виши, но также — тогда это было новостью — против Англии и США, если те посягали на интересы Франции.

Изданные массовым тиражом и многократно переиздаваемые (воспоминания Сустеля выдержали 58 изданий), эти мемуары оказали очень сильное влияние на историческую и публицистическую литературу о Сопротивлении. Большинство авторов стало рассматривать движение Сопротивления как своеобразный «отклик» французского народа на речь 18 июня 1940 г. Авторитетнейший специалист по истории Сопротивления, профессор А. Мишель в первой популярной книге о Сопротивлении, изданной в 1950 г. массовым тиражом, назвал речь 18 июня «знаменитой» и «пророческой», подчеркивая, что «с этого момента родилось Сопротивление».

Коммунисты не согласились с такой точкой зрения. Они все более безапелляционно утверждали, что не де Голль, а компартия была инициатором и главным организатором Сопротивления, ибо коммунисты боролись с гитлеризмом еще до войны, а своим Манифестом 10 июля 1940 г. первыми на территории Франции призвали к борьбе за свободу и независимость.

«Мы были первыми и долгое время единственными участниками Сопротивления, которое началось для нас не с 18 июня 1940 г., а с борьбы, которую вел рабочий класс и республиканцы... против политики невмешательства, а потом против политики Мюнхена, — заявил Морис Торез осенью 1947 г.

«Юманите» перестала сообщать о празднествах 18 июня, но зато ежегодно отмечала дату 10 июля. Обозреватель «Юманите» А. Вюрмсер написал получивший скандальную известность памфлет, в котором, критикуя «легенду о де Голле», изображал деголлевцев в качестве «заговорщиков, создавших на чужбине власть, которую они пытались навязать Франции». Считая «ключом» ко всей деятельности де Голля его «честолюбие», Вюрмсер доказывал, что 18 июня 1940 г. де Голль «не рассматривал возможность сопротивления внутри страны».

В условиях холодной войны, в обстановке яростной борьбы между коммунистами и деголлевцами подняли голову вишисты, утверждавшие, что «Петэн был прав». Их точку зрения наиболее аргументированно выразил Робер Арон — автор широкоизвестной «Истории Виши», которая распространялась в

сотнях тысяч экзemplяров и, как писал известный французский историк М. Ферро, «в течение более чем тридцати лет была библией для всех, кто изучал эту эпоху». 101

По словам Арона, Петэн и де Голль «оба были равно необходимы Франции», потому что «маршал был щитом, а генерал — мечом». Арон положительно отзывался о речи де Голля 18 июня, но утверждал, что это «призыв, который еще не имел никакого политического значения», так как тогда де Голль хотел только «вербовать техников и солдат, чтобы сохранить французские силы, борющиеся на стороне наших союзников». 102 103

По-существу происходила мифологизация исторических фактов, которым приписывали разный, порой противоположный, смысл. Косвенным результатом полемики было закрепление в памяти французов образа де Голля как национального героя, а даты 18 июня — как одной из важных исторических вех.

В мае 1958 г., в обстановке острого политического кризиса, вызванного войной в Алжире, президент IV Республики Р. Коши обратился к де Голлю как к «самому знаменитому из французов» с предложением возглавить правительство. Де Голль вернулся к власти, основал V Республику, был избран ее президентом и потом более 10 лет управлял Францией. Принимая в парламенте мандат на чрезвычайные полномочия, де Голль не преминул напомнить о своей роли в Соппротивлении, пообещав «попытаться *еще раз* (курсив мой. — В.С.) привести к спасению Страну, Государство, Республику». 104 105

После возвращения де Голля к власти почитание движения Соппротивления приобрело официальный характер. По выражению французского историка А. Руссо, произошла «кристаллизация мифа о Соппротивлении» в его голлистском варианте, согласно которому Соппротивление отождествляется со всей французской нацией, его родоначальником и вождем считается де Голль, а речь 18 июня рассматривается как основополагающее событие Соппротивления. Окончательное «установление господствующего мифа о Соппротивлении» произошло в 60-е годы. Слово «Соппротивление» стали писать с большой буквы; связанные с ним юбилейные даты отмечать с особой торжественностью. 106 107

18 июня 1958 г. по всей стране были организованы массовые собрания и демонстрации. В Париже посреди огромной толпы де Голль возложил венок к могиле неизвестного солдата, а затем проследовал в Мон-Валерьен, где его приветствовали

ли многочисленные сторонники. Впервые вся церемония
108 праздника передавалась по телевидению, которое к этому
времени превратилось в ведущее средство массовой информа-
ции. Одну из площадей Парижа назвали «Площадь 18 июня».

Сведения о Соппротивлении и о «призыве» де Голля впервые
вошли в школьные учебники, приобретя статус важнейших со-
бытий национальной истории. В соответствии с официальной
версией, учебники рассказывали детям, что «по призыву гене-
рала де Голля многочисленные участники Соппротивления
109 продолжали борьбу», а «генерал де Голль организовал Сопро-
110 тивление».

Не прекращался поток публикаций о Соппротивлении; каж-
дый год появлялось 20—30—35 книг и статей. В общей слож-
ности к началу 60-х годов вышло около 1000 книг и 200 научных
статей о Соппротивлении, в том числе приблизительно 500 вос-
111 поминаний и 50 биографий де Голля. В 1964 г. журналист
А. Амуру издал специальную монографию о 18 июня 1940 г.,
где говорилось, что благодаря де Голлю и победе союзников
этот день «стал вторым рождением Франции» и «занял место
112 среди исторических дней».

Ф. Мориак, который в 1940 г. отождествлял с Францией
Петэна, в 1964 г. написал, что де Голль «неотделим от Фран-
ции» и воплощает ее; ему свойственно «быть Государством,
113 более того, быть Францией».

После своей смерти (9 ноября 1970 г.) де Голль оконча-
тельно занял одно из главных мест среди национальных героев, на-
ряду с Наполеоном и Жанной д'Арк. Его именем названы
главный аэропорт Парижа, площадь Звезды, где расположена
Триумфальная арка, станция метро и 68 улиц в разных фран-
114 цузских городах. Вышло в свет новое, гораздо более полное,
115 5-томное собрание речей де Голля, а также — 12-томное собра-
ние его писем, заметок и записных книжек. Общее число био-
116 графий де Голля достигло восьмисот.

Полемика вокруг речи 18 июня утратила прежнюю остроту.
Даже историки-коммунисты теперь признают, что, хотя де
Голль сначала не предполагал организовать сопротивление на
территории Франции, «18 июня, тем не менее, является основ-
118 ной датой в генезисе Соппротивления» .

Речь 18 июня окончательно вошла в историю. Завершил-
ся ее путь от факта к памяти о факте. Из исторического «ка-
зуса» — небольшого эпизода второй мировой войны — она
превратилась в историческое событие и в национальный

символ; стала обозначать начало целого исторического периода.

Это показывает, что главную роль в формировании исторической памяти играет не столько само событие, сколько представление о нем, его мысленный образ, в который вкладывается важный для общественного сознания реальный или мифический исторический смысл.

Примечания

- ¹ *Maréchal Pétain. La France nouvelle. Appels et messages. 17 juin 1940 – 17 juin 1941. P., 1941. P. 15–16.* В этом официальном сборнике речей Петэна сказано: «Надо постараться прекратить борьбу». По сравнению с радиовыступлением текст был фальсифицирован, чтобы избавить Петэна от обвинений в призыве к капитуляции. Подробнее см.: *Ferro M. Pétain. P., 1987. P. 87–88.*
- ² *Churchill W. War Speeches. 1940–1945. L., 1946. P. 3–4.*
- ³ Речь де Голля не записывалась на пленку; сохранился только ее письменный текст. См.: *Lacouture J. De Gaulle. P., 1984. T. 1. P. 371.*
- ⁴ *Discours et messages du général de Gaulle. 18 juin 1940 – 31 décembre 1941. L., 1942. P. 1–2.* Рус. пер. см.: *Голль Ш. де. Военные мемуары. М., 1957. Т. 1. С. 331–332.*
- ⁵ *Lacouture J. Op. cit. T. 1. P. 273–279.*
- ⁶ *Noguères L. Le véritable procès du Maréchal Pétain. P., 1955. P. 603–605.*
- ⁷ *Journal officiel de la République française. Lois et décrets. 1940. 10. XII. P. 6044.*
- ⁸ *Discours et messages du général de Gaulle... P. 3, 4, 17 etc.*
- ⁹ В 1940 г. оставался в живых еще один маршал Франции – Луи Франше д'Эсперз, но он был инвалидом.
- ¹⁰ *Lacouture J. Op. cit. T. 1. P. 70–73.*
- ¹¹ *Голль Ш. де. Указ. соч. Т. 1. С. 120.*
- ¹² *Gaulle Ch. de. Vers l'armée de métier. 2me éd. Alger, 1944. P. 50.*
- ¹³ *Churchill W. The Second World War. L., 1951. Vol. II. P. 213.*
- ¹⁴ *Ibid. P. 213.*
- ¹⁵ *Churchill W. War Speeches. P. 23.*
- ¹⁶ *Churchill W. The Second World War. Vol. II. P. 354–355.*

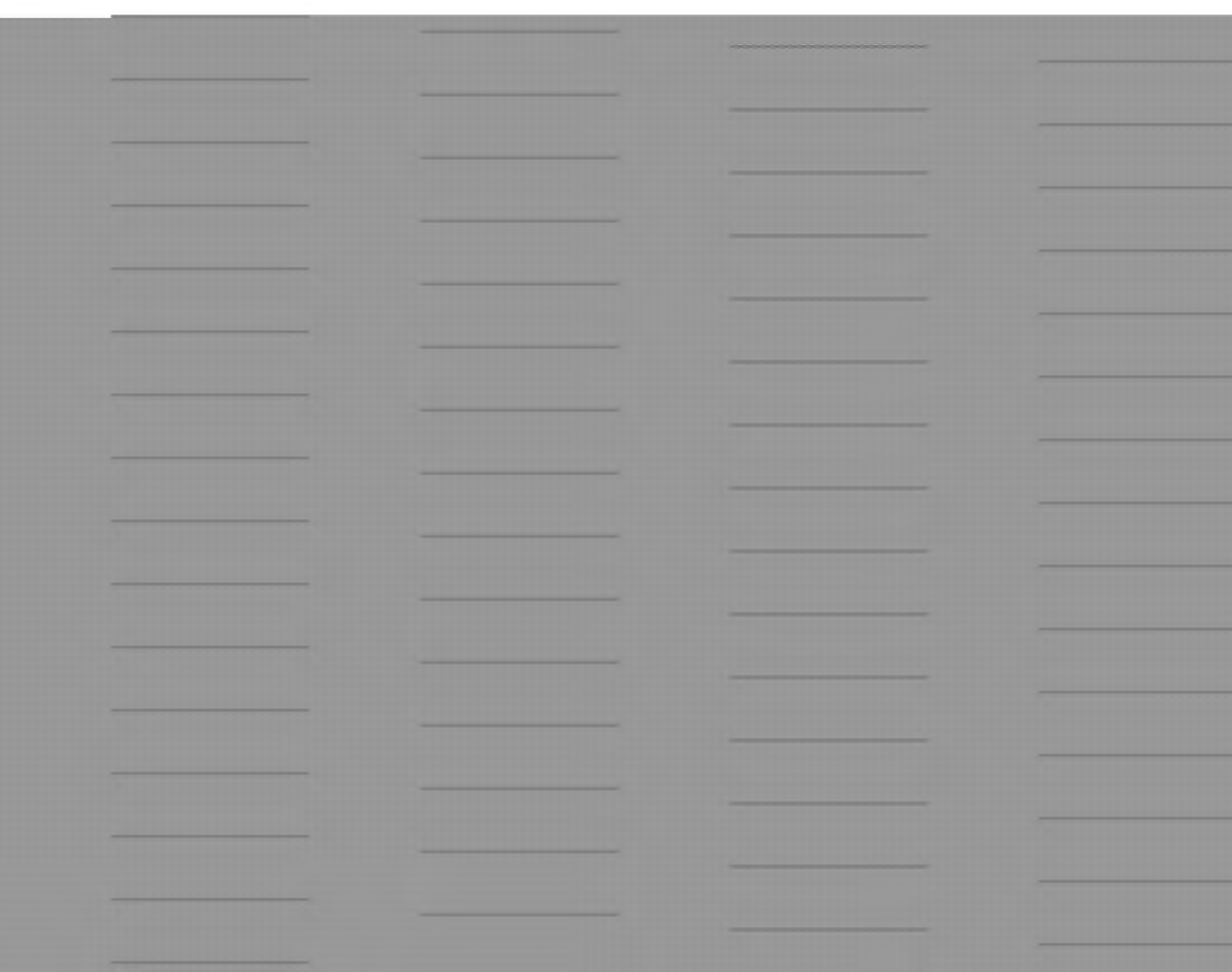
- 17 *Голль Ш. де*. Указ. соч. Т. 1. С. 29.
- 18 *Discours et messages du général de Gaulle...* P. 20.
- 19 По свидетельству близкого сотрудника де Голля М. Шумана, генерал был убежден, что «в один прекрасный день Германия объявит войну СССР». См.: *Michel H. Les courants de pensée de la Résistance*. P., 1962. P. 222.
- 20 *Ibid.*
- 21 *Amouroux H. Le 18 juin 1940*. P., 1964. P. 364–368.
- 22 В наиболее полной форме эти идеи изложены в посланиях Петэна 11 июля, 2 и 11 октября 1940 г. См.: *Maréchal Pétain*. Op. cit. P. 27–31, 67–71, 73–84.
- 23 Подробнее см.: *Laborie P. L'opinion française sous Vichy*. P., 1990. P. 223–228.
- 24 *Le Temps*. 1940. 20.XI.
- 25 *Paris-Soir*. 1940. 24.VIII.
- 26 *Le Petit Dauphinois*. 1940. 10.X.
- 27 *Laborie P. Op. cit.* P. 230.
- 28 *Ibid.* P. 239.
- 29 *Le Temps*. 1941. 1.III.
- 30 *Ibid.* 1940. 20.XII.
- 31 *Ibid.* 21.XI.
- 32 *Ibid.* 1941. 29.I.
- 33 *La Croix*. 1940. 15.XI.
- 34 *Ibid.* 1941. 17.V.
- 35 *Aron R. Histoire de Vichy. 1940–1944*. P., 1954. P. 162–163.
- 36 *Le Temps*. 1940. 28.XII.
- 37 *Ibid.* 1941.
- 38 На самом деле Манифест ФКП появился, видимо, во второй половине июля 1940 г. Его главным автором был Ж. Дюкло; М. Торез тогда находился в Москве.
- 39 Манифест 10 июля распространялся в виде листовок без указания даты. Его полный текст напечатан: *L'Humanité clandestine. 1939–1944 / Sous la rédaction de G. Willard*. P., 1975. Т. 2. P. 515–516.
- 40 Подробнее см.: Смирнов В.П. Коминтерн и поражение Франции // *Вторая мировая война: Актуальные проблемы*. М., 1995. С. 28–35.
- 41 *Liberté*. 1941. № 3. 10 jan.
- 42 Note № 9 au sujet de l'activité séditeuse des partisans de l'ex-général de Gaulle du 15 février au 28 février 1941 // Трофейные документы. Центральный государственный архив Октябрьской революции СССР. (Далее: ЦГАОР) Ф. 3А–14. Оп. 1. Д. 2. (Ныне – ГАРФ).
- 43 Там же. Д. 4.
- 44 La copie d'une note relative à l'activité séditeuse des partisans de l'ex-général de Gaulle de septembre au 15 novembre 1940 // Там же. Д. 1.
- 45 *Bureau M.A. Le mouvement gaulliste. 25.XI.1940. Synthèse sur le mouvement gaulliste en France, aux colonies, à l'étranger* // Там же. Ф. 3А–146. Оп. 1. Д. 1.
- 46 Там же. Д. 1.
- 47 Там же.
- 48 Там же.
- 49 Архив внешней политики Российской Федерации. (Далее: АВП РФ). Ф. 013. Оп. 3. Папка 9. Д. 136. Л. 77.
- 50 Там же. Л. 6.
- 51 *The Daily Herald*. 1940. 19.VI.
- 52 *Bulletin officiel des forces françaises libres*. L., 1940. 15 août. P. 1.
- 53 См., например: *The Times*. 1940. 2.VII, 9.VII, 8.VIII.
- 54 *Правда*. 1940. 21.VI; *Известия*. 1940. 24.VI.
- 55 См., например: *Известия*. 1940. 26.VI, 29.VI, 4.VIII.
- 56 *Inspection générale des Services des Renseignements généraux. La propagande anglaise et anti-allemande en Zone libre* // ЦГАОР. Ф. 3А–14. Оп. 1. Д. 6.
- 57 *Foucaucourt H. de. Naissance du mythe gaulliste*. P., 1984. P. 112.
- 58 *L'Oeuvre*. 1940. 28.VIII.
- 59 *Ibid.* 24.VIII.
- 60 *L'Effort*. 1940. 27.VIII.
- 61 *Laborie P. Op. cit.* P. 311.
- 62 *Gaulle Ch. de. Mémoires de guerre*. P., 1959. Т. 3. P. 277.
- 63 *Michel H. Les courants...* P. 30.
- 64 *Ibid.* P. 28–31.

- 65 Speeches of General de Gaulle. L., 1942. Vol. 1–2; Discours et messages du général de Gaulle (18 juin – 31 décembre 1941). L.; N.Y.; Toronto, 1942; Général de Gaulle. La France n'a pas perdu la guerre. Discours et messages. N.Y., 1944.
- 66 Barrès Ph. Charles de Gaulle. N.Y., 1941; Gaulmier J. Les écrits du général de Gaulle. Beyrouth, 1942.
- 67 Aglion R. L'épopée de la France combattante. N.Y., 1943; Grand Combe F. The Three Years of Fighting France. L., 1943.
- 68 Jacouture J. Op. cit. T. I. P. 157.
- 69 Pétain Ph. Quatre années au pouvoir. P., 1949. P. 35.
- 70 Procès du maréchal Pétain. Compte rendu in extenso des audiences transmis par le Secrétariat général de la Haute Cour de Justice. P., 1945. P. 9.
- 71 Ferro M. Op. cit. P. 653.
- 72 Procès du maréchal Pétain. P. 386.
- 73 См., например: L'Humanité. 1945. 19.VI; Le Monde. 1946. 18.VI, 19.VI.
- 74 Soulairol. Charles de Gaulle, le libérateur. s.l., 1944.
- 75 Bloch J.-P. Charles de Gaulle, le premier ouvrier de France. P., 1944.
- 76 Gourdon P. Le général de Gaulle, serviteur de la France. P., 1945.
- 77 Général de Gaulle. Discours de guerre. P., 1944–1945. T. 1–3.
- 78 Michel H. Bibliographie critique de la Résistance. P., 1964. P. 12.
- 79 Kerillis H. de. De Gaulle dictateur. Montréal, 1945.
- 80 Muselier H. De Gaulle contre le gaullisme. P., 1946. P. 39.
- 81 Ibid. P. 71.
- 82 Thorez M. La France depuis la capitulation de Rethondes. Moscou, 1944. P. 216. Во Франции опубликовано в 1945 г. Рус. пер.: Топрез М. Избранные произведения. М., 1959. Т. 1. С. 571.
- 83 L'Humanité. 1945. 6.VI.
- 84 Ibid.
- 85 Ibid. 12.VI.
- 86 Ibid. 19.VI.
- 87 Ibid. 10.VII.
- 88 Thorez M. Une politique française. P., 1945. P. 18–19.
- 89 Thorez M. Fils du peuple. P., 1949. P. 176–177, 179.
- 90 Histoire de la France contemporaine. P., 1980. T. VI. P. 18.
- 91 Подробнее см.: Смирнов В.П. Указ. соч. С. 26–31.
- 92 Colonel Passy. Souvenirs. P., 1947–1951. T. 1–3.
- 93 Soustelle J. Envers et contre tout. P., 1950. T. 1–2.
- 94 Gaulle Ch. de. Mémoires de guerre. T. 1. L'Appel. P., 1954.
- 95 Michel H. Histoire de la Résistance (1940–1944). P., 1950. «Que-sais-je?». P. 7. Во втором (и во всех последующих) изданиях этой книги Мишель внес существенное уточнение: «С этого момента родилось Соппротивление за пределами Франции» (курсив мой. – В. С.). Michel H. Histoire de la Résistance (1940–1944), 2me éd. P., 1958. «Que-sais-je?». P. 7.
- 96 Thorez M. Le combat pour la république et pour l'indépendance nationale // Cahiers du Communisme. 1947. Nov. № 11. P. 1118–1119.
- 97 Wurmser A. De Gaulle et les siens. P., 1947. P. 54.
- 98 Ibid. P. 44–45.
- 99 Ibid. P. 43.
- 100 Varisère J. Pétain avait raison. P., 1949.
- 101 Ferro M. Op. cit. P. 707.
- 102 Aron R. Op. cit. P. 94.
- 103 Ibid. P. 64.
- 104 Viansson-Ponté P. Histoire de la République gaullienne. P., 1970. T. 1. P. 503.
- 105 Le Monde. 1958. 3.VII.
- 106 Rouso H. Le syndrome de Vichy de 1944 à nos jours. P., 1990. P. 89.
- 107 Ibid. P. 19.
- 108 Le Monde. 1958. 19.VI.
- 109 Grimal H., Moreau L. Histoire de France. Cours élémentaire. P., 2. P. 93.

- ¹¹⁰*Audrin E., Audrin M., Dechappe L.* Notre France. Son histoire. Cours élémentaire. P., 1958. P. 93.
- ¹¹¹*Michel H.* Bibliographie critique de la Résistance. P. 12.
- ¹¹²*Amouroux H.* Op. cit. P. 9.
- ¹¹³*Mauriac F.* De Gaulle. P., 1964. P. 17.
- ¹¹⁴Les lieux de mémoire. La Nation. 1986. T. 3. P. 307 (sous la direction de Pierre Nora).
- ¹¹⁵*Gaulle Ch.de.* Discours et messages. P., 1970. T. 1–5.
- ¹¹⁶*Gaulle Ch. de.* Lettres, notes et carnets. P., 1980–1985. T. 1–12.
- ¹¹⁷*Lacouture J.* Op. cit. T. 1. P. 5.
- ¹¹⁸*Bourderon R., Willard G.* 1940: de la défaite à la Résistance. P., 1990. P. 106-107.

В.П. Смирнов

казус
в поведении



1 Усков Н.Ф.
2 Пытенкова Л.А.

Убить монаха...

Некогда этот странный порыв — убить монаха — увлек именитого итальянского медиевиста на путь сочинительства. Позднее ему приходилось оправдываться и говорить, что «всякий роман рождается от подобных мыслей». А «остальная мякоть наращивается сама собой». 1
Описываемые в этой статье события, случившиеся около 12 веков назад в обители св. Галла, расположенной в предгорьях ретийских Альп, наверное, напомнят читателю перипетии знаменитого романа Умберто Эко. Загадочная смерть. Самоубийство? Козни дьявола? Борьба честолюбий. Пожар, испепеливший Аббатство. Подобно герою романа, нам придется удивляться и недоумевать: «Монахи застыли на местах: шестьдесят фигур, одинаковых под одинаковыми рясами и куколями... шестьдесят голосов, истово восхваляющих Всевышнего. И изнывая в их дивном созвучии, как в преддверии райских усад, я спрашивал себя, возможно ли, чтобы в обители находилось место сомнительным тайнам, незаконным попыткам раскрыть их и жуткому запугиванию. Ибо мне аббатство представилось в тот миг собранием святейших, убежищем добродетели, ковчегом мудрости, кладью здоровыслия, поместившем кротости, оплотом твердости, кадиллом святости». 2

Недоумение и удивление у нас, как и у героя романа, вызывает очевидное несоответствие таинственных и мрачных событий образу благого монашеского братства, представлению о святости избранного им пути. То несоответствие, которое сообщает всей истории остроту и колоритность. Мог ли Умберто Эко избавиться от искушения «убить монаха», а вместе с ним

отказаться от столь интригующей завязки сюжета? И мы, покорные тому же искушению, но отправляясь в другое Аббатство, по крайней мере уверены, что нас ожидает нечто необычное. А значит, отвечающее одной из предварительных характеристик «казуса» как события нестандартного, парадоксально-го. «Остальная мякоть» нарастет сама собой.

* * *

Итак, загадочная смерть. В 30–40-е годы XI в. брат Эккехард, четвертый из знаменитых монахов Санкт-Галлена, носивших это имя, писал хронику своей обители. С надлежащим чувством ответственности перед «отцами нашими Галлом и Отмаром», прославленной братией и потомками Эккехард поведал о несчастной судьбе монаха Воло. Он возникает на страницах хроники в контексте обстоятельного повествования о знаменитом санкт-галленце Ноткере Заике (ум. в 912).

Эккехард характеризует Воло как «юного, весьма образованного монаха, сына одного графа, [человека] беспокойного (*inquietus*) и мятущегося (*vagus*), с которым ни сам декан, ни господин Ноткер или прочие не могли, из-за его отступничества (*aversio*), совладать и которого часто обуздывали словами и бичеванием, но без всякого результата». Монахи, видя исключительные дарования Воло (*vir tali ingenii*), скорбели (*dolebant*) о нем, но были бессильны что-либо изменить, прибегая лишь к традиционным для монашеской общины средствам воспитания. Меж тем в монастырь приходили и родители (*parentes*) Воло, немало беспокоясь о своем чаде (*pro eo solliciti*). Вероятно, монахи жаловались им на поведение сына, надеясь, что «подлинно» отеческое внушение окажется более действенным. Однако всякий раз Воло, в присутствии родителей «несколько улучшившись», после возвращался к прежнему состоянию.

Эккехард пытается разобраться в глубинных причинах *aversio* или девиантности Воло, что само по себе необычно и заслуживает запоминания: «Хотя святой Галл всегда имел монахов только свободных, более знатные (*nobiliores*) все же чаще сбиваются с пути». Как видим, Эккехард не без некоторой гордости констатирует, что в монастыре св. Галла никогда не было монахов из числа сеньориально-зависимых людей. В то же время следует учитывать, что понятие «свободный» в XI в., как правило, уже не применялось в отношении крестьянства, ко-

торое все более мыслилось как «низкое», «слабое» или «бедное» сословие, наконец, как сословие «трудящихся», независимо от того, каким юридическим статусом обладал тот или иной крестьянин. Весьма вероятно, что под «свободными» Эккхард понимает уже только представителей привилегированного слоя общества. Но и на этом фоне Воло отличается особой знатностью, которая, по мнению Эккхарда, вполне могла воспитать в монахе дурные качества. Тем не менее в глазах хрониста ни юность, ни мятущийся и беспокойный дух Воло, ни его знатность не имели решающего значения для трагического финала. Словно Эккхарду все сказанное о Воло не показалось достаточным объяснением случившегося: наверное, слишком таинственным и неоднозначным представлялось это происшествие. Его подлинным зачинщиком, без сомнения, был дьявол, накануне явившийся Ноткеру и предрекавший: «Готовлю злую ночь тебе и твоим братьям».

Ноткер предупредил остальных монахов, и из них лишь Воло не придавал предостережениям должного значения, сказав по поводу Ноткера: «Старики всегда грезят пустое». Наступивший день, последний день Воло, начался с того, что декан запретил ему «отлучаться куда бы то ни было из монастыря, как он имел обыкновение». Сидя в скриптории, Воло записал последнюю строчку в своей жизни: «И начал умирать» (ср. Иоанн 4, 47), затем порывисто вскочил и убежал. Вослед ему кричали: «Куда теперь, Воло, куда теперь?» Воло стал взбираться на колокольню, «чтобы, поскольку запрещено было ногами, хотя бы взором обежать горы и поля и тем унять свой мятущийся дух (*animus suus vagus*)».

Следующая фраза Эккхарда — ключевая: «Когда же, взбираясь, он поравнялся с [местом] над алтарем девственниц, то, как верят, от удара сатаны (*impulsu satanae*) провалился сквозь крышу [церкви] и сломал себе шею». *Ut creditur*, «как верят», — оговорка неслучайная. В *Annales Sangalenses maiores* встречаем под 876 г. сухую строчку: *Volo cecidit* — «Воло свалился». Никаких комментариев. Но сам факт упоминания о падении Воло в этих официальных анналах, крайне лапидарных, где многое относится к событиям «большой политики», говорит о том, что этот случай в свое время произвел на братьев сильное впечатление. Стоит отметить, что анналы, фиксировавшие события с 709 г., сохранились в манускрипте, над которым работал анонимный автор, доведший повествование до 956 г. Иными словами, монах около середины X в. счел важным сохранить

6

7

8

память о происшествии 876 г. Детальный же рассказ Эккехарда и ссылка на существующую интерпретацию загадочного события (*ut creditur*) свидетельствует, что этот казус волновал братию еще во второй четверти XI в., т. е. примерно 150–160 лет спустя.

Было ли падение Воло несчастным случаем или все же самоубийством? Конечно, принять второй вариант можно лишь с известной долей сомнения, хотя в пользу этого и говорят некоторые обстоятельства. Кроме упомянутой выше неуверенности самого Эккехарда в сути происшествия, а также трудно объяснимого интереса к нему в санкт-галленской традиции, стоит, вероятно, задержаться на чертах характера Воло и на событиях, предшествовавших трагедии. Юноша, обладавший известным самомнением знатной персоны, одаренный в науках, непоседливый и непосредственный, даже, как мы бы сказали, романтичный, если, конечно, его страсть к любованию природой не вымысел Эккехарда, объясняющий, почему монах оказался на колокольне. Этот человек «мятущегося духа», принужденный жить в монастыре, претерпевая, по-видимому, нередкие и, может быть, унижительные для него наказания, уставший от нравоучений (показательна его реакция на предсказание Ноткера, если, конечно, это не топос видийного жанра), не нашедший сочувствия даже в своих родителях, вероятно, слыша от них те же слова, что и от своих братьев, вполне мог впасть в отчаяние. А наказание, наложенное на него деканом в роковой день, стало последней каплей, переполнившей чашу терпения, и без того не слишком вместительную. Или, быть может, Эккехард намекает, что финал как-то определила фраза, записанная Воло в скриптории, о чудесном излечении Христом *от смерти сына царедворца* в Капернауме (Иоанн 4, 47–54).

Так или иначе, но Эккехард вынужден приписать происшествие «удару сатаны». Во всяком случае в это стараются верить. Интересно, что дьявол крайне редко появляется на страницах хроники: он фигурирует исключительно в рассказе о Ноткере, снискавшем славу своими разоблачениями козней сатаны, к которым хронист относит и падение Воло. Итак, фигура дьявола, безотносительно к вере в его коварство, помогает Эккехарду объяснить необъяснимое или по крайней мере не совсем очевидное.

В эпилоге к истории Эккехард отмечает, что Воло, некоторое время оставшийся живым, исповедовался Ноткере, сво-

ему «господину, и святым девам», к которым он попросил перенести себя, объясняя это тем, что, «будучи нечестивейшим во всем другом, не познал ни одной девушки». Ноткер, приняв на себя грехи юноши, «сжав теснейшим образом» его руку, плакал навзрыд. И все братья присоединили к Ноткеру свои молитвы. А некоторые еще ранее, увидев или услышав падение Воло, принесли ему *viaticum* (последнее причастие), исповедовали и причастили. Уже после смерти монаха именно Ноткер омыл его тело, возложил на носилки и, отправляя погребальную службу, всячески заботился о захоронении, пообещав, что, «пока жив, будет лично выполнять обязанности монаха за двоих». В конце концов, на седьмой день Ноткера посетило видение, в котором открылось: «Прощены ему (т. е. Воло. — *И. У.*) многие грехи, ибо много любил» (ср. Лук. 7, 47).

Как относиться к этому эпилогу: желает ли Эккехард продемонстрировать только святость Ноткера или, напротив, его запоздалое раскаяние в том, что он не был в достаточной степени терпим и чуток к Воло при жизни, или эти трепетные детали последних часов умирающего брата, его погребения рисуют не больше, чем «простые человеческие чувства» — теплоту сострадания и отчаяние скорби? Или все же хронист, скрупулезно описывая положенный церемониал прощания с умирающим, а затем усопшим братом, пытается дополнительно убедить нас в невинности Воло. По крайней мере он оставляет ему возможность принести покаяние и освободиться от гипотетического греха: «Будучи нечестивейшим во всем другом...». Существенна в этой связи финальная фраза от лица Всевышнего, которая призвана успокоить монахов, колеблющихся в части души их собрата. Кажется, именно здесь кроется разгадка неослабевающего интереса Санкт-галленской традиции к происшествию 876 г.

Понимание жизни в монастыре как *religio* с Всевышним (отсюда частое название монахов — *religiosi*), постулируемая прозрачность границы трансцендентного заставляли считать членами общины не только живых, но и всех усопших собратьев. Так, на Санкт-галленском монастырском плане, составленном ок. 820 г. в соседнем аббатстве Райхенау и предназначенном для реконструкции Санкт-Галлена, фруктовый сад, снабжавший монашескую трапезу, — это одновременно и кладбище монахов, что уже само по себе демонстрирует своеобразие отношения к смерти вообще и к бранным останкам собратьев в частности. В центре сада-кладбища находится

«святейший крест» — «дерево вечного спасения», драгоценные плоды которого и собирают усопшие братья, тогда как живым приходится до времени довольствоваться менее ценными дарами. Тела монахов в своем гниении прорастают яблонями и грушами, сливой и шербетом, мушмулой и лавром, каштаном и инжиром, айвой и персиком, лесным орехом и миндалем, шелковицей и грецким орехом. Не символ ли этой вечной жизни (быть может, слишком натуралистичный) и в напоминание ли (пусть грубо материальное) о единстве всех братьев, живых и мертвых, во Христе?

Имена усопших, занесившиеся уже с VIII в. в специальные книги, *libri vitae* или *libri memoriales*, поминались в молитвах и за богослужением по соответствующим дням годового цикла, причем не только в осиротевшей обители, но и в всех монастырях, с которыми она состояла в отношении духовного братства — *confraternitas*. В начале 70-х годов IX в. договоры с Санкт-Галленом о взаимном поминовении живых и усопших имели примерно 20 монастырей и каноников. Уже одно это делало посмертную репутацию какого-либо брата существенной для репутации монастыря в целом. Таким образом, в нашем случае «правильное» истолкование происшествия 876 г. воссоединяло общину живых с умершим необычной смертью монахом и защищало духовный авторитет обители на все времена от каких бы то ни было подозрений и обвинений. В «Книге видений» Отлоха Санкт-Эммерамского, современника Эккехарда IV, рассказывается о случайной смерти монаха, труп которого нашли в монастырском канале, что немедленно вызвало подозрения в самоубийстве. Согласно «Книге видений», призрак утопленника явился в обитель ночью и жестоко наказал келаря, смущавшего других братьев слухами о самоубийстве и отказавшегося на этом основании раздвигать нищим ежедневное содержание усопшего на помин его души. Характерно, что эта история, имевшая место в аббатстве Фульда, так же, как и казус Воло, была значительно удалена от времени своей письменной фиксации — самое меньшее на сто лет.

Итак, очевидно, что Эккехард IV имел серьезные основания, чтобы поведать о несчастной кончине Воло. Но, сам того не желая, хронист предоставил нам редкую для раннего средневековья возможность прочувствовать драматизм конфликта личности и монашеской общины, членом которой Воло силой обстоятельств являлся, — общины, для которой и через 150–160 лет существенна была добрая память о несчастном монахе.

Тем ся казус Воло позволяет поднеобычным углом зрения взгляна проблему взаимоотношения индивида и общности, сить пространство личноговыбора в рамках предложеноуппой сценария поведения.

В чрежде всего необычность нашего ракурса? Естественнадность, с которой историк сталкивается при изучении «альной практики» конкретного индивида, — это сознателя или бессознательная «цеизура стереотипов» в описаниучниками тех или иных индивидуальных коллизий. Искусность монашеской формл жизни, ее ритуализация, в рам.оторой каждое действие монаха или его психологическоушение становится предметом регламентации, пожалуйе более осложняют поиски «индивидуного» в наших текстлишком стереотипно, «правильно» или дидактично осмыгся поведение монаха внутри общины. Не говоря уже о том авторы, принадлежащие к книжной культуре, вообще, квестно, предпочитали опираться на авторитетные образНеобычная смерть Воло ютребовала от Эккехарда простых объяснений, на которые исследователю ранне-среднющей монашеской литературы, как правило, не приходивсчитывать. Хрониста пржде всего заинтересовала индиальность, девиантность пведения Воло, обусловившая микт монаха с общиной и сгчасти предопределившая трагий финал истории.

Иидуальность Воло несовместима с требованиями, предметыми монаху, котором: надлежит отказаться от своег в обмен на вечное блажегство. Ведь идеал киновии восхк общине апостолов: «У мнужества... было одно сердце и душа..., все у них было общее» (Деян. 4, 32–35). Развитиеовии как регулируемой уставом и аббатом формы монашой жизни уже в V–VI вв.определило сдвиги в психолоюмонашества. От монаха требовалось теперь не столько стреме оставить мир и вести жскетический образ жизни Хрисиди, сколько готовность к смирению и послушанию, راستию своей воли в воле аббага и старших. Спонтанный аскеткий порыв, характерный для раннего монашества, подмся подражанием, воспроизведением в быту и помыслах трм, которые были апробюрованы более святыми мужамивности на пути к «вершиним совершенства».

Вкак мы видели, не только не вписывается в соответствующую модель поведения, но и сткрыто тяготится навязанным социальными узами — не помогают ни наказания,

13

14

15

16

ни увещевания. В IX — первой половине XI в. в западноевропейских монастырях преобладали так называемые *nutriti*, «воспитанники», как *pueri oblati* («дети, принесенные в дар»), отданные в обитель еще в детском возрасте. Вероятно, к их числу принадлежал и Воло, как, впрочем, и все остальные персонажи Санкт-галленской истории, фигурирующие у Эккехарда. Для *pueri oblati* монашеский образ жизни отнюдь не являлся результатом индивидуального и осознанного выбора. В ранне-средневековых источниках специфическая ситуация нутритивов особо не осмыслялась. Лишь однажды Рабану Мавру пришлось, опираясь на богатый арсенал библейских цитат, обосновывать правомочность *oblatio*, когда неизвестный Готтшалк, сын саксонского графа, отказался оставаться монахом, ссылаясь на то, что родители отдали его в Фульду прямо «из колыбели». Нутритий не столько представлял одного себя перед Всевышним; он — прежде всего молитвенный заступник своей семьи, залог ее преуспевания и загробного вознаграждения, свидетельство ее благочестия.

Не удивляет, что Эккехард упоминает о родителях Воло, навещавших его в монастыре. Более того, хронист, как помним, подчеркивал, что отеческое внушение оказывалось действеннее монашеского. Очевидно, родственные узы вовсе не теряли в монастыре своей значимости, как то предполагалось монашеским уставом. Напротив, Эккехард подчеркивает, что сам мирской статус Воло — «сын одного графа» — оказывал воздействие на формирование не лучших качеств характера монаха. Сознание собственной знатности у Воло отнюдь не уступает требованию смирения и скромности. В конечном итоге судьба, по-видимому, не оставила Воло иных способов самоопределения, кроме как уйти из жизни. В то же время, если он, действительно, и принял такое решение, то оно, в изложении Эккехарда, кажется скорее неконтролируемым внутренним порывом, нежели шагом, глубоко, тщательно и заранее обдуманном.

Поиски необычных историй, подобных казусу Воло, — занятие не просто увлекательное (что, конечно, само по себе немаловажно), но и обещающее усовершенствовать наш исследовательский окуляр настолько, что осязаемым станет «человеческий», индивидуальный пласт исторической реальности. Такой поиск привел нас далее к истории монаха Виктора, рассказанной все тем же Эккехардом IV.

* * *

Отметим сразу, что в отличие от других героев санкт-галленской истории, фигурирующих у Эккехарда, Виктор не прославился ни как поэт, ни как художник, ни как школьный наставник, не отмечен он и какими-либо аскетическими подвигами или доблестными победами над дьяволом. Все, чем, на первый взгляд, примечателен Виктор, — это длительная смута в монастыре, зачинщиком которой он выступил. Рассказ о Викторе начинается вслед за описанием страшного пожара 937 г., практически полностью уничтожившего аббатство. Вместе с гибелью строений и запасов продовольствия «представился случай для искушений». В поисках жилища и пропитания монахам дозволялось скитаться «по горам и долинам, и соседним деревням», отчего поползли «как правдивые, так и ложные — что зачастую случается — дурные слухи». Аббат также покинул монастырь, рассчитывая найти на стороне помощь. На пепелище остались «старики с молодыми, даже не слушавшимися приказаний». «Всякий, кто хотел и когда хотел, — замечает Эккехард, — мог прийти в хижины, построенные на пепелище». В этой необычной и, как бы мы сказали, экстремальной ситуации обязанности (*disciplinae*) исполнялись лишь желающими, прочие же, «сбросив ярмо, противились» им.

Среди последних был и монах Виктор, «некий ретиец, образованный более, чем остальные, но юноша заносчивый (*insolens*) и непослушный». К этой первой суммарной характеристике, в которой каждая деталь существенна для последующего повествования, следует добавить, пожалуй, лишь знатность происхождения. Однако Эккехард упоминает о ней вскользь — так, будто бы в данном случае, в отличие от казуса Воло, не знатность являлась причиной конфликтного поведения монаха. Важнее для Эккехарда юношеский максимализм и импульсивность, а также этническая принадлежность Виктора — он происходит из романского населения Реции, области, расположенной южнее Санкт-Галлена, в котором, собственно, большинство насельников составляли германцы-алеманны. Алеманном был и главный в будущем противник Виктора — Кралох, декан монастыря и брат аббата Тьетто, «человек древней дисциплины и строгости, и, как говорили, порою чрезвычайной, а также неумолимый в наказаниях». Вроде бы в этом портрете симпатии Эккехарда на стороне Кралоха. Если единственное отмеченное достоинство Виктора — образованность,

21

22

23

которая в представлениях Эккехарда тесно связана с монашеской *professio* и является существенным компонентом санкт-галленской идентичности, то Кралох как приверженец аскетических строгостей — почти идеальный монах, но, может быть, более суровый к непослушанию, чем следует. Таким образом, на индивидуальное отклонение Кралоха от нормы указывает лишь сравнительная степень, выражаемая здесь грамматически или лексически (*severius, pernitie*).

Против его придинок и «восстал Виктор (*rebellio factus*), в припадке (*convitia*) готовый наброситься на него, грозя затрепачиной (*alapa*)». Кралох, успев, однако, вернуться о «ожесточенного» монаха, сбежал из монастыря в поисках отсутствовавшего тогда аббата. Ему он и сообщил о «беспорядке» (*turba*). Кралох в соответствии со своим характером рассчитывал, таким образом, лишь на насильственное принуждение, не надеясь иначе разрешить конфликт. Любопытно, что в изложении Эккехарда бегство Кралоха как будто не вполне адекватно опасности, исходившей от Виктора. Угрозы какой-нибудь оплеухи оказалось достаточно, чтобы оставить монастырь. Должны ли мы прибавить к портрету Кралоха новую черту — трусость, или перед нами свидетельство достаточно развитого сознания неприкосновенности собственного тела, сказать, конечно, не просто.

Во время отсутствия Кралоха его брат, а соответственно и брат аббата, Анно, «человек мягчайший, бывший Виктору как в силу знатности рода, так и дарования всегда другом (*amicus*), напрасно пытался вернуть его к милости». Мягкость Анно противопоставлена суровости Кралоха, но она лишь помогает ему приступить к примирению увещеванием. Важнее его дружеские отношения с «ожесточенным», мотивированные социальной и интеллектуальной близостью. Неудача миссии Анно привела к тому, что по приближении аббата Виктор сбежал из монастыря и, как следует из дальнейшего, находился у своих «близких», т. е. родственников (*propinquit*).

По-видимому, он отсутствовал в обители достаточно долго, поскольку за это время аббат не только сумел восстановить разрушенный монастырь, но и «убедил, насколько мог, братьев» избрать своим преемником Кралоха (942–958 гг.), что и случилось, как замечает Эккехард, «более легко (*proclivius*) в отсутствие Виктора». Эта оговорка указывает, что Виктор, по-видимому, пользовался определенным авторитетом среди братьев. Некоторые из них, возможно, сочувствовали ему в

противостоянии Кралоху, натерпевшись прежде от строгости последнего. Потому, наверно, аббату и пришлось приложить известные усилия при выборах преемника.

Проблемы, однако, возникли на этапе утверждения избранного кандидата королем Оттоном Великим, которому о конфликте в Санкт-Галлене стало известно от «неких родственников» Виктора, пользовавшихся при дворе влиянием и делавших «посредством короля все, что хотели». Оттон назначил нового аббата с условием, что «если Виктор придет к нему (Кралоху. — Н. У.) смиренным, будет вновь принят». Очевидно, что Виктор не стремился покинуть монастырь навсегда, но отстаивал право на некоторую исключительность в рамках общины, видимо, отвечавшую его самоощущению и сомнению, его «заносчивости» (*insolentia*). Об этом он, вероятно, и писал в «виршах и посланиях с жалобами», отосланных ко двору. Затем мы узнаем, что монаху, вернувшемуся «смирненным», было поручено управление монастырскими школами — важная должность в обители, прославившейся именно высоким уровнем образования и учености.

Характерно, что, отстаивая свою исключительность, Виктор ищет поддержки прежде всего у влиятельных родственников. С ними, «людьми могущественными», он (наверно, для большей убедительности) и прибывает в монастырь. Сделался ли Виктор действительно «смирненным», принес ли он покаяние аббату, из рассказа Эккехарда неясно. Видимо, более существенным оказалось давление родственников, пытавшихся даже заставить Кралоха передать Виктору ретийское аббатство Пфеферс, находившееся в подчинении у Санкт-Галлена. Как выяснится впоследствии, «родственники», вступившись за Виктора, имели и свой, семейный, интерес в этом деле. Отказ Кралоха, которому богатые родичи Виктора предлагали немалые деньги и имущество, весьма разозлил их, и они уехали с намерением при случае отомстить аббату.

Между тем, Кралох восстанавливал в монастыре дисциплину, ослабленную, как мы помним, вследствие разрушительного пожара. Но, видимо, в силу особенностей своей природы (*quoniam sic homo erat*) он не всегда был последователен, разрешая послабления, шедшие нередко вразрез с правилом, и тем «ожесточеннее наказывал некоторых за им же самим разрешенное, отчего, наконец, как случается, стал предметом ненависти (*odium*)». Эккехард ясно развивает уже пунктирно намеченную им прежде характеристику Кралоха. Те его личные ка-

чества, которые обозначались лишь сравнительной степенью, теперь конкретизируются и вскоре суммируются в понятии *insolentia* — чрезмерность, заносчивость, высокомерие, надменность, самомнение. Очевидно, что ему в неменьшей степени, чем Виктору, свойственна импульсивность и порывистость. Но особенно его приступы суровости вызывали «ненависть», кажется, от того, что мотивировались не общими требованиями аскезы и послушания, а личной неприязнью к отдельным братьям (*in aliquibus*).

«Искры ее [ненависти], насколько мог, раздувал Виктор, поскольку и в школах.. он (т. е. Кралох. — *H. U.*) чинил ему многие неприятности, обращаясь, не посоветовавшись с ним, строже (*severius!*) с учениками». Эккехард, таким образом, указывает, что Кралох, хотя и не нападал лично на Виктора, пытался ограничить его самостоятельность в монастыре, задевая самолюбие монаха как учителя. Позволительно даже предположить, что аббат наказывал наиболее близких и любимых учеников Виктора, стремясь, таким образом, досадить ему особо. Эту догадку косвенно подтверждает случай с Энцелином, дядей Виктора по отцу (*patruus*), пропстом Пфедерса, которого Кралох за некий проступок велел выпороть. Еще большую уверенность придает нам замечание Эккехарда: «У обоих (т. е. Виктора и Кралоха. — *H. U.*) в глубине души отложилась первая ссора».

«Наконец, из-за заносчивости аббата на него стали поступать многочисленные жалобы как со стороны семьи (*familia*), так и от братьев, отвергнувших его ярмо (*jugum*)». Прежде «ярмо» послушания ослабло вследствие пожара монастыря. И, хотя Эккехард тогда осуждал проступки некоторых монахов, в том числе и Виктора, они все же находили известное оправдание в объективных причинах. Теперь же бунт монахов, обоснованный всеобщим и праведным недовольством, приветствуется сочувствующим хронистом. Произвол аббата объединил монахов и зависимых от монастыря лиц — *familia*. А в качестве руководителей недовольства выступили Виктор и его родственник Энцелин. Последний, «будучи изобретательным на хитрости (*astute acutus*), готовился при подстрекательстве племянника к отмщению». Иными словами, предусмотренное уставом наказание, а именно бичевание (кстати, отнюдь не самое суровое с точки зрения св. Бенедикта), Энцелин, по-видимому, воспринял как личное оскорбление, что вновь возвращает нас к проблематике отношения к телес-

ному, затронутой выше в связи с угрозами Виктора в адрес Кралоха.

25

Дальнейшая история разворачивалась на фоне противоборства в 953–954 гг. Оттона Великого с его сыном Людольфом, герцогом Швабии. Людольф, ища сочувствия у влиятельного в своих владениях монастыря, внял жалобам монахов и направился в Санкт-Галлен, пребывая «в негодовании на аббата». Тот же, опасаясь принца, сбежал, соответственно, к Оттону, прихватив самые драгоценные предметы из ризницы, которые по дороге были у него похищены. Хронист, всегда подчеркивавший «верность» санкт-галленцев королю и гордившийся особыми, в его интерпретации, отношениями с империей, явно оказалась в сложном положении. С одной стороны, очевидно, что Эккехард симпатизирует бунтующим монахам, а с другой — ему приходится доказывать, что монахи не выступали против короля заодно с Людольфом. Да и сам король якобы сочувствует братьям и в общем-то относится к Кралоху плохо, даже говорит о нем как о человеке «весьма дикого нрава» (*tam immitis animi*). Но «из-за его верности (*fides*), по причине которой он сбежал» и прибыл ко двору, а также благодаря заступничеству прежнего ученика аббата, св. Ульриха, епископа Лугсбургского, был «милостиво принят» «со своими» (*suis*), т. е. вассалами. Правда, «родственники Энцелина и Виктора, управители (*economis*) королевского стола и [распорядители] съестных припасов, насколько могли», обделяли Кралоха и его людей так, что те испытывали «великую нужду». Вновь, как и в самом начале, внутримонастырский конфликт выходит за пределы обители, а соперничающие партии складываются на основе личной привязанности и кровной близости. За королем же Эккехард оставляет роль античного *deus ex machina*, в которой государь обычно и выступает в хронике.

26

Монахи тем временем избрали с санкции Людольфа аббагом брата Кралоха Анно, «человека достойнейшего», который, «разве что не был избран подобающим образом, но поступал как аббат благоразумный (*frugi*) и явил добродетели перед Богом и людьми». Анно любили. Умер он в 954 г., «оплакиваемый, как и положено, своими». Эккехард не посвящает нас во взаимоотношения братьев, Тьето, Кралоха и Анно, хотя сам факт, что с 933 г. монастырь последовательно возглавляли три близких родственника, заслуживает внимания. При этом короткий период правления Анно осторожно назван в другом месте только «перерывом» (*interstitium*) в правлении Кралоха.

Мы уже знаем, что Тьетю убедил монахов избрать своим преемником Кралоха и родственные связи сыграли при этом, вероятно, не последнюю роль. И теперь, когда монахи отказались подчиниться Кралоху, они, неуверенные, вероятно, в том, как повернутся дела завтра, предчувствуя шаткость позиций мятежного Людольфа, рассчитывали, что кровная близость Анно и Кралоха смягчит развязку конфликта. Тем более Виктор, как мы видели, являлся личным *amicus* Анно и в силу дружеской привязанности должен был отнестись к его кандидатуре положительно.

Новую сторону санкт-галленской смуты, которая прежде оставалась в тени, высвечивает описание интриг Энцелина при дворе. Отправившись к Оттону, он усиленно очернял Кралоха в глазах короля, опираясь на поддержку своих родственников и «других друзей (*alii amici*), которым благодаря большому количеству золота дал возможность жить там в праздности». Кроме золота, Энцелин использовал свое остроумие и основательную ученость, «словно, — как замечает хронист, — был образован у святого Галла». «Слезные элегии» Энцелина вызвали сочувствие короля, который, однако, хотел помирить «ретийца» с «тевтоном» Кралохом, дабы тот в конце концов мог спокойно вернуться в Санкт-Галлен «с овцой... все же не потерянной, на плечах». По мысли устроителей примирения, появление аббата с дядей Виктора, пробудив родственные чувства зачинщика бунта, должно было содействовать прекращению конфликта. Использование же евангельской метафоры доброго пастыря было призвано напомнить монахам о бенедиктинском определении аббата как «викария Христа», а Кралоху — о его долге настоятеля «с великой чуткостью и всяческим усердием... заботиться о том, чтобы ни одна из овец, ему вверенных, не потерялась». Кралох, правда, остался равнодушен к этим словам, молчал в созванном для примирения собрании и «не хотел принимать овцу». Переключка всего пассажи с уставом Бенедикта, по мысли Эккехарда, должна была продемонстрировать несоответствие Кралоха занимаемому им посту. Но неожиданно в устах епископа Кура (Реция) возникает и другой мотив: «Не его (т. е. Кралоха. — Н. У.) эта овца, поскольку это аббатство (т. е. Пфеферс) всегда подчинялось моей кафедре...».

27

В этот момент выясняется, что и сам Энцелин, пропст Пфеферса, стремится к тому, что не удалось его племяннику, Виктору, — а именно при поддержке «могущественных» родст-

венников сделать Пфеферс независимым от Санкт-Галлена и возглавить его. Влиятельное ретийское семейство, таким образом, с самого начала ссоры, с 937 г., рассчитывало заполучить себе монастырь, а купленные за золото друзья стали в противоположность епископу Кура утверждать принадлежность аббатства фиску. В конце концов Энцелин добился своего и получил из рук короля как посох аббата, так и независимость от Санкт-Галлена.

Характерно, что этот заговор «изобретательного на хитрости» Энцелина, эта изошренная, как выяснится из последующего, «месть» Кралоху могли состояться только при условии отсутствия при дворе св. Ульриха Аугсбургского. Не случайно Кралох посреди ночи посылает навстречу ему людей, умоляя в записке поторопиться, «ибо я, раб твой (*famulus tuus*), пребываю в мучении». Заимствование слов из Псалтыря (Пс. 9, 10) усиливает эмоциональность призыва к другу. Св. Ульрих, приехав поздно и видя, что не может предотвратить «ущерба святому Галлу», решил хотя бы попытаться вернуть своему *amicus* расположение короля. Нехотя Оттон соглашается оставить Кралоха аббатом и просит, чтобы Ульрих помог ему «своим авторитетом» (*auctoritabiliter*) помириться с братией. В данном контексте Ульрих выступает уже не как личный друг и преданный наставнику ученик, но как человек, пользующийся авторитетом у санкт-галленцев, как их «брат», избравший, будучи ребенком, «отцами наших святых Галла и Отмара». Некогда он задержался дольше других однокашников в монастырской школе «как из привязанности к месту, так и ради своей Виборады», знаменитой отшельницы при Санкт-Галлене, наставившей Ульриха в монашеских добродетелях. 28

Однако при появлении Кралоха и Ульриха в монастыре поднялась «свирепая смута» (*acerba confusio*). «Все были единокорны, что для встречи епископа, хотя он и не был записанным братом (*frater conscriptus*), подобает поспешить с Евангелием, но [встречать так же] отвратительного своей заносчивостью Кралоха не годится». Виктор, лично вынеся епископу Евангелие, дождавшись, когда тот приложится к книге, сразу, не замечая Кралоха, направился вспять. Но Ульрих догнал его и, «схватив за волосы», вернул назад. «Взбешенный» таким обращением, Виктор запустил в епископа Евангелием и ретировался. Эмоциональность момента передана Эккехардом сжатыми, порывистыми фразами, необычными для его в целом тяжелого синтаксиса. В конечном итоге Ульриху пришлось са- 29

тому вручить Евангелие аббату, который, облобызав книгу, собственноручно отнес ее на алтарь. Монахи, собравшиеся в церкви, продолжали выказывать Кралоху свою неприязнь: «Виктор, поскольку имел завывающий голос, ослабил респонсорий “Deus qui sedes”. Другие братья, так как он обладал среди них огромным влиянием (*magni momenti erat*), горестно допели его (респонсорий. — Н. У.) до конца» и затем заперлись в клауструме, т. е. в примыкающем к церкви жилом здании. Очевидно, что монахи, последовательно нарушая церемониал приема настоятеля и собрата, хотели продемонстрировать свое нежелание признать в Кралохе отца, в конце концов закрыв перед ним, как перед чужаком, двери. Свои позиции братья объяснили на начавшихся вскоре переговорах с Ульрихом. Но прежде, чем перейти к ним, следует задержать внимание еще на одной детали, характеризующей манеру поведения Кралоха в конфликтных ситуациях, уже отмеченную выше. Он и на этот раз заявил о своей приверженности насилию, полагая ворваться в монастырь с помощью своих *milites* («воинов»), а также слуг епископа. Угроза вооруженного противостояния и побудила монахов к переговорам, «ибо не наше [дело], кому-либо противостоять силой (*manu*)».

Для переговоров монахи избрали, как того желал Ульрих, его «соучеников» (*condiscipuli*), людей весьма образованных, добродетельных и «по-королевски знатных» (*nobilitate regali*), «несравненных столпов своего места». В монастырь, однако, монахи допустили только Ульриха и его приближенного Амалунга, который был братом декана Эккехарда, одного из парламентариев общины. Вообще присутствие близкого родственника декана в свите Ульриха, отправившегося мирить Санкт-Галлен с Кралохом, не кажется случайным. Хронист к тому же подчеркивает и исключительные личные качества Амалунга: «Весьма образованный мирянин, красноречивый оратор в собраниях, великий в советах, благочестием почти монах, в любой ситуации он оставался приятным (*dulcis*) и милым (*iocundus*), умея, как говорили, с легкостью придать делу любое направление». Но и основной оратор монахов — декан Вальто — был «человеком, обладавшим наряду с дарами происхождения и добродетелей силой убеждения», причем такой, что епископ в конечном итоге расплакался.

Поведение монахов, которое можно обозначить как «конструктивное», в наибольшей степени соответствует, по мысли Эккехарда, требованиям *vita monastica* и являет зримый конт-

раст с образом действий склонного к насилию и нетерпимого Кралоха: «Достоин рассказ... насколько Дух Божий в этот день громко говорил (устаи монахов. — *H. U.*), какой разум (*ratio*) и смирение в исповедании (*humilitas confessionis*) явили братья: да, мы виновны в том, что не смогли выносить заносчивого господина (*dominus*), и в том, что не терпели с большим душевным спокойствием того, которого дети избрали отцом и который из детей сделал себе рабов (*servi*)».

Очевидно, что в этой риторической игре противопоставляются две системы отношений, а именно квазисемейная (смирненные дети — отец) и «сеньориальная» (господин — рабы), которую навязал братьям Кралох и которая выражает хорошо известные нам особенности его натуры в описании хрониста. «Соответственно евангелическому терпению (*ewangelica patientia*), — продолжают говорить монахи у Эккехарда, — надлежит быть послушным вплоть до смерти (Фил. 2, 8), но и то [правда], если тиран (*tyrannus*) преследует гонениями, палач (*carnifex*) терзает». Если бы Кралох своих «детей любил», а они, «законно» избравшие его «отцом», не слушались, то были бы преступниками, нарушителями «церковного мира». Но Кралох — отец, который «ненавидел» детей, пастырь, который овец не «стриг», но «проглатывал», «сбежал ночью при появлении волка (т. е. Людольфа. — *H. U.*), не сказав ни единого слова никому в овчарне» (ср. Иоанн 10, 12), да еще прихватив сокровища, которые к тому же потерял, «своей неосторожностью лишил св. Галла имущества аббатства» (т. е. Пфеферса). И этот человек, «будто бы сделав благое дело, словно пастырь и отец приехал [править] нами — теми, кому он даже не друг (*amicus*), после того как словно пренебрегающий [нами] бежал, не утешив ни письмом, ни посланцем». Кралох — не отец, не брат и даже не друг, он — «преступник» (*reus*).

Поэтому-то монахи при появлении аббата словно не замечали его, тогда как Ульриху, «который так долго был их братом», они и оказали «надлежащую честь» как «епископу и брату». Впрочем, Ульрих тоже повел себя, с точки зрения монахов, не как брат, ибо «с заносчивостью» обошелся с Виктором, «нашим и твоим братом». Впоследствии епископу еще придется на коленях просить у Виктора и всей братии прощения за нанесенное оскорбление. Последнему он даже преподнес в знак восстановления мира (*pax*) пурпурный плащ. Любопытно, что, описывая стычку Виктора с Ульрихом, затем в драматических выражениях рассказывая об обиде на епископа не только

самого Виктора, но и всей братии, наконец, подчеркивая раскаяние Ульриха, пытавшегося задобрить Виктора щедрым, но, как может показаться, не слишком подходящим для монаха подарком, Эккехард вовсе не обращает внимания на то обстоятельство, что Виктор запустил в Ульриха, схватившего его за волосы, не чем-нибудь, а святым Евангелием. Трудно отделаться от ощущения, что за этой коллизией не кроется специфическое отношение к собственному телу, неприкосновенность которого герой Эккехарда готов защищать любыми средствами. А весьма непочтительное обращение с Евангелием, возможно престольным, не кажется и Эккехарду в данной ситуации чем-то предосудительным.

Как было сказано выше, вариант вооруженного сопротивления супостату монахи из смирения, а может быть, из благоразумия (*ratio*), отвергли. Но бегство из монастыря, «дабы уступить место тирану», многие всерьез обсуждали, и парламентарам немалых усилий стоило осадить мятущихся. В конечном итоге братия решила впустить Кралоха в монастырь, ибо не желала покидать «жилище, которое, благодаря святому Галлу, стало нашим гнездом», и была готова за грехи терпеть наказание Господне в лице «преступника», «хотя бы он и раздавал затрещины». Окончательного решения вопроса монахи ожидали от короля, к которому обещали направить жалобу на Кралоха.

Лишь Виктор оставался гротивником восстанавливаемого «согласия» (*concordia*), предлагая предъявить аббату определенные условия. «Но мудрейшие не подчинились его гребованиям». На деле епископ и Амалунг пытались неформальным образом увещевать аббата: «Воистину они предрекали будущее, [говоря], что, если он хотя бы на самую малость не отступит от свойственной ему жесткости (*rigor*) в словах и поступках, чему тогда пришло время, новейшее зло будет хуже предыдущего (Матф. 12, 45)». Кроме отказа от жесткости, Кралоха убеждали и чаще советоваться с братьями, среди которых «есть мужи... известные самому королю и обласканные им (*noti et grati*)», «важнее» которых в качестве советников у этого королевства вообще нет. В конечном итоге сказанное Ульрихом и Амалунгом восходило к идеалу аббата у св. Бенедикта. К этому идеалу и должен был во избежание «нового зла» вернуться Кралох.

От словесных баталий стороны перешли к практическому примирению. При этом «первая близость (*conjunctio*) дается труднее», как с улыбкой, цитируя Теренция, промолвил Уль-

рих. Избранный способ воссоединения «всего тела с головой и головы с телом» – это следование церемониалу, по-видимому, позволившее участникам дистанцироваться от еще не остывших личных переживаний. Симптоматично повышенное внимание Эккехарда IV к каждой детали «первой близости», будь то благословение, поцелуй, коленопреклонение или совместное исполнение хвалы Господу, – в повседневной практике общины все это едва ли способно пробудить такой интерес. Нестандартность ситуации требует большей церемониальности, а значит обезличенности, чем можно предположить в обычное время.

Так, еще не успела депутация монахов приблизиться к аббату, как к ним подбежал Амалунг и «прошептал»: «Благословения у него еще не просите, но будьте долготерпеливы и укрепите сердца (Як. 5, 8), и стойте в молчании до тех пор, пока не услышите от него, что он думает». Амалунг рассчитывал, вероятно, что братья таким образом продемонстрируют свое смирение и раскаяние. Однако вопреки его стараниям слова ни достигли слуха аббата, и тот нанес упреждающий удар, благословив монахов. В установившемся молчании Амалунг попытался разъяснить смысл церемонии, как она описана у Бенедикта, а именно «младшие», в смирении демонстрируя свое почтение к «старшим», должны всякий раз *сами* просить благословения. Неловкость ситуации попытался исправить Ульрих: «Великие дары приносим мы тебе, брат». Ответ аббата ироничен и скрывает обиду на братьев: «Вот, если бы Господь одарил меня, чтобы я *им* себя сумел подарить». И вновь последовало молчание, которое прервал Амалунг, опасаясь возобновления ссоры, предложивший «не говорить больше ни одного слова из притворства», а, попросив друг у друга прощения, «в мире Господнем» облобызаться. Это предложение было встречено с явным облегчением. Трудности «первой близости» были преодолены, и стороны, «единые душой» (*unanimes*), стали продумывать, как соединить остальную братию с аббатом. Символам при этом придавалась большая роль. Прежде всего решили посадить «отца» перед «дарованными ему сыновьями» «на престол св. Бенедикта» – престол аббата, на спинке которого был запечатлен лик святого. Процедура, призванная напомнить о монашеском долге почитать отца-настоятеля, возымела действие, и после взаимных ритуальных извинений, слез, поцелуев и молитв «единодушие» (*unanimitas*) в доме было восстановлено. Употребляя этот ключевой для мона-

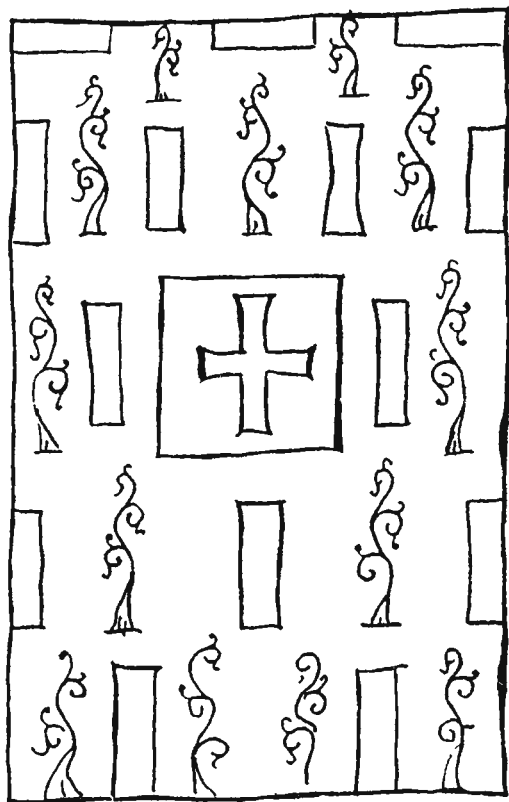
шеской традиции термин из Деяний апостолов — *unanimitas*, Эккехард демонстрирует возвращение монашеской семьи к ее праобразу: «Застарелые обиды (*longos rancores*) победила любовь (*caritas*)».

«Но это зрелище не успокоило взбешенное сердце Виктора». Едва увидев аббата на его престоле, он «в неистовстве вскочил и выбежал из дома капитула, как будто собирался покинуть монастырь». Но Ульрих вернул его назад и примирил с аббатом, «что после его отъезда мало кому помогло». Последнее замечание Эккехарда указывает на подлинный смысл всей описанной сцены: обе стороны согласились подавить в себе страсти, но не с тем, чтобы вполне примириться, а лишь с целью отложить окончательное решение конфликта до более благоприятных времен. Это подтверждается и обещаниями монахов послать королю жалобы на Кралоха.

После некоторого времени «Виктор испросил у декана позволения отправиться к друзьям снаружи [монастыря] (*amici foras*), а на самом деле намереваясь посетить нового аббата Энцелина, чтобы глумиться над потерями Кралоха (имеется в виду Пфеферс. — *Н. У.*) или даже чтобы у него совсем остаться. Аббату же, находившемуся тогда за пределами монастыря, сообщили, что Виктор втайне от него с немалыми средствами готовит его (аббата. — *Н. У.*) смещение». Эта завязка последнего, трагического, акта долгой Санкт-галленской драмы заставляет нас вернуться немного назад. Вполне возможно, что еще после смерти Анно Виктор стал претендовать на сан аббата в Санкт-Галлене. Эпизод встречи Ульриха и Кралоха свидетельствует о высоком положении Виктора в обители, его популярности среди братьев. Вероятно, этим объясняется и приступ бешенства, охвативший Виктора, когда он увидел Кралоха, восседающего на «престоле св. Бенедикта». Импульсивное желание тотчас бежать из монастыря немного остыло, но, как кажется, не от увещеваний Ульриха, а по здравому размышлению. И, видимо, подозрения Кралоха не были совсем беспочвенными, тем более что поездка к дяде Энцелину, недавно обретшему независимость, предполагаемые беседы о «потерях» Кралоха действительно выглядят как приготовление к перевороту в Санкт-Галлене в пользу все той же могущественной ретийской семьи, интересы которой угадываются за каждым поворотом нашей истории. Интерпретация, предлагаемая Эккехардом, напротив, ориентирует нас, возможно намеренно (с тем чтобы обелить Виктора ввиду трагической развязки), на

нное толкование отлучки монаха: пребывая в расстроенных чувствах, он ищет поддержки в общении с дядей, а утешения — в смехе над противником, к которому не думает более возвращаться.

Кандбише —
фруктовый сад
монастыря.
Фрагмент Санкт-
Галленского
монастырского плана.
Ок. 820 г. Райхенау



В этом случае любопытно разобраться уже в логике тех, кто превратно истолковал отъезд Виктора из монастыря и настроил соответствующим образом аббата. Конечно, остается гадать, были ли это монахи, раздраженные обращением Виктора, человека далеко не спокойного нрава, или его завистники, или те, кто видел в нем источник постоянной нестабильности в общине, или просто люди мнительные, или чересчур рьяные угодники аббата.

Так или иначе, но перепуганный Кралох тайно попросил одного из своих «воинов» (*miles*) выследить Виктора и, пусть даже против воли, вернуть в монастырь. Любопытно, что в этой ситуации аббат мог рассчитывать лишь на своих личных вассалов, «ибо никто из семьи (*familia*) св. Галла, — отмечает Эккехард, — не осмелился бы силой принуждать человека такого знатного происхождения». Незадачливый вассал сначала уговаривал Виктора, но, видя, что слова бесполезны, распорядился подгонять его «древками копий». Оскорбленный Виктор, схватив подвернувшуюся под руку палку, ударил «воина» по голове и сшиб его на землю. Поступок, который как будто не слишком гармонирует с образом смиренного монаха, и в известной мере напоминает нам о неадекватной реакции Кралоха на угрозы Виктора нанести ему «затрещину», о затаенной обиде оскорбленного бичеванием Энцелина, наконец, о стычке Виктора с Ульрихом Аугсбургским! В этом контексте мы едва ли сумеем объяснить происшедшее одной вспыльчивостью Виктора. Скорее этот внезапный прилив ярости вызван сознанием неприкосновенности собственного тела, очевидно, далеким от известного евангельского мотива: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Матф. 5, 39).

Пока поверженный Виктором вассал аббата лежал без чувств, его люди «в бешенстве» набросились на строптивного монаха, стащили с коня и, «о горе!», ослепили. Вассал Кралоха, придя в себя, «погрузился в великую печаль, поскольку не сомневался, что отныне остается ему, лишившись собственного дома, жить в изгнании». И действительно, через некоторое время друзья (*amici*) Виктора, повинувшись закону кровной мести, зарезали обидчика, а его оруженосцев повесили.

Ослепленного Виктора отнесли в лачугу некоего монастырского скотника и сообщили братьям о несчастье. Впервые, в момент трагедии, мы узнаем о чувствах, которые испытывали близкие монахи по отношению к Виктору: «Ученики Виктора и многие из братьев поспешили к нему, и стенания (*luctus*) о лишенном зрении перемежались с горестными воплями к небу (*in caelum eiulatus*)». Весть об ослеплении Виктора вызвала в Санкт-Галлене «неописуемое возмущение», и все единодушно приписывали случившееся «заносчивости аббата». Кралох благоразумно отложил свое возвращение в монастырь и, «по совету верных, позаботился о том, чтобы не оставаться без охраны, поскольку они (верные. — Н. У.) слышали, как родственники



Ноткер Заика. «Минденский» тропарий.
Ок. 1025 г.

ослепленного грозили ему жестоким отмщением». Очевидно, что аббат находился в замешательстве, отправив, например, декану Вальто странное послание с требованием получше заботиться о Викторе. Вальто, «такой же суровый», как Кралох, ответил: «Не часто кто-либо из аббатов вверяет заботам декана монаха, которого сам зелел ослепить». Кралох был столь разгневан ответом, что «едва мог говорить», как рассказывал потом Эккехарду капеллан аббата. В то же время толностью исключить прямую причастность Кралоха к ослеплению Виктора, наверно, нельзя. Хронист, перенося непосредственную ответственность на вассала Кралоха, конечно, мог заботиться о репутации Санкт-Галлена.

Самому Кралоху пришлось предложить очиститься от подозрений монахов клятвой, но престиж его власти по-видимому, уже чересчур ослаб, тем более что «друзья Виктора» нередко пытались свести с ним счеты. Все чаще, передвѣря управление обителью другим лицам, он, возможно из соображений безопасности, проводил время в поместье Хирсау, подальше от братии, где и умер. Виктор же в правление аббата Пурхарда I (958—971) был приглашен епископом Страсбурга, «своим родственником по крови» (*sanguinis sui*), в качестве учителя, но и «из сочувствия к его несчастьям». Характерно, что из Страсбурга Виктор уже не пожелал возвращаться в Санкт-Галлен, а удалился «в келью пустытника» и почитался местными жителями при жизни и после смерти как «святейший старец».

Ссора в санкт-галленской братии длилась около 20 лет, с 937 г. до 954 или, скорее, 958 г., когда умер один из ее участников, аббат Кралох. Обстоятельный рассказ Эккехарда предоставляет вполне убедительный и богатый материал для осмысления поведения человека в монашеской общине, позволяющий существенно развить выводы, сделанные прежде при рассмотрении истории Волю.

Конечно, как всякая конфликтная ситуация, как *con-fusio*, казус Виктора рисует социальную практику в состоянии перенапряжения, смятения и даже частичного разрушения. То, что в положении покоя скрыто и, возможно, более или менее осознанно подавлено, теперь актуализируется, заменяет собой распавшуюся ткань отношений целиком или по большей части. В нашем случае речь идет об актуализации прежде всего родственных или дружеских связей, которые гарантируют индивиду не только «материальную», но и

психологическую поддержку, утешение, а также личную безопасность, обеспеченную зачастую родовой (или кровной) мезтью. Для Кралоха значимость обретают также вассальные связи. Почти постоянно подчеркивается важность отношений «верности» с королем и его двором как для аббата, так и для общины. Определенную роль играет, среди прочего, поддержка монастырской *familia*, однажды выступившей вместе с братией против Кралоха, а в другой раз фигурирующей как ненадежная опора для аббата в его кознях против Виктора.

Очевидно, что для хрониста объяснение природы конфликта заключено в индивидуальных особенностях характера и темперамента его героев. Именно эти неизменные, хотя и развивающиеся, но а priori уникальные качества всякий раз мотивируют девиантность поведения персонажей. Лишь затем мотивировка нестандартности действий усложняется, как применительно к Виктору и Энцилину, семейным, родовым интересом. Актуализация сверх обычного родственно-дружеских связей неизбежно заставляет монаха разделить интересы, посторонние его монашеской семье, но присущие семье родственников или кругу близких-друзей, словом «своих».

Термин *in solentia*, который Эккехард использует и применительно к Виктору, и для характеристики индивидуальности Кралоха, указывает на некий идеал меры, *solentia*, обычно, уместяющегося в рамки нормы. Человек, избравший, согласно уставу, *genus caenobitarum*, в отличие от героя-отшельника, «эгоиста» и индивидуалиста, должен стремиться путем отказа от собственной воли, от себя как такового, путем послушания подняться по ступеням смирения, *humilitas*, но психологически не «чрезмерно», а *se humilians*, т. е. становясь меньше, ближе к земле, из которой создан.

Тем не менее при всей искусственной обезличенности монашеской формы жизни, выражающейся в стремлении нивелировать частное, деиндивидуализировать человеческие переживания и действия, как история Воло, так и казус Виктора позволяют оценить ту роль, которую играют в замкнутом мире монашеской общины индивидуальные качества ее членов. Эти качества могут служить как стабилизации и гармонизации отношений между братьями, так и их разрушению. Наши истории вполне убедительно иллюстрируют значимость предписаний св. Бенедикта о том, что аббату следует относиться к братьям «сообразно характеру каждого и способности понима-

32

33

34

35

36 ния», а прежде, чем принимать пришлого монаха в монастырь, выяснить, какими индивидуальными качествами он обладает, «дабы тот своей чрезмерностью (*superfluitate sua*) не взбунтовал монастырь».

37 Закономерен вопрос, а не провоцировала ли порой сама искусственность монашеской формы жизни, которая требовала близости, в том числе эмоциональной, даже определенной родственности во взаимоотношениях с совсем чужими людьми, актуализацию индивидуальных качеств, их интенсивного развития и перенапряжения в отличие от состояния приглушенности, лишь частичной востребованности в привычной, уютной атмосфере дома, подлинной семьи? В любом случае вне возможностей нашего зрения остается процесс привыкания монахов друг к другу, притирки, приспособливания. И можно только гадать, каких эмоциональных жертв стоила ка-

38 ждодневно эта «имитация игры», а не только в ту минуту, когда принужден видеть своего недруга на «престоле Бенедикта», как в истории о Викторе и Кралохе, или выслушивать «пустые» страхи старика, как в рассказе о загадочной смерти Воло.

Под слоем идеализированной системы квазисемейных связей скрывались многообразные отношения близости-отталкивания. Дружбу, интеллектуальную или этническую близость, кровное родство, привязанность учеников к учителю, «верность» вассалов сюзерену — все эти формы межличностных взаимосвязей внутри монастыря или за его пределами отличает свобода и индивидуальность. Они добровольны и уже потому приватны, конечно, лишь в том смысле, что обособляют субъектов таких связей внутри монашеской общины, либо вообще выводят их за пределы монастыря. Так или иначе, но все эти привязанности идут вразрез с монашеским уставом и в качестве сознательного отступления от нормы еще более рельефно высвечивают варианты индивидуального выбора. Рассмотренные выше свидетельства самостоятельности, нестандартности проявлений отдельных индивидов особенно ценны в контексте господствующего в историографии убеждения в заданности, внешней обусловленности поведения так называемого средневекового человека в группе или за ее пределами, слабой выраженности у него собственного «я». В житии Одо Ключийского монах, недовольный обетом молчания и отказывавшийся изъясняться жестами, восклицает: «Я не змея, чтобы шипеть, и не бык, чтобы мычать. Бог создал меня *человеком* и дал мне язык, чтобы я говорил». В качестве одного из существен-

40



Ноткер Заика. «Цюрихский портрет». Конец XI в.
В отличие от более раннего изображения мастер «Цюрихского портрета» стремился создать индивидуализированный образ монаха

ных элементов развитого личностного самосознания, которое обнаруживают герои Эккехарда, следует рассматривать представление о неприкосновенности собственного тела, тем более примечательное в монастыре, где по отношению к монахам могли применяться телесные наказания и где братья не имели какого-либо индивидуального пространства, обособленного от других, но буквально жили бок о бок.

41 В расхожие представления о «средневековой личности» по меньшей мере никак не уместаются случаи самоубийств, которые, безусловно, еще ждут самостоятельного исследования. Правда, нам, как мы могли убедиться в случае с Воло, скорее придется пробиваться сквозь туманные намеки и благочестивые размышления средневековых авторов. Однако необычная многословность источника, благодаря которой *просто* смерть превращается в казус, не должна ускользнуть от нашего внимания. Нельзя отделаться от ощущения, что трагическая смерть Воло — это вызов монастырской системе, протест против навязанных правил игры. Такой же протест, как попытка Виктора оставить монастырь, которым правит его противник. В первый раз эта попытка стоила Виктору зрения. Зато впоследствии он смог спокойно удалиться сначала к своему родственнику, а затем сделаться отшельником. Эккехард, как кажется, не случайно подчеркивает, что Виктор не захотел возвращаться в Санкт-Галлен. Ведь, по свидетельству хрониста, нормой считалось, когда санкт-галленский монах, оказавшийся на чужбине, предчувствуя скорую смерть, «весьма печалился, что находится вдали от своего монастыря и не может быть похоронен на кладбище св. Галла».

42 Распад монашеской общности, временная потеря ценностных ориентиров не исключают при попытках разрешения конфликта апелляции прежде всего к общезначимой и авторитетной модели отношений, которая, как мы видели, с одной стороны, может служить аргументом *contra*, средством избавиться от неуютного по своим индивидуальным качествам собрата, а с другой — в той или иной степени безболезненно примирению, обезличиванию *меж* — *личностных* связей, приданию им статуса абсолютной публичности, формальности, бесстрастности, несмотря на официальную патриархальность, «семейственность» и религиозную эмоциональность (слезы, поцелуи, коленопреклонения и т. п.) монашеской общины. Восстановлению *unanimitas in domo* служат и «незаконные», но в ситуации кризиса ставшие значимыми личные привязан-

ности или специфические, индивидуальные качества примирителей, как, например, ораторское мастерство, «мягкость» или «любезность».

Вопрос, который не может не волновать нас при интерпретации казуса Виктора, девиантного, как и история Воло, в контексте средней литературной продукции монастырей, — это мотивы, побудившие Эккехарда увековечить не слишком приглядную историю в письменной памяти. Наконец, не менее существенна проблема аутентичности сообщаемых хроником деталей, отдаленных от него, правда, максимум пятидесятилетием. Эккехард, по-видимому, родился еще до 1000 г., возможно в начале 80-х годов X в., и, подобно подавляющему большинству Санкт-галленских монахов как *puer oblatus*, с детства находился в монастыре, по крайней мере был учеником монастырской школы. Свою хронику Эккехард писал в правление аббата Норперта (1034—1072 гг.), причем последняя фиксируемая точно граница его занятий над текстом — это 1047 г. Таким образом, Эккехард в момент создания хроники рассказывал о событиях почти столетней давности. Впрочем, в источниковедении принято обозначать столетие еще как период «живой памяти» (*living memory*), и постоянные отсылки Эккехарда к рассказам очевидцев тому подтверждение. Ему даже удалось расспросить Ванинга, капеллана Кралоха, сопровождавшего его «во всех невзгодах». Более того, очевидно, что трагическая судьба Виктора занимала Эккехарда особо. Так, он упоминает, что в свое время посетил и ту гору, на которой Виктор уединился в старости, и еще раз «кратко» (*breviter*) выслушал от некоего отшельника, знавшего монаха лично, историю «его жизни и казуса, и без того хорошо известную» (*vitam eius et casus utique plus notos*). 43 44

Наверно, понять корни особого интереса Эккехарда к *casus* Виктора, обусловившего столь подробный и продолжительный рассказ о нем, все-таки легче, чем оценить правдивость (при всей абсурдности этого слова) повествования. Правда, для этого нам следует подробнее остановиться на специфике источника в целом. Хроника Эккехарда IV имела необычное название — *Casus sancti Galli*, заимствованное им у своего предшественника в деле описания истории Санкт-Галлена, монаха Ратперта (ум. ок. 884/895). *Casus sancti Galli* Эккехарда продолжают труд Ратперта и охватывают период истории монастыря с 883 по 972 г. В тех раннесредневековых памятниках, которые принято относить к жанру монастырских хроник, центральное

место, как правило, отводится акту основания обители, тогда как ее дальнейшая история либо не описывается вовсе, либо освещается фрагментарно, по большей части в связи с крупными имущественными приобретениями или потерями, изменениями в правовом положении монастыря. Давно отмечено, что такие хроники служили юридической фиксации правового и имущественного статуса обители, функционально сближаясь с документальными памятниками. Исторический текст, иногда включавшийся в картулярий, был призван кратко и систематически изложить содержание важнейших грамот или заменить собой испорченные, утерянные и вымышленные. К категории монастырской историографии относятся, кроме того, жития и чудеса монастырских патронов, крайне немногочисленные *gesta abbatum* и, наконец, не менее редкие каталоги аббатов, простые — часто без датировок — списки настоятелей монастыря. Ни один из названных выше памятников не рассказывает, собственно, о внутренней истории обители и поколениях братьев, что само по себе весьма отчетливо характеризует господствовавшее представление о целях и горизонтах письменной фиксации. В традиционные каноны жанра вполне вписывалась и хроника Ратперта. Тем разительней своеобразие труда Эккехарда IV, в котором история обители представлена в виде вполне замкнутых *casus*, систематизированных по правлениям аббатов, но всякий раз сопряженных с каким-либо прославленным санкт-галленским монахом. Конечно, в тех или иных произведениях, вышедших из-под пера монахов, не обязательно историографических или необязательно относящихся к типу локально-монастырской историографии, мы порою встречаем весьма живые сценки из жизни обители, емкие характеристики отдельных братьев и аббатов, но нигде «казус» не стал универсальным окуляром, через который выявляются внутренние пружины монастырской истории, нигде, с другой стороны, эта история не предстает столь персонифицированной, как мы бы теперь сказали, «очеловеченной».

Вся хроника Эккехарда — это протест общины древнего и славного своими традициями монастыря против новшеств аббата-реформатора Норперта — «чужака» из Лотарингии. О современных ему нововведениях Эккехард упоминает как о «схизме монахов, которую мы терпим по вине галлов (т. е. лотарингцев. — Н. У.)». Эккехард, подробно рассказывая о «несравненных столпах этого места», как будто доказывает, что Санкт-Галлен всегда находился на верном пути и располагает

достаточным духовным потенциалом — именно в этой сокровищнице опыта обитатели, а не вовне, следует искать ориентиры на будущее. Даже история странной смерти Воле служит очередным доказательством святости Ноткера, одного из самых известных монахов Санкт-Галлена. Да и сама эта смерть не была такой уж странной! — во всяком случае в этом хронист нас пытается убедить. В контексте попыток внешних реформ особое звучание приобретало и противостояние монахов своему аббату, теоретическое обоснование и оправдание которого так или иначе выделяется из казуса Виктора.

Предчувствие конца «славной эпохи» побудило Эккехарда взяться за перо. Но и сознавая это, далеко не просто найти другое сочинение, аналогичное по яркости *Casus sancti Gelli* Эккехарда. Меж тем реформа коснулась многих известных аббатств империи, и редко где она протекала безболезненно. Трудно поэтому отделаться от ощущения, что рассмотренные выше случаи, заимствованные из уникального источника, не случайны. В известной мере внимание Эккехарда к деталям, его интерес к индивидуальным особенностям тех или иных персонажей санкт-галленской истории, характеризует индивидуальность самого хрониста, его способность отступить от канонов монастырской историографии. Вряд ли без этого личностного импульса рассмотренные выше эпизоды когда-либо попали бы в поле зрения исследователей. Видимо, одно из важнейших условий исторического казуса — это наличие способности и желания увековечить необычное происшествие. Нам же захотелось «убить монаха» или по меньшей мере потребовалось рассказать о том, как один монах самым странным образом свалился с колокольни, а другого — ослепили люди аббата, чтобы разобраться в самых что ни на есть тривиальных вещах — как складывалась жизнь человека в общине монахов IX–X вв.

Примечания

¹ Эко У. Разумеется средневековые // Эко У. Имя розы. М., 1989. С. 434.

² Там же. С. 84.

³ *Ekkehardus IV. Casus sancti Gelli* / Hg. H.F. Haefele. Darmstadt, 1980. С. 33. P. 76, 78; С. 35–38. P. 80–88;

С. 41–44. P. 92–100; С. 46. P. 102–104.

⁴ *Ibid.* С. 43–44. P. 96–100. По соображениям экономии места мы отказались в дальнейшем от постоянных отсылок к тексту хроник в рамках указанных здесь глав и

страниц. Ссылки приводят лишь при цитировании других частей *Casus sancti Galli*.

- ⁵ В современном Эккехарду компедиуме канонического права, а именно в «Декрете» епископа Бурхарда Вормского (1000–1055), содержится строгий запрет на прием в монастырь сервов без предварительного согласия их сењора. Тому же, кто подучивал чужих сервов уйти в монастырь, надлежало понести покаяние. А вообще, по мысли Бурхарда, следовало с осторожностью относиться ко всякого рода незнакомцам, которые, придя в тот или иной монастырь, просят о постриге. Таким подозрительным личностям монашеское облачение следовало предоставлять только через три года (против одного года, как в уставе св. Бенедикта). Если же а этот срок выяснится, что проситель есть зависимое лицо, то ему надлежит вернуть господину во всем, что он принес с собой (Birhardus Wormaciensi. De:retum // Patrologiae cursus. seres latina (Далее: PL). Vol. 14). L. VIII. C. 20. Col. 795–79; C. 14–25. Col. 796; C. 28. Col. 797).
- ⁶ *Fichtenau H. Lebensordnungen des 10. Jh. Studien über Denkart und Existenz im einstigen Karolingerreich. Stuttgart, 1981. Bd. 2. S. 472–479.*
- ⁷ *Anales Sangalenses maiores / Monumenta Germaniae historici. Scriptores. (Далее: MGH.SS. Vol. I. P. 73.*
- ⁸ *Watenbach W., Holtzmann J. Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter. Deutsche Kaiserzeit. Tübingen, 1948. Bd. 1. Hft. 2. S. 22.*
- ⁹ О литургической «общности живых и мертвых» см.: *Wollasch J. Gemeinschaftsbewußtsein und soziale Leistung im Mittelalter / Frühmittelalterliche Studien. Bd. 1. 1975. S. 268–286; Memoria. Der geschichtliche Zeugniswert des litu-*

gischen Gedankens im Mittelalter / Hg. K. Schmid, J. Wollasch. München, 1984 (Münstersche Mittelalter-Schriften. Bd. 48); Gedächtnis, das Gemeinschaft stiftet / Hg. K. Schmid. München; Zürich, 1985. Итоги многолетних международных и междисциплинарных штудий, посвященных memoria в средние века, подведены в: Memoria in der Gesellschaft des Mittelalters / Hg. D. Geuenich, O.G. Oexle. Göttingen, 1994; см. там в особенности: Wollasch J. Das Projekt «Societas et Fraternitas». S. 11–31.

- ¹⁰ См. факсимильное издание плана: *Der St. Galler Klosterplan / Hg. H. Reinhardt. St. Gallen, 1952. О плане в целом: Horn W., Born E. The Plan of St. Gall. Berkley, 1979. Vol. 1–3; Hecht K. Der St. Galler Klosterplan. Sigmaringen, 1983. Здесь S. 251–253; Berschin W. Karolingische Gartenkonzepte // Freiburger Diözesan-Archiv. 1984. Bd. 104. S. 11; Idem. Eremus und Insula. St. Gallen und die Reichenau im Mittelalter – Modell einer lateinischen Literaturlandschaft. Wiesbaden, 1987. S. 19–22.*
- ¹¹ *Autenrieth J. Der Codex Sangallensis 915. Ein Beitrag zur Erforschung der Kapitelloffiziumsbücher // Landesgeschichte und Geistesgeschichte. Festschrift für O. Herding zum 65. Geburtstag. Stuttgart, 1977; Schmid K. Bruderschaften mit den Mönchen aus der Sicht des Kaiserbesuchs im Galluskloster vom Jahre 883 // Churrätisches und st. gallisches Mittelalter. Festschrift für O. Clavadetscher zu seinem 65. Geburtstag. Sigmaringen, 1984. S. 173–194; Idem. Zu den Anfängen liturgischen Gedenkens an Person und Personengruppen in den Bodenseeköstern // Freiburger Diözesan-Archiv. 1980. Bd. 100. S. 59–78; Subsidia Sangallensia I. Materialien und Untersuchungen zu den Verbrüderungsbüchern und zu*

- den älteren Urkunden des Stiftsarchivs St. Gallen / Hg. M. Borgolte, D. Geuenich, K. Schmid. St. Gallen, 1986; *Geuenich D.* Liturgisches Gebetsgedenken in St. Gallen // St. Gallen als Kulturzentrum. Darmstadt, 1990; *Гойених Д.* Конфратернитаты Санкт-Галлена // Культура аббатства Санкт-Галлен. Баден-Баден, 1996. С. 29–38. См. также литературу, указанную в примеч. 9.
- ¹² *Otto S. Emmeramensis. Liber visionum* / Hg. G. Schmidt. Weimar, 1989. Visio [16]. P. 89–90. (MGH: Quellen zur geistesgeschichte des Mittelalters. Bd. 13). См. также: *Отлох Санкт-Эммерамский.* Книга видений / Вст. ст., пер. и коммент. Н.Ф. Ускова // Средние века. М., 1995. Вып. 58. С. 256–257. О предположительной датировке происхождения см. там же примеч. № 47.
- ¹³ О ритуализме монашеской формы жизни см.: *Fichtenau H.* Op. cit. Bd. 2. S. 345–346; Обширный каталог предписываемых монаху эмоций содержит устав св. Бенедикта: *Benedicti Regula* / Rec. R. Hanslik // *Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.* Wien, 1977. Vol. 75 (Далее: BR). См.: Prologus. P. 1–9: «Итак следует подготовить сердца наши и тела к строгому послушанию святым предначертаниям» (40). Этот общий тезис затем развивается практически в каждой главе устава. См. прежде всего: С. 4 (*Quae sunt instrumenta bonorum operum*). P. 29–35; С. 5 (*De oboedientia*). P. 35–38; С. 7 (*De humilitate*). P. 39–52; С. 20 (*De reverentia orationis*). P. 75–76; С. 63 (*De ordine congregationis*). P. 145–148; С. 71 (*Ut oboedientes sibi sint invicem*). P. 161–162; С. 72 (*De zelo bono quod debent monachi habere*). P. 162–163. В С. 19 (*De disciplina psallendi*). P. 74–75 симптоматично подчеркивается (1): «Нам следует уверовать, что Бог повсюду и глаза Господа во всяком месте различают доброе и злое...». Поэтому и надлежит так предаваться псалмопению, «чтобы наш ум был созвучен нашему голосу» (7). О монашеской теологии в целом: *Leclercq J.* Wissenschaft und Gottverlangen. Zur Mönchstheologie des Mittelalters. Düsseldorf, 1963 (оригинальное издание на французском, 1957).
- ¹⁴ BR. С. 5. P. 35: «...Таковы они, непреклонно оставляющие свое и отказывающиеся от собственной воли» (7); С. 7. P. 43: «Итак, запрящем поступать по собственной воле» (19).
- ¹⁵ О.Г. Оксле, акцентируя связь кинувийного монашества именно с общезжитием апостолов, вообще отказывается возводить монастырь к раннехристианской аскезе. См.: *Oexle O.G.* Das Bild der Moderne vom Mittelalter und die moderne Mittelalterforschung // *Frühmittelalterliche Studien.* 1990. Bd. 24. S. 10.
- ¹⁶ *Courtois C.* Die Entwicklung des Mönchtums in Gallien vom heiligen Martin bis zum heiligen Columban (1957) // *Mönchtum und Gesellschaft im Frühmittelalter* / Hg. F. Prinz. Darmstadt, 1976. S. 25 (*Wege der Forschung*. Bd. 112). См. также: *Вебер М.* Социология религии (типы религиозных сообществ) // *Вебер М.* Избранное. Образ общества. М., 1994. С. 191–231, особенно С. 198–199, 210; *Он же.* Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Там же. С. 7–43). См.: BR. Prologus. P. 8: «Итак, нам следует основать школу служения Господу» (45), а также С. 73. P. 164–165: «Тем, кто стремится к совершенству образа жизни, [следует обратиться] к учению святых Отцов... а также к Собеседованиям Отцов, Установлениям и их Житиям, но, кроме того, к Правилу святого Отца нашего Василия...» (2–6). Взаи-

моотношения между монахи как братьями («старшими» и «младшими»), между ними как «детьми» и аббатом — «отцом», вторые воспитывали смирение, послушание и любовь, отводились едва ли не основное место в уставе св. Бенедикта. Самым страшным наказанием являлось для монаха, согласно уставу, *ex — communicatio* (отлучение), означавшая только лишение причастия, нси одиночество, исключение из емы и отлучение, соответственно, от пути спасения. См.: В. С. 23—28.

- 17 Уже Бенедикт допускал, что как богатые, так и бедные родители могут приносить своих детей в дар Богу и его святым (BR. С. Э. P. 138—139). Однако во времена Бенедикта практика *oblatio*, видимо, еще не была слишком распространена. Лишь в эпоху Каролингов *pueri oblati* начинают преобладать над *conversi*. Во второй половине XI в. в кругах реформаторов монашества сформировалось убеждение в том, что монашеские обеты должно принимать только в зрелом возрасте сознательно. Соответственно и родителями отрицалось право определять заранее выбор своего ребенка. См.: Grundmann J. Adelsbekehrungen im Hochmittelalter // Grundmann H. Ausgewählte Aufsätze. Stuttgart, 1976. Bd. 1. S. 127—131; Weitzel J. Oblatio puerorum // Vom mittelalterlichen Recht zur neuzeitlichen Rechtswissenschaft / Hg. J. Brieskorn u.a. Paderborn, 1991. S. 59—74; Berend N. La subversio invisible. La disparation de l'oblatin irrévocable des enfants dans le droit canon // Mediaevals. 1994. № 5. P. 123—136.

- 18 Hrabanus Maurus. De oblatioe puerorum (829) // PL. 107. Col. 419—440; см. также о Готшалке: Vielhaber K. Gottschalk er

Sachse. Bonn, 1956 (Bonner historische Forschungen. Bd. 5).

- 19 Так, в житии св. Колумбана описывается случай, когда к святому явилась бесплодная пара — некий герцог и его благочестивая супруга — с просьбой помолиться за дарование им потомства. Колумбан предрек им, что супругов ожидает столько детей, сколько они пожелают, в том случае, если они принесут своего первенца в дар Богу. Так впоследствии и произошло (Ionas. Vita sancti Columbani / Ed. V. Krusch. Hannover; Leipzig, 1905. Lib. I. C. 14. P. 174—176 (MGH. SS.RG in usum scholarum). Реформаторы же укоряли родителей за то, что они пытаются сбыть в монастырь неполноценных и увечных детей. О том, что такие упреки не были до конца беспочвенными, свидетельствуют хотя бы прозвища таких известных монахов, как Херманна из Райхенау — *Contractus* (Сгорбленный, или даже скорее Стиснутый) и Ноткера Санкт-галленского — *Zalbulus* (Залика). Ульрих из Хирзеу в 70-е годы XI в. говорил о родителях, которые своих детей «с крайней настойчивостью приносят Богу по обету, чтобы те стали монахами... и чтобы [таким образом] самим освободиться от [обязанностей] по их образованию и содержанию...» (*Udalricus. Epistola punciatoratoria* // MPL. 149. Col. 635—640).
- 20 Как известно, Бенедикт приравнивал вступление в монастырь к новому рождению. См.: BR. С. 63. P. 145—148. Симптоматично, как Ратхер Веронский, симпатизировавший реформам, советовал отвечать своим родственникам: «Что мне и вам? Я умер...» (*...dicite, quod antiqui solebant dicere: Quid mihi et vobis? Ego mortuus sum...*). См.: Die Briefe des Bischofs Rother von Verona / Ed. F. Weige // MGH. Die Briefe der deutschen Kaiserzeit. München, 1977. Bd. 1. Nr. 3. P. 26.

- ¹¹ *Ekkehardus IV.* Op. cit. С. 68–79. Р. 144–166. О порядке цитирования см. примеч. 4.
- ¹² См. анализ ономастического материала уникальной «Книги профессов»: *Das Professbuch der Abtei Sankt Gallen* / Hg. P.M. Krieg. Augsburg, 1931; См. также обширный ономастический материал санкт-галленской мемориальной традиции и документов: *Subsidia Sangallensia I...* с указанием дальнейшей литературы; *Фоглер В.* Очерк истории аббатства // *Культура аббатства Санкт-Галлен.* С. 9–24.
- ¹³ *Ekkehardus IV.* Op. cit. С. 100. Р. 204; С. 2. Р. 20; С. 66. Р. 140; С. 33. Р. 76; С. 141. Р. 274; С. 99. Р. 202; С. 22. Р. 58; С. 109. Р. 218; С. 39. Р. 88. Подробнее весь комплекс вопросов, относящихся к санкт-галленскому самосознанию рассмотрен нами в статье «Солнце взошло на Западе. Санкт-галленский монастырский патриотизм в раннее средневековье» // *Средние века М.*, 1998. Вып. 60. О цели и традициях монастырского образования и учености см.: *Leclercq J.* Op. cit. S. 19–171.
- ¹⁴ *Оксенбайн П.* Обучение и преподавание в монастыре св. Галла // *Культура аббатства Санкт-Галлен.* С. 133–144.
- ¹⁵ Св. Бенедикт допускал применение телесного наказания в отношении трех категорий монастырских насельников: детей, юношей и «бессовестных» (*improbis*), которые не в состоянии понять, «каким суровым наказанием является оглушение» (BR. С. 23. Р. 86; С. 30. Р. 94). О том, что телесные наказания тем не менее не всегда воспринимались с должным смирением, сообщает современник Эккехарда, хронист Херманн из Райхенау. Под 1006 г. он рассказывает о назначенном в Райхенау аббате Иммо, настоятеле Горца и Прюма, «оторый, будучи *vir austerus*, «постами, бичеванием и ссылкой» подтолкнул некоторых монахов к бегству из монастыря. Один из недовольных, «монах знатный и по-ученому остроумный», написал даже в прозе и стихах сочинение, в котором оплакивалось современное состояние монастыря (*Herimannus Augiensis (Contractus).* Chronicon / Ed. G.H. Pertz // MGH.SS. Vol. 5. P. 118).
- ²⁶ *Ekkehardus IV.* Op. cit. Passim. См. в особенности: С. 76. Р. 158; С. 118. Р. 230. Симптоматично, что в санкт-галленской историографической традиции в качестве наиболее общих вех истории выступают визиты императоров. См.: *Бершин В.* Латинская литература в Санкт-Галлене // *Культура аббатства Санкт-Галлен.* С. 152–153. На основе анализа комплекса санкт-галленских памятников: *Усков Н.Ф.* Указ. соч. Применительно к *Gesta Karoli* Ноткера Заики: *Goetz H.-W.* Strukturen der spätkarolingischen Epoche im Spiegel der Vorstellungen eines zeitgenössischen Mönchs. Eine Interpretation der «Gesta Karoli» Notkers von Sankt Gallen. Bonn, 1981. S. 11–12.
- ²⁷ BR. С. 2, 2. Р. 19; С. 27, 5. Р. 83 (ср. Лук. 15, 5).
- ²⁸ *Ekkehardus IV.* Op. cit. С. 57. Р. 124; С. 59. Р. 128, 130; С. 60. Р. 130; С. 61. Р. 132.
- ²⁹ То есть Ульрих не был внесен в книгу поминовения санкт-галленских монахов.
- ³⁰ BR. С. 2, 3. Р. 19–29.
- ³¹ *Ibid.* С. 63, 15.
- ³² Трудно сказать, воспринимал ли Эккехард в качестве причины конфликта ретийское происхождение Виктора, а затем и Энцилина. Но сам факт упоминания иной этнической принадлежности персонажей побуждает нас рассматривать ее в качестве одного из оснований индивидуального поведения.

33 BR. С. 1, 2. P. 17.

34 Еще авторы житий первых монахов подчеркивали своеобразный эгоизм аскетов, стремившихся, покинув общину, обрести личное спасение, и как св. Антоний «лишь на себя одного обращать внимание», не участвуя в отправлениях тех или иных общественных функций, хотя бы и в рамках церкви. См.: *Athanasius. Vita Antonii*. С. 3. Цит. по: *Frank K.S. Geschichte des christlichen Mönchtums*. Darmstadt, 1993. S. 18–19. Бенедикт, противопоставляя киновитов *genus sarabitarum*, отмечает, что сарабиты «затворяются по-двое, по-трое или вовсе в одиночку без пастыря, но не в овчарне Господа, а в своей собственной; законом для них является все, к чему влечет похоть (*pro lege eis est desideriorum voluptas*); и что бы ни считали, к чему бы ни склонялись, называют святым, а все, чего не желают, полагают недозволенным». Еще хуже сарабитов гироваги, которые «всегда бродяжничают и ни в чем не знают постоянства, и служат собственным желаниям и соблазнам глотки» (*semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluntatibus et gulae inlecebris servientes...* (BR. С. 1. P. 18–19).

35 BR. С. 7. P. 39–52.

36 ...*Secundum uniuscuiusque qualitatem vel intelligentiam* (Ibid. С. 2, 32–33. P. 25).

37 Ibid. С. 61, 2–3. P. 141.

38 Хейзинга Й. *Homo ludens*. М., 1992. С. 17.

39 О взаимоотношениях между монахами: BR. С. 63. P. 145–148, а также С. 69. P. 150: «Следует остерегаться, чтобы в монастыре один монах дерзнул в том или ином деле защищать другого или как бы оберегать его, даже если они близки по крови. И да не осмелятся монахи поступать так тем или иным способом, поскольку это

может послужить поводом для опаснейшей смуты. Если же кто-то сделает это, должен быть наказан с особой строгостью» (*Praecavendum est ne quavis occasione praesumat alter alium defendere monachum in monasterio aut quasi tueri, etiam si qualivis consanguinitatis propinquitate ingantur. Nec quolibet modo id a monachis praesumatur, quia exinde gravissima occasio scandalorum oriri potest. Quod si quis haec transgressus fuerit, acrius coerceatur*). См. также о взаимоотношениях с внешним миром: С. 54. P. 126–127.

40 Vita Odonis Cluniacensis // MPL. Vol. 133. P. 735.

41 Уже в VI в. монахам запрещается иметь отдельные кельи. На смену им приходят общие dormitorio, в которых, по-видимому, одновременно могло спать несколько десятков монахов. Так, по расчетам исследовательницы dormitorio, избранный на санкт-галленском монастырском плане, должен был вмещать 77 монахов. В самом же Санкт-Галлене к концу IX в. проживало 103 человека (*Horn W., Born E. Op. cit. Vol. I. P. 343–344*). Бенедикт лишь при многочисленности братии допускал наличие нескольких dormitorio: *Si potest fieri omnes in uno loco dormiant; sin autem multitudo non sinit, deni aut viceni cum senioribus qui super eos solliciti sint, pausent* (BR. Cap. 22. P. 77). См. также: *Schlösser J. Die abendländische Klosteranlage des frühen Mittelalters*. Wien, 1889. S. 10. Anm. 1.

42 *Ekkehardus IV. Op. cit. С. 32. P. 76.*

43 *Haefele H.F. Einleitung // Ekkehardus IV Sangallensis. Casus sancti Galli / Hg. H.F. Haefele. Darmstadt, 1980. S. 6.*

44 Вообще же активность устной памяти, ее значение, в том числе для консолидации социальной общности, в «дописьменный» период не стоит игнорировать. О пробле-

- ме в целом см.: *Richter M.* The Oral Tradition in the Early Middle Ages. Turnhout, 1994. Особенно P. 16–20 (Typologie des sources du moyen âge occidental. Fasc. 71).
- 45 *Meyer O.* Die Klostergründung in Bayern und ihre Quellen im Hochmittelalter // ZRG Kan. Abt. 20. 1931. S. 123–201; *Patze H.* Adel und Stifterchronik // Blätter für deutsche Landesgeschichte. 1964. Bd. 100; 1965. Bd. 101; *Idem.* Klostergründung und Klosterchronik // 1977. Bd. 113. S. 89–121; *Kastner J.* Historiae foundationum monasteriorum. Frühformen monastischer Institutionsgeschichtsschreibung im Mittelalter. München, 1974 (Münchener Beiträge zur Mediaevistik und Renaissance-Forschungen. Bd. 18); *Johanek P.* Zur rechtlichen Funktion von Traditionsnotiz, Traditionsbuch und früher Siegelurkunde // Recht und Schrift im Mittelalter. Sigmaringen, 1977. S. 131–160 (VuF. Bd. 23); *Holzfurtner L.* Gründung und Gründungsüberlieferung. Quellenkritische Studien zur Gründungsgeschichte der Bayerischen Klöster der Agilolfingerzeit und ihrer hochmittelalterlichen Überlieferung. München, 1984. Besonders S. 4–18 (Münchener Historische Studien. Abt. Bayerische Geschichte. Bd. 11).
- 46 См. об Эккехарде IV: *Haefele H.F.* Op. cit. S. 1–13; *Бершин В.* Указ. соч. С. 145–156. Ф.-Й. Шмале находит некоторые параллели с хроникой Эккехарда IV лишь в сочинении его современника из Санкт-Эммерама в Регенсбурге, Арнольда, *De miraculis beati Emmerami et de memoria beati Emmerami.* См.: *Schmale F.-J.* Funktionen und Formen mittelalterlicher Geschichtsschreibung. Darmstadt, 1993. S. 131.
- 47 Так, Ф.-Й. Шмале закономерно сравнивает хронику Эккехарда IV с «Книгой видений» Отлоха Санкт-Эммерамского (*Schmale F.-J.* Op. cit. S. 131. Anm. 21). См. также: *Отлох Санкт-Эммерамский.* Указ. соч. Особенно с. 223–226.
- 48 *Ekkehardus IV.* Op. cit. С. 136. P. 264.
- 49 Эккехард так и говорит о Ноткере: «Святой, чтобы сказать по правде, господин Ноткер...» (*Sanctus, ut vere asseram, dominus Nothkerus...* — Ibid. С. 35. P. 80). Составленное в XIII в. житие Ноткера Заики (или Поэта) опиралось прежде всего на подробный рассказ Эккехарда IV. Политические обстоятельства (борьба пап и императоров) помешали канонизации Поэта. Лишь в 1512–1514 гг. Ноткер был официально объявлен местночтимым святым (*Бершин В. С.* 154).
- 50 Так, анонимный автор Кведлинбургских анналов сетует на печальную судьбу монахов реформированной Фульды: «Они рассеялись и бродят повсюду... Теперь в наши времена, к несчастью, они сделались чем-то вроде зрелища для мира и пребывают себе на печаль, другим — на ужас». Сходная участь постигла монахов Корвея, Райхенау, Херсфельда (*Annales Quedlinburgenses / Ed. G.H. Pertz // MGH.SS. II. a. 1013, 1014, 1006, 1004).*

Н.Ф. Усков

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект № 97-01-00243)

Как судейский крючок женится на герцогине или Три версии одной истории

1 В современной социологической литературе появились исследования, посвященные случаю скандала. Он рассматривается как социально-культурное явление, неразрывно связанное с формированием и распространением общественного мнения. Скандал возникает в том случае, если некто ведет себя не по правилам, принятым в обществе. При этом, как отмечают социологи, его функция может быть двойной. С одной стороны, он отчетливо выявляет ценности, присущие определенной группе, и — через осуждение «скандалиста» — способствует утверждению социальной нормы. С другой стороны, если разгорается скандал, значит, что общепринятые нормы открыто нарушаются. Следовательно, он выявляет тот факт, что данные нормы уже не являются в полном смысле слова общепринятыми, и потому может содействовать изменению господствующей системы ценностей.

В этой статье представлена история одного скандала, произошедшего в последние годы правления Людовика XIV. Интересная для характеристики общественного мнения того времени. Замысел такого исследования впервые возник при чтении книги французского историка Мишеля Фуко «Королевский совет в царствование Людовика XV». Изучая о внутренней неоднородности дворянского сословия в границах, отделявших дворянство мантии от придворной элиты, автор привел в качестве примера такой случай: докладчик прошений королевского дворца по имени де Жьяк женился на герцогине де Шон, с которой заключил

мился в ходе судебного процесса. Брак вызвал целую бурю слухов и кривотолков при дворе. Все насмеялись над бывшей герцогиней и возмущались неслыханной наглостью простого чиновника, осмелившегося положить глаз на столь знатную особу. Скандал охватил не только двор, но и королевский совет. Советники и докладчики прошений вознегодовали и добились от короля того, что де Жьяку было запрещено впредь появляться на заседаниях совета. Позднее он вынужден был также оставить недавно приобретенную должность сюринтенданта двора королевы. Рассказав историю женитьбы де Жьяка на мадам де Шон, Антуан пришел к выводу, что «герцогиню и докладчика прошений разделяла целая пропасть».

2

Что-то в этом колоритном эпизоде, упомянутом в книге Антуана, оставалось до конца не ясным. Возмущение придворной знати понятно: мадам де Шон ради безумной страсти пренебрегла своим высоким рангом и почетными привилегиями герцогини и согласилась стать женой человека с более низким социальным статусом. Естественно что она шокировала высшее общество таким презрением к его нормам и обычаям. Но что возмутило королевских советников? Ведь для их коллеги де Жьяка брак с герцогиней не являлся постыдным мезальянсом и не ронял его достоинства. Так возникло желание разобраться в этом деле и, обратившись к сохранившимся документам, понять мотивы поведения действующих лиц. Итак, что же может вызвать для нас скандал, вызванный женитьбой де Жьяка?

3

* * *

Как обычно, и в этом скандале участвовали три стороны. Инициаторами его явились де Жьяк и в меньшей мере мадам де Шон. Скандализованной стороной оказались, в первую очередь, коллеги де Жьяка по королевскому совету. Именно они выразили свое возмущение и потребовали примерно наказать де Жьяка. Третья сторона – публика, наблюдавшая за скандалом и выносившая о нем свои суждения, – была представлена как высшим светом, так и более широкими кругами, которые принято называть просвещенным общественным мнением (речь идет об авторах литературных записок, дневников и корреспонденций, оставивших нам свидетельства о «деле де Жьяка»).

Познакомимся ближе с двумя «скандалистами». Они были людьми по-своему весьма примечательными. Главная героиня,

4 Анна Жозефа Бонье де ла Моссон — дочь и сестра крупных финансовых воротил из провинции Лангедок. В 1734 г. она стала супругой герцога де Шона. Брак герцога с дочерью финансиста был в то время явлением хотя и не скандальным, но все же не вполне обычным. В парижском высшем свете эта женщина казалась чужой. Ее часто упрекали в нарушении приличий. Разумеется, дело было не в ее многочисленных бурных романах и не в лихорадочной погоне за удовольствиями и острыми ощущениями. Она вращалась в таких кругах, где трудно было кого-либо удивить подобным поведением. Но на все имелись свои неписанные законы, которые герцогиня явно нарушала. Возмущение вызывала ее нервозность и неумение «властвовать собой».

Сильную неприязнь к герцогине де Шон испытывала хозяйка модного литературно-светского салона маркиза дю Деффан. В начале 40-х годов им довелось совершить вместе поездку на курорт. В письмах маркизы, адресованных одному из друзей, имя мадам де Шон встречается непрестанно, и упоминания о ней полны яда. Дю Деффан подробно описывает, как много и шумно герцогиня ест, как старается казаться естественной и оригинальной, хотя на самом деле просто дурно воспитана. «Боже мой! — негодовала мадам дю Деффан. — Как же она мне неприятна! Она совершенная сумасбродка: ест она, не обращая никакого внимания на время; в Жизоре она отобедала в восемь часов утра куском холодной телятины; затем в Гурне она поела хлеба, замоченного в горшке на обед каменотесу, съела кусок сдобной булки и, кроме того, три весьма больших бисквита. Мы приезжаем, еще только половина третьего, а она уже хочет рагу с рисом; ест она, как обезьяна, ее руки похожи на обезьяньи лапы; и она болтает, не переставая. Она воображает, что у нее есть фантазия и свой оригинальный взгляд на вещи, но так как ей недостает новых мыслей, она восполняет это странным поведением, под тем предлогом, что она-де ведет себя естественно». В другом письме мадам дю Деффан живописала, как неэстетично герцогиня ела курицу и пирожные.

6 Другая современница герцогини, маркиза де Креки, тоже к ней безжалостна. По ее воспоминаниям, «герцогиня де Шон была самой экстравагантной и нелепой особой во всей Франции. Это была толстая, надутая, разевшаяся вдова, пышущая мужицким здоровьем и философической чувствительностью. Она одевалась и причесывалась, как милая крошка, и сюсюкала при разговоре, *сьютобы казаться моложе*. Она была необычай-

но богата [...] Говорили, что ей хотелось снова выйти замуж; однако наследники об этом мало тревожились, полагая, что трудно будет сыскать придворного или даже просто знатного дворянина, готового встретиться лицом к лицу с такой грудой плоти, усов и нелепостей».

7

Итак, женщины-современницы изображали ее выскочкой-простолюдинкой, попавшей в высший свет благодаря большим деньгам, но так и не расставшейся со своими плебейскими замашками. Мужчины к ней гораздо более снисходительны. В их глазах она выглядела натурой взбалмошной, но несомненно незаурядной. Посол Габсбургов при французском дворе Мерси-Аржанто в письме императрице Марии Терезии характеризовал герцогиню де Шон как особу, «славную своим умом, а еще более — беспорядочным и экстравагантным поведением, нарушающим всякие запреты». Близко знавший герцогиню провинциальный интендант и литератор Сенак де Мейян посвятил ей несколько проникновенных страниц в своих мемуарах. По его словам, мадам де Шон была «особой редкостного ума», она «никогда не была красива, но имела примечательную наружность. Глядя в ее сияющие, выразительные глаза, можно было представить себе орла, который поднимается и парит в облаках. [...] Пока ум ее дремал, она держалась застенчиво и скованно. Ей недоставало грации, которая появляется лишь благодаря некой гармонии, и все ее жесты и движения отвечали пылкости ее ума. Даром мыслить она обладала в высшей степени. Преобладающими качествами ее ума были необыкновенная живость восприятия, исключительная проницательность и богатейшее воображение. Мысль, казалось, являла собой сущность ее природы; можно сказать, что она была предназначена единственно для применения своих умственных способностей. [...] Ее ум напоминал солнечную колесницу, покинутую Фаэтоном. [...] Она никогда не стремилась блистать. Тот, кому все дается без труда, стоит выше претензий. Она растрчивала ум подобно тому, как транжира тратит деньги: не для того, чтобы казаться, а просто из удовольствия тратить».

8

9

В этих разноречивых суждениях проглядывает не только черная зависть женщин к сопернице, с одной стороны, и благосклонность мужчин к экстравагантной даме, с другой. Существеннее то, что современники, принадлежавшие к одному и тому же высшему аристократическому кругу, оценивали поведение мадам де Шон, ориентируясь на разные системы ценностей.

Обе маркизы судили о госпоже де Шон, руководствуясь нормами и требованиями придворного общества. Достойный член этого общества должен уметь управлять своими чувствами, и отсутствие самоконтроля оценивалось негативно. Для особы, по рождению не принадлежавшей к высшей знати, это было вдвойне недопустимым. Тот, кто попал «из грязи в князи», должен особенно внимательно следить за своим поведением и не допускать никаких вольностей. Маркиза де Креки в своих воспоминаниях упомянула несколько известных ей мезельянсов, и среди выскочек, ставших женами аристократов, лишь одна вызвала ее одобрение. Это некая мадемуазель Маццарелли, по мужу маркиза де Сен-Шамон. Госпожа де Креки характеризует ее как женщину бедную и незнатную, но вместе с тем честную и умную. В чем же, по мнению маркизы де Креки, выражались ее честность и ум? В воспоминаниях описано, как скромно держалась но воиспеченная мадам де Сен-Шамон в присутствии знатных особ и согласилась приблизиться к ним, лишь когда ее самым любезным образом пригласили. Плебейке полагалось знать свое место. То, что у прирожденной аристократки могло бы сойти за новомодную естественность поведения, у дочери финансиста мадам де Шон воспринималось как проявление ее дурной плебейской натуры. В глазах придворного общества, герцогиня де Шон давала волю своим «низменным» чувствам и инстинктам именно потому, что была женщиной низкого происхождения, а не истинной аристократкой.

Сенак де Мейян смотрит на нее глазами литератора-просветителя, для которого светский человек — это актер, скрывающий под лживой маской свою подлинную человеческую натуру. У кого-то она может быть ничтожной, а у другого — необычайно богатой. Замысел Сенака де Мейяна состоял в том, чтобы показать эту подлинную сущность мадам де Шон, и для него в высшей степени привлекательно то, что она «не стремилась блистать», «казаться».

Характером, вкусами и увлечениями герцогиня походила на других членов семьи. Ее старший брат Жозеф Бонье де ла Мэссон, унаследовавший от отца должность генерального казначея штатов Лангедока, прославился скандальными любовными похождениями, но в то же время увлекался научными исследованиями и был заядлым коллекционером. Его кабинет физики и механики, химическая и фармацевтическая лаборатории, коллекция чучел животных почитались в числе лучших

в Европе и были открыты для публики. Добившийся успеха финансист стремился к общественному признанию. Средством завоевать уважение в глазах окружающих стало меценатство. Именно он пристрастил своего зятя герцога де Шона к научным экспериментам. Герцога и финансиста, столь далеких друг от друга по социальному происхождению, сблизил родственные узы и общие интересы. Они подолгу увлеченно вместе работали.

12

Бравый вояка де Шон, прославившийся в битве при Фонтенуа, стал ученым-естествоиспытателем. Теперь вся жизнь этого, по словам Гонкуров, «честного человека своего века» сплошь состояла из исследований, опытов, решения задач. У него не было друзей за исключением коллег из Академии наук». Он занимался физикой, естественной историей, астрономией, изобрел приборы для наблюдений за движением планет и машину, воспроизводящую грозовой разряд. Его последняя, опубликованная незадолго до смерти работа была посвящена «Наблюдениям за прохождением Венеры перед Солнцем».

13

В своих интеллектуальных запросах герцогиня не уступала мужу и брату и имела репутацию ученой особы. Она увлекалась науками и общалась с Вольтером. Для этой женщины, которая так и не стала своей в кругу высшей аристократии, академический мир давал возможность самоутвердиться. Здесь она, подобно другим светским дамам, могла заниматься меценатством и на выборах в Академию хлопотать за своих фаворитов.

14

Ее сын был буян и повеса. Имя молодого герцога де Шона вошло в историю из-за шумевшей ссоры с Бомарше. Герцог приревновал его к актрисе Менар, вызвал на дуэль, а потом, не в силах ждать, ворвался к нему в дом, учинив погром и потасовку. Говорили, что недостойное поведение сына немало ускорило смерть отца. Старый герцог де Шон скончался в 1769 г. Вскоре его наследство стало предметом судебной тяжбы между вдовой и сыном. Парижский парламент (высшая судебная палата) вынес решение, но сын остался им недоволен и направил кассационную жалобу в королевский совет.

15

Представлять дело в совете было поручено докладчику прошений королевского дворца г-ну Марсьялю Анри де Жьяку. Он происходил из старого рода провинциального дворянства мантии. Один из его предков в XIV в. был канцлером Франции, а в XVII—XVIII вв. де Жьяки занимали должности в парламенте Бордо. Марсьяль Анри, сын контролера канцелярии парламента Бордо, начал свою карьеру королевским советни-

ком. Затем он получил весьма престижную должность докладчика прошений королевского дворца и в этом качестве стал членом королевского совета и парижского парламента. На основании представления, сделанного де Жьяком, совет вынес решение в пользу вдовы герцога де Шона. После выигранного процесса герцогиня, заручившись согласием короля, вышла замуж за докладчика прошений.

Отзывы о де Жьяке разноречивы. Биографы к нему, как правило, благосклонны и изображают его умным и обаятельным человеком. Гонкуры пишут, что «докладчик прошений был хорош собой; этот галантный, скромный, остроумный и ловкий человек выглядел моложе своих тридцати пяти лет». Однако в изображении современников наш герой выглядит малосимпатичным. Мерси-Аржанто аттестовал его как личность «крайне ничтожную как по происхождению, так и по своим личным качествам». Убийственную характеристику де Жьяку дала маркиза де Креки: «Был в Париже [...] в одной из палат прошений некий безусый советник по имени г-н де Жьяк: самый педантичный, смехотворно кокетливый и наискущнейший законник. Он выглядел, как нарумяненный скелет, разряженный в лиловую тафту. Он брэнчал на мандолине, поджимая губки и строя глазки. Ему казалось, что он сочинил музыку и слова трагической оперы, хотя на самом деле он лишь приносившая фабриковать скороспелые пьески — то была поэзия, лишенная содержания и потому легкая». Трудно сказать, что в большей мере нашло отражение в этих словах: личные качества господина де Жьяка или характерный для светского человека взгляд на скандальную ситуацию и ее виновника. Каким вообще может быть судейский? Конечно же, скущнейшим педантом низкого происхождения. Если судейский равнодушен к искусству, то он претенциозен и смешон. Если он вдовавок женится на престарелой герцогине, он претенциозен и смешон вдвойне. Мерси-Аржанто еще добавляет, что де Жьяк «плебейского происхождения, выходец из Гаскони, и ему удалось затесаться в ряды дворянства лишь благодаря своему положению человека мантии и докладчика прошений». Это явно не соответствует действительности. Де Жьяк хоть и не герцог, но все же потомственный дворянин, чего никак нельзя сказать о вдовствующей герцогине, у которой отец был казначеем провинциальных штатов Лангедока, а дед торговал сукном.

30 ноября 1773 г. был заключен брак между докладчиком прошений королевского дворца господином де Жьяком и гер-

цогиней де Шон. Обоим новобрачным пришлось поплатиться за свое сумасбродство. Мадам де Жьяк лишилась прав на полагающиеся герцогине придворные почести. Наказание, постигшее самого де Жьяка, с присущей ей язвительностью описывает маркиза де Креки: «Парижский парламент решил проучить г-на де Жьяка [...]. Ему пришлось покинуть магистратуру, и король выслал его в Барезж. Мы видели, как он там прогуливается вдоль ручья, одетый наподобие оперного пастушка, под зонтиком, украшенным цветами шиповника, и с тростью в руке». Впоследствии его также заставили продать должность, приобретенную незадолго до свадьбы. На страницах одной из многочисленных анонимных «Секретных литературных корреспонденций» XVIII в. письмо с пометкой «Из Версаля, 20 июля 1775 г.» сообщает, что докладчик прошений г-н де Жьяк, «наделавший столько шума» своей женитьбой, был вынужден оставить место сюринтенданта финансов, доменов и дел королевы и продать эту должность парижскому интенданту Бертье де Совиньи.

Брак законника с герцогиней оказался неудачным. По мнению Сенака де Мейяна, причиной всему стало необузданное воображение этой женщины: «Если воображение рисовало ей прелести любви, она покорялась; ее рассудок руководил сердцем и чувствами и умел тут же украсить избранный предмет самыми блестящими качествами. И тот же деятельный, беспокойный, стремящийся узнать и вникнуть рассудок разрушал собственное произведение; чары рассеивались, и таким образом она делалась непостоянной. Так как рассудок ее совсем не состарился, она и в шестьдесят лет была подвержена всем ошибкам молодости». Как бы то ни было, супруги расстались, не прожив и года вместе. Бывшая герцогиня удалилась в обитель Валь-де-Гарс «со своими попугаями и макаками». Там она и умерла в конце 1782 г., успев перед смертью сказать свою последнюю остроту, увековеченную известным моралистом Шамфором в его «Характерах и анекдотах». Лежащую уже на смертном одре мадам де Жьяк известили о том, что священник принес последнее причастие, а супруг желает с ней проститься. «Он здесь?» — спросила умирающая. — «Да». — «Пусть пождет: он войдет вместе со священником».

Де Жьяк через несколько месяцев снова женился, на сей раз — будто по контрасту с первым браком — на бедной юной сироте. Все следующие годы он являл собой пример добропорядочного отца семейства. Конец идиллии положила револю-

ция. В 1793 г. де Жьяк как профессиональный юрист позволил себе публично высказать замечания о якобинском проекте конституции, и кара последовала незамедлительно. Его арестовали в полученном по наследству от вдовы герцога замке Сен-Ле и отправили на гильотину. Если его взбалмошная первая супруга сошла в могилу со светской остротой на устах, то основательный законник де Жьяк будто бы произнес перед казнью настоящий афоризм: «Я надеялся найти судей, но встретил лишь палачей».

* * *

Однако вернемся к первой женитьбе де Жьяка и посмотрим, как реагировали на нее окружающие и что именно их возмутило. В оставленных ими документах, записках и воспоминаниях обнаруживаются три различные версии случившегося казуса. Чаще всего дело преподносится как мезальянс (эта трактовка нашла отражение почти во всех источниках, за редкими исключениями, о которых будет сказано особо).

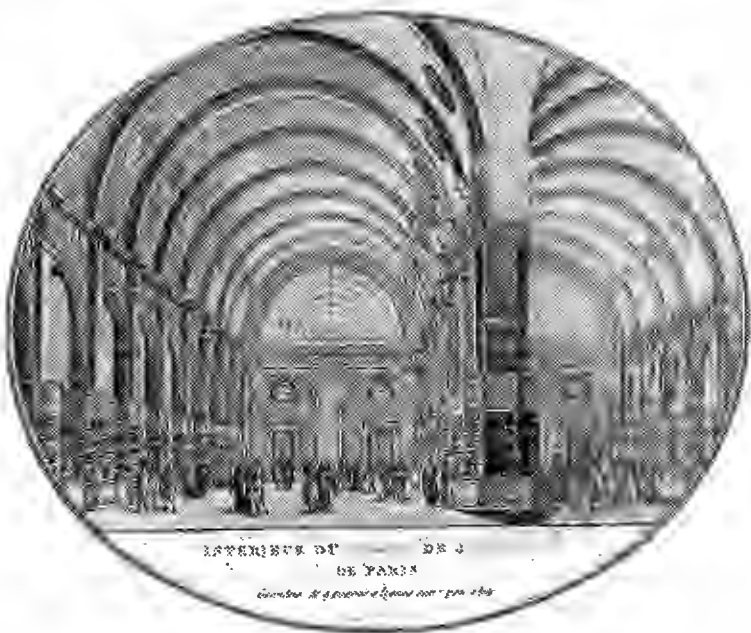
Так, в мемуарах маркизы де Креки мы находим светский анекдот о том, как люди, ставшие объектом розыгрыша, приняли его всерьез и что из этого вышло. Якобы маршал де Ришелье забавы ради, зная о желании овдовевшей герцогини вторично выйти замуж, пустил слух о ее скорой свадьбе с де Жьяком. Будущие супруги в то время, по словам маркизы, «совсем не знали друг друга. Этот слух распространяется по всему Парижу; им тоже об этом рассказывают; г-жа де Шон просит показать ей экипаж, ложу и самого г-на де Жьяка, et vice versa со стороны советника по отношению к герцогине. Они обращают друг на друга внимание, сближаются, знакомятся, влюбляются и наконец женятся». С точки зрения маркизы де Креки, для герцогини этот поступок представлял собой чистое сумасбродство (так как жених гораздо ее моложе и ниже по социальному статусу), для де Жьяка — брак по расчету, компрометирующий его достоинство судьи.

Мерси-Аржанто, докладывая о занятом происшествии в письме Марии Терезии, обращает внимание на разницу в социальном статусе, возрасте и имущественном положении супругов. «Этот Жьяк, человек крайне ничтожный как по происхождению, так и по своим личным качествам, хотя и не лишенный изворотливости, к тому же без состояния и без средств, вздумал всем обзавестись, снискав расположение

вдовствующей герцогини де Шон. В результате эта дама решила выйти за него замуж и написала г-же дофине, чтобы заручиться ее согласием на брак. Новость о предполагаемом браке сразу же вызвала множество насмешек при дворе; во всяком случае, повод тому был; герцогине де Шон [...] шестьдесят лет; ей принадлежат пятьдесят тысяч экю ренты и титул, который ставит ее на одно из первых мест при французском дворе. Г-ну де Жьяку тридцать лет; он плебейского происхождения [...]. Де Жьяк, по словам Мерси-Аржанто, «устроил при дворе смехотворный спектакль»; для герцогини же это был союз, «несо-
вместимый с ее титулом».

29

30



Парижский дворец правосудия.
Гравюра XIX в.

«Секретные записки к истории республики литераторов во Франции» повествуют о сумасбродстве герцогини, толкнувшем ее на нелепый мезальянс. Один из авторов «Секретных записок», публицист Муфль д'Анжервиль, 5 декабря 1782 г. извещает о смерти «вдовствующей герцогини де Шон, которая

31

из-за нелепой и безумной любви потеряла свое имя, достоинство и табурет». Когда у нее открылись глаза на этот низкий брак, она сама прозвала себя «Жьяковой женой».

Итак, с точки зрения многих, включая саму мадам де Шон, скандальный характер данного дела состоял в том, что имел место мезальянс. Насколько вообще скандальной, в свете социальных норм Франции старого порядка, выглядела такая ситуация, когда статус невесты оказывался выше, чем статус жениха?

Есть целый ряд исследований матримониальной стратегии французской аристократии. Они показывают, что для всех аристократических групп (военной знати, высшего чиновничества, финансовой аристократии) была характерна тенденция к эндогамности, дополнявшейся гипергамией женщин. То есть герцоги женились на дочерях чиновников и финансистов, но не отдавали за них своих дочерей. До 1723 г. включительно известен лишь один случай брака дочери герцога д'Юзес и дворянина мантии, государственного секретаря Летелье (1691 г.). Историк Ж.-П. Лабатью характеризует этот случай как исключительный и труднообъяснимый. Однако с тех пор прошло немало лет, и каких! В век Просвещения нравы изменились. Может быть, барьеры между различными группами аристократии стали менее жесткими? М. Антуан применительно к XVIII в. пишет о присущей чиновничеству королевского совета тенденции заключать браки в своей среде, но подчеркивает, что это правило не было жестким. В реальной жизни семьи, принадлежавшие к разным социальным группам, зачастую вступали между собой в родственные связи. По мнению одного из мемуаристов XVIII в., «во Франции нет правил насчет браков». Эту точку зрения разделяет и историк Ф. Блюш, отмечающий, что мезальянс всегда был «характерной чертой истории французских высших классов». Антуан подтверждает эти высказывания целым рядом примеров. Однако сами упомянутые им случаи свидетельствуют о том, что, за исключением женитьбы будущего канцлера Р.-Н. Мопу на дочери маркиза де Роншероля, речь шла о браках дочерей и сестер членов королевского совета с представителями придворной знати, т. е. это были примеры гипергамии женщин. Следовательно, у нас нет достаточных оснований говорить об изменении матримониального поведения французской аристократии во второй половине XVIII в. Брак вдовы герцога с докладчиком прошений представлял собой мезальянс совершенно исключитель-

ный, хотя сам по себе еще не давал основания для скандала и тем более для «оргвыводов» по отношению к де Жьяку.

Вместе с тем он дал обильную пищу для разговоров и пересудов. Причем за интересом французского общества к этому необычному браку стояло нечто большее, чем свойственное многим людям всех времен и народов удовольствие копаться в чужом грязном белье. О деле де Жьяка судачили не только салонные сплетники. Об этом примечательном казусе писали авторы литературных корреспонденций и рукописных газет, а австрийский посол счел нужным сообщить о нем императрице. Причина столь нездорового общественного интереса к событию из частной жизни в том, что в данном случае речь шла о нарушении официальной иерархии внутри придворного общества. Такого рода нарушение относилось не к частной сфере межличностных отношений, а, если воспользоваться выражением Ю. Хабермаса, к «публичной сфере, структурированной представительством». Дело получило широкий резонанс, потому что по своему характеру оно было не частным, а общественным. В мемуарах мадам де Креки есть характерная записка, датированная 1784 г.: «Среди угрожающих общественному порядку симптомов разложения особенно пугающими выглядели частые самоубийства и бесстыдные мезальянсы». По словам потрясенной маркизы, в 1784 г. в Париже имели место целых четыре самоубийства и столько же мезальянсов (разумеется, она говорила лишь о том Париже, который находился в поле ее зрения, т. е. о высшем свете). При этом все мезальянсы, о которых пишет маркиза, — это браки аристократов с певицами, актрисами и прочими женщинами низкого происхождения, а также брак принца Савойского с девушкой из дворянской, но не титулованной семьи. Случалось ли обратное, т. е. были ли аналоги экстравагантному поступку мадам де Шон? Вполне возможно, но они не получили столь широкой огласки. Один из авторов «Секретных записок, Пиданза де Меро-бер, делает запись, датированную 16 января 1774 г.: «Хотя смехотворные браки некоторых дам высшего света, заключенные по примеру брака госпожи герцогини де Шон, были тайными, многие не решаются поверить, что они имели место в действительности, в числе прочих речь идет о браке госпожи герцогини де Бранка с аббатом Черрати, госпожи маршалши д'Эстре с г-ном Лефевром д'Амекур, советником прежнего парламента, госпожи графини де Жизор с г-ном Латур-Дюроком, военным, прохвостом и интриганом и т. д.». В остальных ис-

38

39

точниках эти факты обойдены молчанием, следовательно, хотя мезальянс и являлся предметом обсуждения в обществе, его одного, по-видимому, было недостаточно для того, чтобы такое обсуждение началось. Требовались некие дополнительные обстоятельства, способные возбудить оживленные пересуды.

40 Более того, мезальянс в принципе вовсе не обязательно должен был вызвать осуждение. Он мог оцениваться по-разному: не только как бесстыдное пренебрежение принятыми в обществе правилами поведения, но и как попытка человека освободиться от навязанной ему извне жесткой регламентации и жить в гармонии со своими чувствами. В последнем случае мезальянс вызывал слои и не одобрение, то понимание. У де Жьяка и мадам де Шон были знаменитые предшественники — де Лозен и Мадемуазель де Монпансье (дочь Гастона Орлеанского и двоюродная сестра Людовика XIV). Если Гонкуры называют де Жьяка «Лозеном в мантии», то, наверняка, эта аналогия приходила в голову и людям второй половины XVIII в. В то время мемуары Мадемуазель де Монпансье пользовались известностью и были не раз переизданы. Вольтер в «Веке Людовика XIV» посвятил несколько прочувствованных страниц истории несчастной тайной женитьбы де Лозена. Прославленный философ замечал, что в истории можно найти сотни подобных примеров, даже в азиатских странах, где правители — «еще большие деспоты, чем король Франции». Брошенное как бы мимоходом упоминание об азиатских деспотах совсем не случайно, так как для Вольтера де Лозен — невинная жертва монаршего деспотизма. Король сначала дал ему согласие на брак, а затем взял свое слово обратно. Де Лозен, не посчитавшись с запретом, все-таки тайно женился на Мадемуазель де Монпансье, за что и был подвергнут длительному тюремному заточению. «Может ли тот, кто олицетворяет государство, так жестоко наказывать гражданина, не нарушившего никаких законов справедливости?» — восклицал Вольтер. —

41 «Может ли король быть к человеку более суровым, чем закон?». По мнению философа-просветителя, король, запрещая брак де Лозена с Мадемуазель де Монпансье, а затем наказывая де Лозена, проявил беззаконие и произвол. Придворное общество отнеслось к ним со злорадством и осуждением. Симпатии Вольтера всецело отданы де Лозену и Мадемуазель. С его точки зрения, они вольны были устраивать свою частную жизнь по собственному усмотрению. Осуждать их никто не вправе, так как законов они не нарушали. Тот же самый тезис, — я ведь

не нарушил никаких законов! — будет впоследствии одним из основных доводов де Жьяка в свою защиту. Люди века Просвещения, читавшие «Новую Элоизу», признавали естественным стремление индивида сломать давящие рамки установленных правил. Примечательно, что в «Энциклопедии» Дидро и д'Аламбера статья «Мезальянс» вообще отсутствует. Нарушение принятых в придворном обществе норм поведения находило себе оправдание в принципах просветительской морали.

Однако в случае с де Жьяком и мадам де Шон неравенство супругов состояло не только в различии их социальных статусов. Невеста была еще и намного богаче жениха, который получал в свое распоряжение как отсуженное с его помощью герцогское наследство, так и приданое жены. После кончины супруги де Жьяк унаследовал солидное состояние, оцениваемое в 12 млн ливров. Это обстоятельство особо подчеркивала маркиза де Креки. По ее словам, де Жьяк «скомпрометировал свое парламентское достоинство, женившись на сумасбродке из-за денег», за что и был наказан коллегами. На то, что де Жьяк явно вступал в брак по расчету, указывали также Мерси-Аржанто (с презрением) и автор «Секретной литературной корреспонденции» (скорее, со снисходительной иронией).

Было бы опрометчивым полагаться в данном случае на мнение мадам де Креки и усматривать в этом причину разгоревшегося скандала. В обществе, где брак рассматривался как союз не столько индивидов, сколько семей, брак по расчету представлял собой явление совершенно нормальное и не предосудительное. «Вступая в брак, придворный аристократ в первую очередь хотел “основать” и “поддержать” “дом”, обеспечивая престиж и связи в соответствии с положенным рангом, а также, по мере возможности, преумножить славу “дома”, представителями которого являлись оба супруга». Этим объяснялось отмеченное выше распространение гипергамии женщин: в интересах рода можно было взять богатую невесту из семьи с относительно низким социальным статусом. Поведение де Жьяка вполне следовало данной «логике престижа». Он нашел себе невесту с хорошим приданым. Невеста — вдова герцога? Что ж, тем хуже для нее, но не для жениха. В женитьбе на богатой вдове ничего неприличного не было.

Правда, в союзе де Жьяка с мадам де Шон имелось одно весьма пикантное обстоятельство. Невеста ведь была лет на тридцать старше жениха. На разницу в возрасте между де Жьяком и мадам де Шон обращают внимание маркиза де Креки,

Шамфор, Мерси-Аржанто и автор «Секретной литературной корреспонденции». Причем де Креки и Мерси-Аржанто лишь деликатно и без комментариев сообщают, сколько лет было де Жьяку и сколько герцогине. Только у Шамфора и в «Секретной литературной корреспонденции» (о которой подробнее речь пойдет ниже) мы встречаем выраженное со всей определенностью мнение о данном обстоятельстве как о нежелательном и способном вызвать пересуды. Шамфор изображает случившееся исключительно как историю брака между престарелой герцогиней и молодым магистратом: «Госпожа де Креки, говоря с герцогиней де Шон о ее браке с г-ном де Жьяком после неприятных последствий этого брака, сказала, что она должна была бы все это предвидеть, и подчеркнула разницу в возрасте. Мадам, — сказала ей г-жа де Жьяк, — знайте, что женщина, бывающая при дворе, никогда не стареет, а судейский всегда старик». При этом о какой-либо материальной заинтересованности со стороны де Жьяка Шамфор не говорит ни слова.

Разницу в возрасте общественное мнение в целом воспринимало спокойнее, чем разницу в социальном статусе, именно потому что брак представлял собой союз не индивидов, а семей. Возраст супругов — это их индивидуальная характеристика, не оказывающая влияния на общественное положение или престиж семьи, в то время как социальный статус индивида характеризует не только его, но и его семью.

Вот авторитетное мнение на сей счет автора многочисленных популярных трактатов о правилах хорошего тона аббата Морвана де Бельгарда: «Если старая дама вступает в брак с молодым человеком, то вправе ли она жаловаться на пренебрежение с его стороны? Я знаю, что он обязан быть с ней любезным и предупредительным в благодарность за те расходы, на которые она идет ради него. Но если она требует большего, если ждет неустанной заботы, любви и нежности, то она жестоко просчитается. *Дорине* пятьдесят лет; она вышла замуж за *Филиста*, которому только тридцать; он красив и хорошо сложен, любит тратить деньги и играть по-крупному. *Дорина* на все готова ради своего молодого супруга; она оплачивает его расходы; у него прекрасный экипаж и роскошный стол; но он совсем не любит *Дорину*, презирает ее, не выказывает ей ни малейшего почтения. Это бесчестный человек: благопристойность обязывает его возмещать соблюдением некоторых приличий недостаток любви к престарелой супруге, которая щед-

ро дает деньги для оплаты всех его расходов». Таким образом, с точки зрения моралиста, сам по себе такой брак не являлся чем-то скандальным. Оба супруга просто должны были вести себя в этой ситуации, как подобает воспитанным людям, и соблюдать внешнюю благопристойность. 47

Кроме того, если смотреть на вещи в свете основополагающей просветительской оппозиции «естественное чувство» / «предрассудки», то союз 30-летнего де Жьяка с 60-летней герцогиней мог выглядеть столь же естественным и непредвзятым, как и союз людей с разным социальным статусом. И век Просвещения дал тому немало примеров. Среди самых знаменитых — многолетние близкие отношения между упоминавшейся здесь в другой связи маркизой дю Деффан и английским поэтом Горацио Уолполом. О подобных делах могли судачить в свете, но оснований для громкого скандала они все-таки не давали.

Смысл второй версии происшествия состоит в том, что оно трактуется как дело о коррупции. С такой точки зрения события представлены в трех источниках: в письмах Мерси-Аржанто, в «Секретной литературной корреспонденции» и в бумагах, исходящих от членов королевского совета. Мерси-Аржанто рассказывает о том, как последние подали королю прошение исключить де Жьяка из их числа: «Г-ну де Жьяку вменялось в вину то, что сей докладчик прошений, готовый жениться на герцогине де Шон, заключил означенный союз в то время, как он выступал докладчиком процесса герцогини против ее сына, каковой и проиграл процесс. Вследствие этого, так как г-н де Жьяк запятнал себя подозрениями в обольщении и створе, правосудие требовало лишить его должности в магистратуре. [...] проступок г-на де Жьяка не допускал никаких извинений, а его совершенно абсурдное поведение еще усугубило вину [...]». Таким образом, в пересказе австрийского посла история была подана сразу в двух ракурсах. С точки зрения французской придворной знати: как смехотворный неравный брак между молодым вискочкой и престарелой богатой герцогиней. И с точки зрения чиновников королевского совета: как грубое нарушение профессиональной судейской этики, заключающееся в потворстве одной из тяжущихся сторон в целях извлечения материальной выгоды. 48

В письме из «Секретной литературной корреспонденции», помеченном «Из Версаля, 9 июля 1780 г.», читаем: «Г-н де Жьяк, докладчик на процессе герцогини де Шон, ставший за- 49

тем ее супругом, был обвинен недоброжелателями в том, что он заполучил прелести герцогини, увядшие от долгого сидения на табурете, а также ее очаровательную шкатулку с драгоценностями благодаря нечестному докладу во время процесса. В этой стране, где все люди честные, результатом стало то, что докладчика прошений отстранили от исполнения его обязанностей, вынудили продать должность сюринтенданта двора королевы и т. д.». Здесь де Жьяку вменяется в вину уже настоящее должностное преступление: он-де заведомо неверно представил дело в благоприятном для одной из тяжущихся сторон свете, чтобы завоевать доверие и симпатию своей клиентки и вступить с ней в выгодный брак. Суть дела, как излагает его автор «Секретной литературной корреспонденции», именно в этом, тогда как различия в возрасте и социальном статусе супругов предстают второстепенными, хотя и весьма пикантными обстоятельствами, способными придать казусу более широкую огласку.

Все рассматривавшиеся до сих пор отклики принадлежат тем, кто наблюдал за скандалом со стороны. Познакомимся теперь с архивными материалами по «делу де Жьяка», которые позволяют нам узнать точку зрения как самого «скандалиста», так и его рассерженных коллег из королевского совета.

Согласно отчету о деле, составленному деканом королевского совета Ж.Б. д'Агессо, 22 октября 1773 г. он вместе с одним из старейших государственных советников, Ж.Ф. Жоли де Флёри, после заседания подошел к канцлеру Р.Н. Мопу и предупредил того, что докладчик прошений де Жьяк готовится вступить в брак с герцогиней де Шон, чей процесс он недавно докладывал, и что герцогиня дала ему денег на приобретение должности сюринтенданта двора дофины. Основываясь на этих фактах, два уважаемых советника обратились к канцлеру с просьбой ходатайствовать перед королем об отстранении де Жьяка от участия в работе совета. Несговорчивый Мопу, однако, просьбе не внял, и тогда на следующий день д'Агессо собрал у себя 14 государственных советников. Они решили обратиться напрямую к королю и составили для него докладную записку, в которой отмечалось:

«1) что г-н де Жьяк был докладчиком процесса госпожи герцогини де Шон против ее сына;

2) что едва процесс закончился, как он приобрел должность по цене гораздо более высокой, чем та, которую платил его предшественник;

3) что, когда стали выяснять скрытые причины столь странного события, распространился слух о женитьбе г-на де Жьяка на г-же герцогине де Шон [...];

4) что гг. члены совета не могли не обнаружить в поведении г-на де Жьяка доказательств интриги, начатой в то время, когда он был докладчиком г-жи де Шон.

Фрагонар.
Брачный
контракт



Они просили Короля запретить г-ну де Жьяку появляться в Совете». Докладная была передана королю в тот же день. Однако и де Жьяк не дремал. Он, со своей стороны, тоже сочинил две докладные записки на имя короля. Аргументы, выдвинутые де Жьяком в свою защиту, в основном сводились к следующему: он никогда не виделся с мадам де Шон до того, как его назначили докладчиком на ее процессе против сына; ма-

дам де Шон вообще не являлась тяжущейся стороной, а он сам — ее судьей, так как речь шла о рассмотрении поданной сыном кассационной жалобы на решение парижского парламента (единственной тяжущейся стороной в деле выступал молодой герцог де Шон); преисполненная благодарности, мадам де Шон решила вознаградить своего достойного докладчика за торжество правосудия и, ни слова ему не говоря, начала хлопотать о приобретении для него должности, а затем сама предложила заключить брачный союз; он-де поначалу сопротивлялся, но «затем ум и душевные качества этой дамы его тронули», тем более что дама проявляла настойчивость; наконец, четыре месяца спустя после слушания дела он решил, что необходимый срок давности уже истек и препятствий для брака с герцогиней больше нет. «Когда слушание дела завершено, отношения судьи и сторон прекращаются; между ними остаются лишь отношения, присущие человеку и гражданину, и им полностью возвращаются права, дарованные природой и законами», — утверждал он. Впрочем, в своей первой докладной записке на имя короля де Жьяк заявлял о том, что, узнав о впечатлении, произведенном его близящейся женитьбой на господ членов совета, он готов от нее отказаться, «пока ложные предрассудки не будут побеждены». Но это не помогло.

В ответ на записки де Жьяка 22 ноября 1773 г. 19 государственных советников составили новое письмо королю. В нем они опять обращали внимание на то, что де Жьяк вступил в недопустимые для судьи отношения с одной из тяжущихся сторон, а затем, в результате брака с герцогиней, получил в качестве приданого то самое имущество, которое и составляло предмет тяжбы. «Итак, значит впредь дозволено сразу после решения суда заключать сделки с заинтересованной стороной, только что участвовавшей в процессе, принимать от нее всякого рода подношения, подарки, услуги? Как знать, не был ли уговор достигнут перед решением суда.

Если бы подобное могло стать правилом, правосудие превратилось бы в торг. Сколь опасно было бы для подданных Короля позволить судьям рассматривать выносимые ими постановления по делам как способ извлечения дохода.

Г-н де Жьяк ссылается на то, что законы на сей счет молчат. Горе тому, кто в подобном случае обращается к книгам. Законами не предусмотрено, что могут быть судьи, полагающие допустимым принимать подношения». И в заключение

они опять потребовали, чтобы де Жьяку было навсегда заказано появляться в совете.

Отличительная особенность рассуждений рассерженных советников — отсутствие столь хорошо знакомой нам по другим документам темы мезальянса. Есть лишь намеки на разницу в материальном положении супругов: де Жьяк, у которого не могло хватить денег на покупку должности сюринтенданта при дворе дофины, вступил в брак с женщиной, несомненно богатой. Доминирует же здесь тема коррупции. Докладчика прошений обвиняют не в том, что он вступил в неравный брак, а в том, что, обязанный как судья сохранять беспристрастность, он вступил в личные отношения с мадам де Шон и приобрел должность сюринтенданта на ее деньги. Отметая возражения де Жьяка и его ссылки на права человека и гражданина, члены совета аргументируют свою непреклонную позицию тем, что за внешней свободой поведения докладчика прошений скрывается грязная продажность. В интерпретации коллег де Жьяка женитьба выглядит скорее уловкой, нацеленной на то, чтобы замаять уже разгорающийся скандал и придать благопристойный вид заключенной сделке. Не случайно де Жьяк, оправдываясь, будет настаивать на том, что вопрос о браке между ним и герцогиней обсуждался уже в то время, когда он покупал должность сюринтенданта.

57

В докладных записках де Жьяка тоже нет ни слова ни о каком мезальянсе, что вполне естественно. Он ведь пытался опровергнуть не насмешки светских дам и господ, а обвинения своих коллег. Обвиняли же его в коррупции. В 1773 г. попытки оправдаться, как мы знаем, не удались, но де Жьяк не сдавался. В июле 1778 г. он снова подает докладную записку на имя уже другого короля, Людовика XVI. В ней он с некоторыми вариациями повторяет прежние аргументы, добавляя следующую сентенцию: «Что же касается несообразности положения и богатства между ним и г-жой герцогиней де Шон, то впервые возникла мысль обесчестить человека из-за того, что он женится на женщине богаче, чем он сам».

58

Летом 1780 г., согласно «Секретной литературной корреспонденции», де Жьяк обратился к королю с патетическим письмом, в котором бросал в лицо своим недоброжелателям их же обвинения в продажности и объявлял себя жертвой интриг со стороны Жоли де Флэри и хранителя печатей Миромениля: «Меня удивляет, что при самом справедливом, более всего осерегающемся интриг Короле бесхарактерный министр [Ми-

ромениль] и жестокий государственный советник [Жоли де Флёр] — два человека, которые не любят ничего, кроме денег, — смогли преодолеть его справедливое недоверие! Мое уважение к Вашему Величеству заставило меня вот уже три года молча ждать торжества правосудия, которого я мог бы добиться, если бы мне было позволено вызвать этих особ в суд. Если Ваше милосердие способно защитить их от бесчестья, то как оно может оставить обесчещенным самого невинного и верного из подданных?.. Разве при Вашем дворе, Сир, Кончини менее уязвимы, чем при дворе великого Генриха? — Вы, Сир, не уступаете ему ни в справедливости, ни в упорстве, так что позволяете подданному, который Вас боготворит, поразить двух злодеев» и т. д. При этом автор «Секретной литературной корреспонденции» сообщает, что ходят даже слухи о возможном производстве де Жьяка в государственные советники. Но этого не произошло. На протяжении долгих лет он добивался также возмещения убытков, которые понес в результате отстранения от работы в совете. На сей счет сохранились документы, относящиеся к 1775 и 1788 гг. В первый раз генеральный контролер финансов Тюрго ему отказал, а в 1788 г., в момент острого финансового и политического кризиса, который переживала тогда Франция, уже ни у кого не было желания разбираться с забытым делом пятнадцатилетней давности.

Таким образом, коллеги обвиняли де Жьяка в лучшем случае — в нарушении профессиональной этики, в худшем — в коррупции. Странно, что эти серьезные обвинения — а ведь именно они послужили основанием для отстранения де Жьяка от участия в работе королевского совета — слабо отразились в откликах современников на событие. Из известных нам источников о них не сообщает никто, кроме Мерси-Аржанто и «Секретной литературной корреспонденции». И, напротив, в воспоминаниях и записках современников на первый план выходит вопрос о мезальянсе, о котором вообще не упоминают члены королевского совета.

Это несоответствие особенно бросается в глаза при сопоставлении дела де Жьяка с развернувшимся в наши дни скандалом вокруг 60-летнего калифорнийского судьи Джорджа Трэмелла, который занимался уголовным делом супругов-тайваньцев, арестованных по обвинению в похищении людей. В ходе разбирательства муж неожиданно заявил, что судья соблазнил его 30-летнюю жену и даже добивался от нее согласия на брак. Эти обвинения стали достоянием гласности. Судья

все отрицал, но тем не менее был вынужден подать в отставку. Малоприятная история привлекла внимание журналистов, и в центре дискуссии встал вопрос о том, действительно ли судья Греммелл нарушил нормы профессиональной этики и вступил в близкие отношения с подозреваемой или же инвективы в его адрес являются попытками запятнать репутацию судьи с целью отстранить его от ведения дела. Такие детали, как принадлежность судьи и женщины к разным общественным кругам, этнические различия между ними (Треммелл — белый, а женщина — китаянка) и разница в возрасте, упоминаются лишь как штрихи к портретам действующих лиц. Предметом обсуждения в прессе и в обществе становится не социальное неравенство судьи и замешанной в деле женщины, а сам факт их личных отношений. В XVIII в. произошло как раз наоборот. Тогда предметом публичной дискуссии стал не факт нарушения судьей норм профессиональной этики, а неравный брак.

Чем объясняется глухота современников к тем обвинениям в адрес де Жьяка, которые высказали его коллеги? Во-первых, в порядочном обществе вообще считалось неприличным говорить о деньгах, а ведь коллеги обвиняли де Жьяка по сути дела в продажности. В бумагах, адресованных членами королевского совета лично его величеству и не предназначенных для чужих глаз, об этом можно было сказать прямым текстом. Докладная записка королю о недостойном поведении одного из его чиновников — не светская беседа, и в ней вовсе не обязательно придерживаться правил хорошего тона. Но авторы прочих документов рассказывали историю де Жьяка, неукоснительно соблюдая все приличия. Во-вторых, разная реакция общества на дело де Жьяка и судьи Треммелла свидетельствует об изменившихся за прошедшие двести лет представлениях о публичной и частной сферах. В настоящее время в сферу публичного интереса входят вопросы профессиональной этики судьи. Был ли судья честен? Сохранил ли он беспристрастность по отношению ко всем лицам, проходящим по делу? Считается, что именно эти вопросы должны волновать общество. Все остальное — подробности частной жизни, и уважающий себя журналист солидной газеты не может их смаковать.

Для современников де Жьяка вопрос о соблюдении им норм профессиональной этики оставался частным делом членов королевского совета. Разумеется, нельзя думать, что в XVIII в. работа государственных учреждений была наглухо закрыта от общественности. Общественное мнение настойчиво

60

61

вторгалось в эту сферу. Достаточно вспомнить известную кампанию по защите жертв судебного произвола, развернутую Вольтером. Однако вопрос о том, следовал некий член королевского совета правилам профессиональной этики или нет, большого интереса за пределами совета не вызвал. Это было частное дело самих чиновников, которое им предстояло выяснять в узком кругу. В глазах общественности все затмил брак с герцогиней. Мезальянс воспринимался не как факт частной жизни, а как дело, представляющее общественный интерес, так как он самым скандальным образом нарушал неписанные законы внутрисословной иерархии.

Однако члены королевского совета, как мы знаем, усматривали скандал вовсе не в женитьбе на герцогине, а в том, что де Жьяк в ходе судебного разбирательства принял от нее подношение в виде выгодной должности. В связи с этим, естественно, возникает вопрос: действительно ли в то время коррумпированность судьи являлась делом столь неслыханным, что сама по себе могла вызвать возмущение его коллег? Современники так не думали. Автор «Секретной литературной корреспонденции» с нескрываемой иронией пишет о том, что «в этой стране все люди честные», и потому нечестный поступок де Жьяка не мог остаться безнаказанным.

Тем самым автор «Секретной литературной корреспонденции» дает понять, что некорректное поведение де Жьяка послужило лишь удобным поводом для его опалы, тогда как истинная причина кроется совсем в другом. В чем именно, данный источник умалчивает. Но об этом открыто заявляет сам де Жьяк и излагает нам уже третью версию происшедшего. С его точки зрения, дело имело политическую подоплеку. Так эта, казалось бы, совершенно частная история о мезальянсе вкупе с коррупцией оказывается вписанной в контекст крупных политических событий, потрясших Францию в последние годы правления Людовика XV.

Чтобы понять аргументацию де Жьяка, вспомним эти события. В начале 1771 г. канцлер Мопу при поддержке короля предпринял глубокую и имевшую важные политические последствия реформу системы правосудия. Существовавший во Франции обычай продажи судебных должностей упразднился. Вместо прежних парламентов, где судьи являлись собственниками своих должностей, учреждались новые суды, члены которых назначались и могли смещаться по королевскому указу. Реформа Мопу, которую некоторые историки расценивают

как проявление политики «просвещенного абсолютизма» во Франции, вызвала бурную реакцию в обществе. Естественным было негодование старой парламентской магистратуры, получившей неожиданную отставку. Но возмущалась не только она. Общественное мнение было в основном враждебно реформе, усматривая в ней проявление деспотизма и нарушение неписаных законов французской монархии. Скандал вокруг женитьбы докладчика прошений де Жьяка неожиданно оказывается тесно связанным с реформой Мопу. 63

В докладной записке, составленной в 1788 г., де Жьяк настойчиво повторял, что женитьба на герцогине послужила лишь поводом для враждебных выпадов против него. Подлинная же причина в другом: «Мое имя, характер и чувства ко мне, которые г-н Канцлер де Мопу публично выказывал со дня своего вхождения в Совет и сохранил вплоть до самой моей опалы, — все это привело к тому, что у меня появились тайные враги... Моя душа, устремленная к добру, моя преданность друзьям в ущерб самому себе, мое чисточердечие и неспособность угождать невежеству и пороку только ожесточили их. Три министра и женщина, у которой была вся власть, замыслили уволить Канцлера; благосклонность, коей удостоивали меня покойный Король, Монсеньер Дофин, Госпожа Дофина и вся Королевская семья, могла стать преградой их планам, поэтому они решили попытаться устранить меня любыми путями. 64

В это время г-н Мопу чувствовал слабость своего положения; он не знал, как противостоять сложившемуся против него заговору; политические неудачи мешали ему действовать, и, кроме того, его еще попытались лишить поддержки, которую, как полагали, я был в состоянии ему оказать». Итак, по словам де Жьяка, он стал жертвой политических интриг. С ним расправились враги канцлера Мопу, используя как предлог брак с мадам де Шон. «Можно ли так насмехаться над честью Гражданина! — восклицает де Жьяк. — [...] Я впервые узнал [...], что покойный Король, вразрез со священными правами граждан и предписаниями своих собственных законов, простым письмом, написанным от его имени декану Совета 10 декабря 1773 г., освободил меня от основных обязанностей, связанных с моим положением, не выслушав меня, не дав мне судей и не объявив мне своего, с позволения сказать, решения». На дворе был уже 1788 г., и то, что раньше преподносилось как несправедливость к «самому невинному и верному из 65

подданных», теперь, в духе времени, следовало изображать как произвол и нарушение «священных прав гражданина».

Разумеется, на мнение одного де Жьяка полагаться нельзя. Ему гораздо приличнее было бы выглядеть жертвой политических интриг, нежели коррумпированным судьей. Но подтверждение этой версии мы находим в «Дневнике» книгопродавца Симеона Проспера Арди. Этот насыщенный разнообразной информацией манускрипт представляет собой не столько дневник в собственном смысле слова, сколько рукописную газету. На протяжении многих лет Арди регулярно заносил в нее парижские происшествия и слухи и столь же регулярно читал все это посетителям своей книжной лавки. В записи от воскресенья 24 октября 1773 г. читаем: **«Слухи, касающиеся г-на де Жьяка, докладчика прошений и креатуры г-на канцлера.** Сегодня распространился слух о г-не де Жьяке, уроженце Бордо, докладчике прошений с 1768 г., примерно 35 лет от роду, только что получившем место сюринтенданта финансов, доменов и дел Госпожи Дофины [...]. Говорят, что он, выступив в Совете докладчиком в ходе процесса между вдовствующей герцогиней де Шон и ее сыном герцогом де Шоном — процесса, который герцогиня выиграла, вообразил не только возможным для себя претендовать на руку герцогини, но даже предпринял шаги, чтобы добиться ее согласия. Государственные советники и докладчики прошений сочли его поведение по меньшей мере неподобающим; в первый раз они собрались, чтобы обсудить такое неосторожное поведение одного из членов Королевского совета, и постановили подать жалобу Господину Канцлеру, но так как Глава правосудия их не выслушал, они приняли решение собраться второй раз и составить докладную записку, которая и была подана Королю в Фонтенбло депутацией под председательством декана Государственного совета г-на д'Агессо. Эта записка возымела успех незамедлительно, ибо почти сразу после того, как она была вручена Его Величеству, г-н де Жьяк получил запрет впредь являться в Совет. В то же время он лишился пенсии в двенадцать тысяч ливров, предоставленной ему Канцлером, чьей креатурой он является. Наконец, говорят, что ему придется отказаться от места сюринтенданта финансов, доменов и дел Госпожи Дофины, так же как и от должности докладчика прошений и затем, возможно, удалиться в провинцию, откуда он приехал. Радуюсь унижению этого господина де Жьяка, все вспоминают, что в то время, когда члены Совета проявили роковую уступчивость и заместили

во Дворце правосудия членов прежнего Парламента, он был шпионом господина Канцлера вместе с сыном последнего — г-ном Мопу, также докладчиком прошений, и давал Канцлеру полный отчет обо всем, что происходило на их заседаниях. Все это было еще свежо в памяти его коллег». Дневник Арди отчетливо передает бытовавшую в парижском обществе неприязнь и к реформе Мопу в целом, и к де Жьяку как ставленнику непопулярного канцлера.

68

Таким образом, вырисовывается приблизительно следующая картина. В высшем обществе абсолютистской Франции постоянно шла закулисная борьба, и ее участники никогда не отказывали себе в удовольствии унижить того, кто принадлежал к соперничающей группировке. Проведение глубокой политической реформы не могло не привести к обострению этой борьбы. А парламентская реформа Мопу была смелым и серьезным начинанием. Одни ее приветствовали, другие резко осуждали. Страсти накалились, сторонники и противники Мопу относились крайне враждебно к представителям противоположного лагеря. И в такой накаленной атмосфере докладчик прошений де Жьяк, известный как «человек Мопу», сам подставил себя под удар явным нарушением правил профессиональной судейской этики. Де Жьяк устраивал свои личные дела и, по его представлениям, действовал вполне корректно, не совершая ничего предосудительного. Конечно, он был далек от идеала беспристрастного и неподкупного судьи, но разве только он один таков? Можно предположить, что в иной ситуации (если бы не кипели страсти вокруг Мопу) ему бы все сошло с рук. Светские сплетники и, особенно, сплетницы позлословили бы по адресу бывшей герцогини, и этим бы дело кончилось. Де Жьяк мог сорвать солидный куш, ничего не потеряв. Вышло иначе. Повод для скандала в королевском совете он дал. Коллеги не проявили снисходительности и, имея на то веские основания, обвинили его в бесчестном поведении. Наблюдавшая за скандалом публика, не желая вникать в детали чиновничьего крючкотворства, увидела гораздо более пикантную и интересную для себя сторону дела: какой-то судейский женится на герцогине! Что в действительности произошло между ним и герцогиней де Шон, нам неизвестно. Впрочем, что касается герцогини, то ее поведение понятно и вполне типично для этой взбалмошной дамы. А чем руководствовался де Жьяк? Только ли меркантильным расчетом или тщеславием? Или же он в какой-то момент начал испытывать дружескую

симпатию к столь экстравагантной особе, увенчанной герцогским титулом? В конце концов, это его сугубо частное дело. Но в результате женитьбы на герцогине оно вышло за пределы закрытого для публики пространства королевского совета, стало предметом обсуждения в обществе и таким образом приобрело публичный характер.

В этом скандале вокруг де Жьяка отчетливо видна его функция выявления и утверждения социальных норм. О возможном влиянии данного казуса на изменение общественных нравов говорить трудно: для этого он все-таки являлся недостаточно масштабным. Маркиза де Креки, несомненно, была права, говоря о том, что подобные истории могут служить симптомом неких изменений в обществе, только если они становятся многочисленными. Впрочем, как мы знаем, герцогиня де Шон, возможно, и стала законодательницей своеобразной моды на мезальянсы. Но это уже другой сюжет. А «дело де Жьяка» само по себе не дает возможности судить о том, содействовало ли оно хоть сколько-нибудь изменению господствующих в обществе норм и ценностей.

Но данный казус позволяет нам судить о том, какие именно нормы и ценности бытовали в обществе. Три участвовавшие в скандале стороны — «скандалист» де Жьяк, скандализованный королевский совет и наблюдавшая за происходящим публика — интерпретировали его по-разному (чтобы понять, как его интерпретировала мадам де Жьяк, у нас недостает сведений). Сам де Жьяк и меньшая часть наблюдавшей публики (представленная среди известных нам очевидцев только книгопродавцем Арди) усматривали в нем дело с политической подоплекой, «скандализованные» чиновники из королевского совета — дело о коррупции, а большая часть публики (которую составляли как люди высшего света, так и носители просвещенного общественного мнения) — мезальянс. Интерпретация данного казуса со всеми его нюансами как в первую очередь и по преимуществу мезальянса выражает взгляд на него с позиций придворного общества, потому что среди всех обстоятельств дела именно неравенство социального статуса являлось самым вопиющим нарушением принятых в этом обществе норм.

Если взглянуть на общественное мнение Франции второй половины XVIII в. сквозь призму «дела де Жьяка», то это позволит добавить некоторые штрихи к привычной картине. Общеизвестно, что в век Просвещения абсолютистское государ-

ство и королевский двор утратили господство над умами. Интеллектуальное влияние завоевали оппозиционные силы, главным образом парламенты и «философы», чьи идеи широко распространялись в салонах, академиях, философских обществах и в прессе. Анализ «дела де Жьяка» не опровергает этой схемы, но лишь предупреждает против излишне категоричных обобщений. Двор, при несомненном упадке его «культурной гегемонии» в конце Старого порядка, полностью еще не утратил возможности влиять на «город». Самый яркий пример такого влияния — кампания по дискредитации Марии Антуанетты, которая началась в предреволюционные десятилетия в высших придворных кругах и сформировала в общественном мнении негативный образ королевы, сохранившийся вплоть до наших дней. Нечто похожее произошло и с «делом де Жьяка». То преобладание, которое получила именно придворная версия этого казуса, в том числе и за пределами аристократического круга, свидетельствует о сохранившемся влиянии системы ценностей придворной среды на общественное мнение эпохи Просвещения. Эта версия затмила все остальные и была воспринята современным историком.

69

Примечания

¹ *Ebbighausen R., Neckel S.* Anatomie des politischen Skandals. Frankfurt-am-Main, 1989.

² *Antoine M.* Le Conseil du Roi sous le règne de Louis XV. Genève, 1970. P. 261–262.

³ Задача упрощалась тем, что Антуан в своей книге дает отсылки к архивным фондам, касающимся де Жьяка.

⁴ Герцоги, как правило, заключали браки либо в своей среде, либо с дочерьми родовитых военных. Если они снисходили до дочерей дворян мантии, то в таких случаях отец невесты обычно являлся министром или президентом парламента. Брачные союзы между семьями герцогов и финансистов были крайне редки (см.: *Labatut J. P.* Les ducs et pairs de France au XVIIIe siècle. P., 1972. P. 140–141, 193).

⁵ *Correspondance complète de la marquise du Deffand.* P., 1865. Vol. I. P. 16.

⁶ *Ibid.* P. 37.

⁷ *Créquy V. de.* Souvenirs de la marquise de Créquy de 1710 à 1803. P., 1840–1842. T. 2. P. 5.

⁸ *Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau / Ed. A. d'Arneth, M.A. Geffroy.* P., 1875. Vol. 2. P. 66.

⁹ *Sénac de Meilhan G.* Le Gouvernement, les moeurs et les conditions en France avant la Révolution. P., 1862. P. 318–320.

¹⁰ *Elias N.* La société de cour. P., 1985. P. 107–110.

¹¹ *Créquy V. de.* Op. cit. T. 5. P. 236–244.

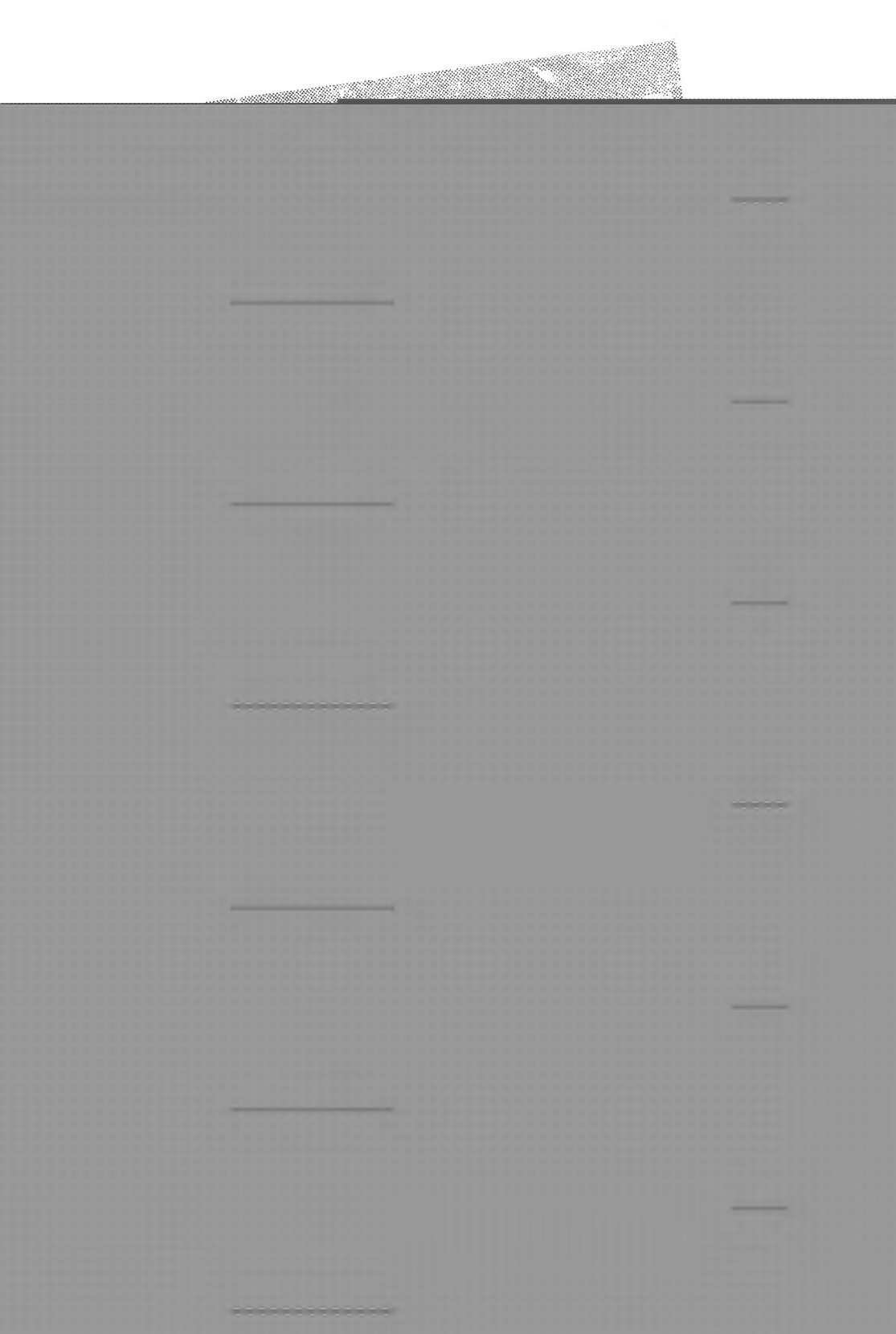
¹² *Chaussinand-Nogaret G.* Les financiers de Languedoc au XVIIIe siècle. P., 1970. P. 280–281.

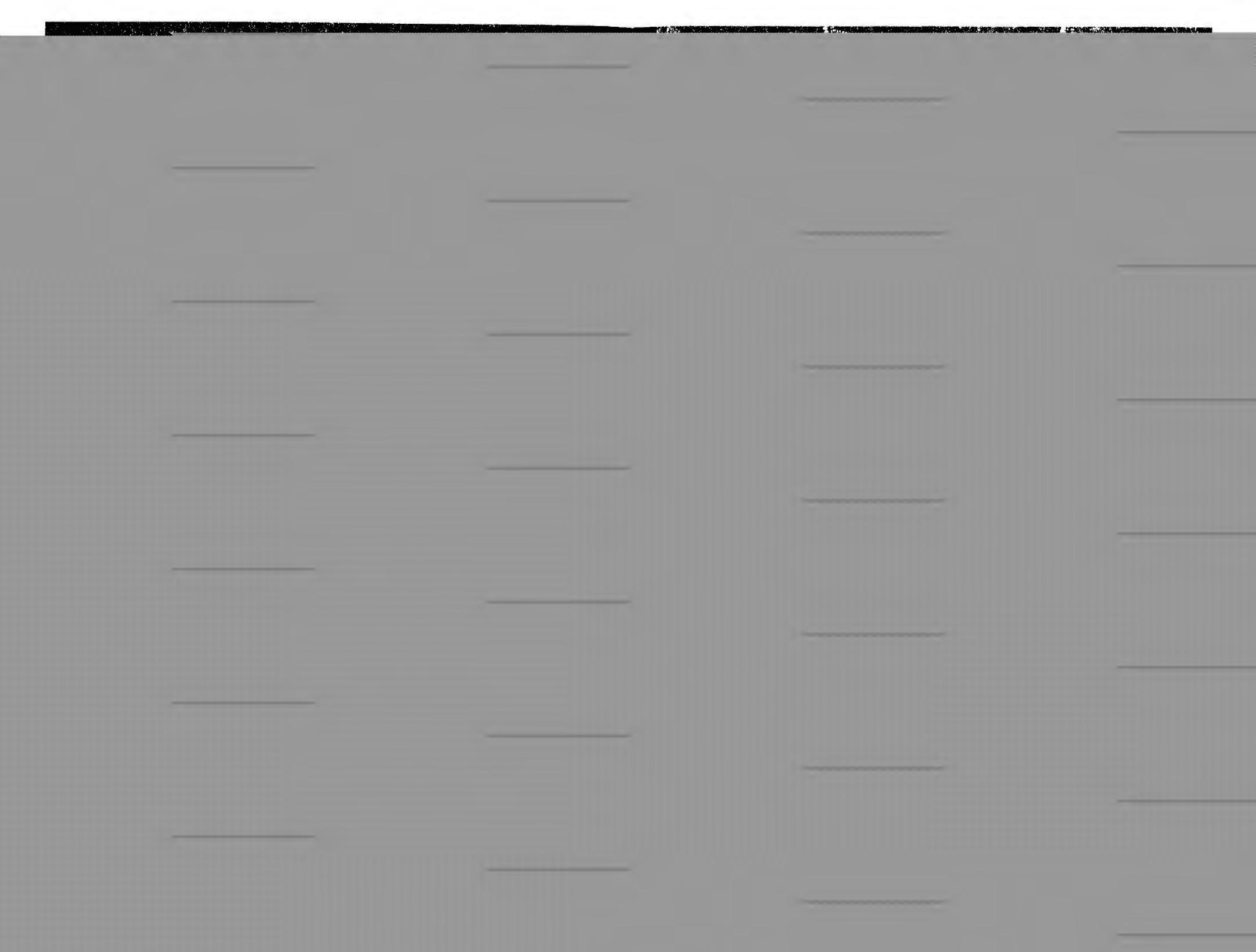
- ¹³ *Goncourt E., J. de. Portraits intimes du XVIIIe siècle.* P., 1879. P. 209.
- ¹⁴ О возникшем на этой почве конфликте между двумя дамами см.: *Correspondance complète de la marquise du Deffand.* Vol. 1. P. LXV, 224.
- ¹⁵ Описание этого скандала см.: *Chroniques pittoresques et critiques de l'Oeil de boeuf.* P., 1832. Т. 8. P. 99–100.
- ¹⁶ *Lainé P.-L.* Liste généalogique de noble et illustre famille Giac en Auvergne et en Guienne. P., 1847. P. 3–4; *Dictionnaire de biographie française.* Fasc. XC. P., 1982. P. 1431–1432.
- ¹⁷ *Goncourt E., J. de.* Op. cit. P. 210.
- ¹⁸ *Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau.* Т. 2. P. 66.
- ¹⁹ *Créquy V. de.* Op. cit. Т. 2. P. 5–6.
- ²⁰ *Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau.* Т. 2. P. 66.
- ²¹ Когда в 1788 г. де Жьяк стал добиваться возмещения убытков, понесенных в результате отрешения его от работы в королевском совете, то в составленной им докладной записке он, помимо всего прочего, доказывал свое происхождение от знатных предков. Он с негодованием писал о том, как после первой женитьбы недоброжелатели стали распространять при дворе порочащие его слухи, что он-де всего лишь сын прокурора (*Archives Nationales.* (Далее: AN). Н 1455, № 127). Очевидно, эти слухи о низком происхождении де Жьяка были связаны с разницей в социальном статусе между ним и супругой-герцогиней. Служба генерального контроля финансов в своих замечаниях по поводу этой записки на сей счет высказалась так: «Г-н де Жьяк доказывает свое происхождение, хотя его уже не оспаривают». (AN. Н 1455. № 123). В изданной в XIX в. генеалогии рода де Жьяков он именуется даже маркизом, но генеалогист не уточняет, с какого времени Марсьяль Анри носил этот титул (См.: *Lainé P.-L.* Op. cit. P. 3–4).
- ²² *Créquy V. de.* Op. cit. Т. 2. P. 7.
- ²³ *Correspondance secrète, politique & littéraire, ou mémoires pour servir à l'histoire des cours, des sociétés & de la littérature en France, depuis la mort de Louis XV.* L., 1787. Т. 2. P. 61. Интендант Парижа Бертье де Совиньи, купивший должность у де Жьяка, будет растерзан парижской толпой в июльские дни 1789 г.
- ²⁴ *Sénac de Meilhan G.* Op. cit. P. 319.
- ²⁵ *Correspondance complète de la marquise du Deffand.* Vol. 1. P. LXVI.
- ²⁶ *Chamfort S.-R.-N.* *Produits de la civilisation perfectionnée: maximes et pensées; caractères et anecdotes.* P., 1905. P. 161–162. Шамфор отводит роль нежеланного мужа герцогу де Шону, что явно ошибочно. Герцог скончался в 1769 г., задолго до своей супруги. Она умерла, будучи женой де Жьяка.
- ²⁷ *Lainé P.-L.* Op. cit. P. 3–4; *Rey A.* *Martial de Giac // Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin.* Pontoise, 1903. Т. XXV. P. 74–81.
- ²⁸ *Créquy V. de.* Op. cit. Т. 2. P. 6.
- ²⁹ Согласие дофины требовалось, так как герцогиня де Шон входила в ее свиту.
- ³⁰ *Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau.* Т. 2. P. 66.
- ³¹ В основу этого многотомного издания легла рукописная газета литератора Башомона, которая поначалу циркулировала в одном из парижских салонов, а затем стала печататься за границей. В интересующий нас период «Секретные записки» составляли преемники Башомона: в 1770-е годы это был Пиданза де Меробер, а в 1780-е — Муфль д'Анжервиль.

- 32 Речь идет о привилегии сидеть на табурете во время королевских званых ужинов, которой пользовались герцогини.
- 33 *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours. L., 1786. Т. 21. P. 217.*
- 34 *Labatut J.-P. Op. cit. P. 188–190.* Заметим, что ни современники, ни историк не сочли этот брак скандальным. Впрочем, в данном случае жених был хотя и дворянином мантии, но все-таки министром, а не докладчиком прошений.
- 35 *Barbier E.J.F. Journal historique et anecdotique du règne de Louis XV: In 8 vols. P., 1847–1856. Т. III. P. 74.*
- 36 *Bluche F. L'origine des magistrats du parlement de Paris au XVIIIe siècle (1715–1771). Dictionnaire généalogique. P., 1956. P. 23.*
- 37 *Antoine M. Op. cit. P. 256–260.*
- 38 *Créquy V. de. Op. cit. Т. 5. P. 194.*
- 39 *Mémoires secrets... L., 1786. Т. 27. P. 155.*
- 40 *Voltaire F.M. Siècle de Louis XIV. P., 1847. P. 338.*
- 41 *Ibid.*
- 42 *Lainé P.-L. Op. cit. P. 3–4.*
- 43 *Créquy V. de. Op. cit. Т. 2. P. 7.*
- 44 *Correspondance secrète, politique & littéraire... L., 1787. Т. 10. P. 62.*
- 45 *Elias N. Op. cit. P. 29.*
- 46 *Chamfort S.-R.-N. Op. cit. P. 121–122.* Имеется и другой вариант этой же остроты. Мадам де Шон будто бы сказала, «что в глазах буржуа герцогине всегда не больше тридцати лет» (*Correspondance complète de la marquise du Deffand. Vol. 1. P. LXVI*). Если эта женщина и говорила что-либо подобное, то версия Шамфора передает ее слова, несомненно, ближе к оригиналу. Другая версия, которая пользуется гораздо большей популярностью и охотно повторяется многими авторами, похожа на хорошо отшлифованный временем афоризм, утративший связь с обстоятельствами своего появления на свет. Реальная мадам де Шон не назвала бы де Жьяка «буржуа», так как он — в отличие от нее самой — принадлежал к старому дворянскому роду.
- 47 *Morvan de Bellegarde J.-B. Réflexions sur le ridicule, et sur les moyens de l'éviter, où sont représentés les differens Caracteres & les Moeurs des Personnes de ce Siècle. 7e éd. augmentée. Amsterdam, 1707. P. 384–385.*
- 48 *Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau. Т. 2. P. 69–70.*
- 49 О женитьбе де Жьяка на герцогине вновь заговаривали в 1780 г. в связи с тем, что опальный докладчик прошений обратился к королю с ходатайством снять с него обвинения и восстановить во всех правах в королевском совете. О письме, составленном де Жьяком на имя короля, речь пойдет ниже.
- 50 *Correspondance secrète, politique & littéraire... Т. 10. P. 62.*
- 51 Де Жьяк, доказывая, как несправедливо с ним обошлись, постоянно подчеркивал тот факт, что под докладной запиской стояло всего 14 подписей. Для того, чтобы вынести обвинение против судьи, требовалось собрать не менее двух третей голосов членов той корпорации, к которой он принадлежал, а в совете было свыше 140 членов (*Mémoire pour M-r de Giac // AN. N 1455 N 127*).
- 52 *Relation de M. d'Aguesseau // AN. K 522. N 6. F. 2.*
- 53 *Ibid. F. 3.*
- 54 *Ibid. F. 4.*
- 55 *Ibid. F. 3.*
- 56 *22 9-bre 1773. Lettre adressée au Roy par 19 de MM. les Conseillers d'Etat // Ibid. F. 4.*
- 57 *Ibid.*
- 58 *Mémoire adressé au Roi par M. de Giac et qu'il m'a adressé le 24 Juillet 1778 // Ibid. F. 6.*
- 59 *Correspondance secrète, politique & littéraire... Т. 10. P. 62–63.*

- ⁶⁰ Los Angeles Times. 1997. Jan. 19; Buzz. 1977. Apr. Информацию об этом деле мне любезно предоставил американский социолог Джон Уайтли.
- ⁶¹ О дискуссии по этим вопросам в современной историографии см.: *Goodman D. Public Sphere and Private Life: Toward a Synthesis of Current Historiographical Approaches to the Old Regime* // *History and Theory*. 1992. Vol. 31. N 1.
- ⁶² *Correspondance secrète, politique & littéraire...* Т. 10. P. 62.
- ⁶³ О реформе Мону см.: *Egret J. Louis XV et l'opposition parlementaire*. P., 1970.
- ⁶⁴ Речь идет о мадам Дюбарри. Неприязнь королевской четы к последней фаворитке покойного монарха была общеизвестна, и де Жьяк, стремясь выставить себя в как можно более выгодном свете, не преминул записать ее в число своих врагов.
- ⁶⁵ *Mémoire pour M-r de Giac* // AN. N 1455. N 127.
- ⁶⁶ Как мы уже знаем из «Секретной корреспонденции», это произойдет спустя полтора года, в 1775 г., когда бывшая дофина Мария Антуанетта уже станет королевой Франции.
- ⁶⁷ Этот слух не подтвердился.
- ⁶⁸ *Hardy S.-P. Mes loisirs, ou Journal d'Événemens, tels qu'ils parviennent à ma connoissance, commençant à l'année 1772* // *Bibliothèque Nationale, manuscrits français 6681 (mf. 2567)*. P. 237.
- ⁶⁹ См. об этом: *Thomas Ch. La reine scélérate: Marie-Antoinette dans les pamphlets*. P., 1989.

Л.А. Пименова





1. Тогова О.И.
2. Дмитриева О.В.
3. Чуаннов А.В.

Жизнь и смерть Соломона, еврея из Барселоны

*Я буду покупать у вас, продавать вам,
ходить с вами, говорить с вами и прочее, но
не стану с вами ни есть, ни пить, ни
молиться.*

У. Шекспир. Венецианский купец

Странное предложение

В феврале 1390 г. в королевском суде Шатле было рассмотрено дело Соломона из Барселоны, молодого испанского еврея, перебравшегося во Францию примерно за год до описываемых событий и со временем обосновавшегося в Париже. Он обвинялся в многочисленных кражах, совершенных как в столице, так и в других городах. 1

На первом допросе Соломон считал возможным сообщить судьям, что родился в Арагоне, обучался ремеслу портного (cousturier), во Францию же отправился на заработки, а также чтобы «повидать других евреев» и оказать им посильную помощь (RCh. II. 45). Сначала Соломон проживал в Шартре, где познакомился с неким Жоаном, тоже из Испании, и вместе с ним переехал в Париж, где надеялся «зажить наилучшим образом» (avoir leur vivre le mieulx qu'ilz rougoyent), что на жаргоне парижских воров означало «жить воровством». 2

Надеждам, впрочем, не суждено было сбыться: всего через месяц, 24 февраля 1390 г., Соломон и Жоан были арестованы по подозрению в краже «нового кожаного кошелька ценой в 16 франков», нескольких позолоченных колец и серебряного пояса в торговых рядах близ королевского дворца (RCh. II. 44). Сообщников заключили в тюрьму Шатле, и с этого момента их пути разошлись, поскольку против каждого было возбуждено отдельное дело. 3

Признания Соломона позволяют достаточно полно представить его жизнь до ареста. Под давлением судей он «вспом-

нил» о 18 кражах, совершенных им в разное время как в Париже и его окрестностях (Провене, Труа, Шартре, Санлисе), так и в достаточно отдаленных от столицы местах (Дижоне, Компьене, Нойоне, Шамбери). Самая ранняя кража относилась к ноябрю 1389 г. (за три с половиной месяца до описываемых событий), самая поздняя была совершена накануне ареста — 23 февраля 1390 г. Так как времени прошло не так уж много, Соломон прекрасно помнил, что и у кого он крал. Никакой особой воровской «специализации» у него не было, он брал все, что плохо лежало: от поношенных башмаков до серебряной посуды и украшений. Так, посетив город Шамбери в Савойе, он забрался в дом мэтра Тороса, еврейского судьи, и стянул со стола серебряный пояс ценой в 40 парижских франков, однако смог продать его только за один франк, поскольку вещь была ворованная. В другой раз, в том же Шамбери, в доме незнакомой ему еврейки он позарился на обыкновенные холщевые штаны (*chausses de blanchet*), которые сам после и носил (*lesquelles il usa*) (RCh. II. 48). Столь же точно называл Соломон и стоимость вещей. Кражи происходили в среднем раз в одну-две недели, и, по всей видимости, вырученные деньги шла на повседневные нужды.

Таких сведений парижским судьям оказалось достаточно, чтобы вынести окончательный приговор по этому делу. В присутствии Соломона, приняв во внимание его положение (*estat*), сделанные им признания (*les confessions par lui faites*), многочисленность краж и ценность украденного (*les multiplications et reiteracions de larrecins et le valeur d'iceulx*), они пришли к согласию и постановили считать его закоренелым вором (un très-fort larron)⁴ и казнить подобающим образом (*excecuter comme larron*), т. е. повесить (RCh. II. 51).

Однако, поскольку Соломон был евреем, приговор был вынесен с учетом религиозной принадлежности обвиняемого. И здесь в плавном ходе процесса произошел сбой, ибо решение, принятое судьями, было, на мой взгляд, *исключительным* для французской уголовной практики XIV в. Полностью признавая, что Соломон должен быть повешен «так, как принято это делать в отношении евреев» (*en la manière qu'il est acoustumé à justicier juifs*), судьи предложили осужденному *сделать выбор*:

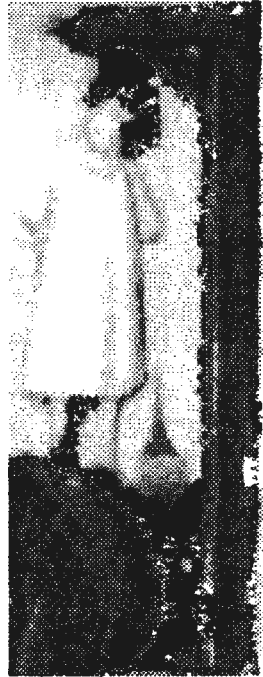
4 «Мэтр Жан Триокан уведомил его [о приговоре] и посоветовал, чтобы он крестился и перешел в христианскую веру (*qu'il se feist baptiser et chrestienner*), иначе его казнят как еврея, а это означает, что он будет навечно проклят (*qu'il feroit*

destré perpetuellement) по причине его ложной веры и дурных убеждений (la mauvaise foy et créance) и что он будет повешен за ноги, и с каждой стороны от него будут, так же как и он, повешены за лапы две большие собаки (à ses deux costez... un grant chien pendu par les piez samblablement comme lui). И после многих пререканий (altercacios) между мэтром Жаном Трюканом и упомянутым евреем, этот Соломон сразу же (instantment) смиренно (humblement) попросил, чтобы ему разрешили принять христианство и креститься, и с этой просьбой (peticion) упомянутый лейтенант согласился (fu obeu)» (RCh. II. 52).



«Еврейская» казнь.

Фрагмент немецкой гравюр XV в.



Казнь христианина.

Французская миниатюра XV в.

Решение было принято, Соломон крестился, получил имя Николя (в честь своего крестного отца, Николя Бертена, следователя Шатле) и 1 марта 1390 г. принял смерть как истинный христианин.

Обычное, казалось бы, уголовное дело порождает по прочтении массу вопросов. Чего добивались судьи, предлагая об-

виняемому столь странный, на наш взгляд, выбор? Чем объясняется поступок Соломона? По каким причинам он перешел в другую веру, зная, что это ничего не изменит в его судьбе, что он все равно умрет? Какие особенности уголовного судопроизводства хотел проиллюстрировать этим казусом Алом Кашма-ре, автор «Регистра Шатле», в котором содержится описываемое дело? Для ответа на эти вопросы стоит хоть немного представить себе положение еврейской общины во Франции в конце XIV в., в частности, в Париже, и отношение к ней как рядовых граждан, так и представителей власти.

Немного истории

В отличие от Германии и Испании, где на рубеже XIII и XIV вв. антисемитизм приобрел ничем не прикрытую форму, во Франции столкновения евреев и христиан носили локальный характер. Как отмечает С. Барон, открытого противостояния здесь не существовало достаточно долго, и, хотя евреи внушали подозрение и временами подвергались гонениям, отношение к ним в обществе оставалось терпимым. Тем не менее на протяжении XIV в. между двумя религиозными общинами постепенно нарастала напряженность. В 1315 г. Европу поразил голод. В Париже люди сотнями умирали на улицах. Цена на сестье зерна поднялась с 12 до 60 су, хлеб пекли из «свиного помета и виноградного жмыха». Были часты случаи каннибализма. В 1316–1317 гг. урожаи по-прежнему оставались низкими, и, хотя в 1318 г. наступило облегчение, последствия голода сказывались еще очень долго. В 1320 г. разоренные крестьяне северной Франции покинули свои дома и устремились на юг в надежде на лучшую долю. По пути, как сообщают хронисты, одному из них, молодому пастуху, было видение: чудесная птица опустила ему на плечо и призвала сражаться с неверными. В качестве врага были избраны евреи, и волна насилия захлестнула Ош, Гимонт, Рабастен, Гайяк, Альби, Тулузу и другие города юга, с молчаливого согласия населения и при полном попустительстве королевских властей. Только после того как участились стычки «пастушков» с местным духовенством, Филипп V был вынужден послать против них войска. В конце 1320 г. восстание было подавлено.

Однако массовые избиения евреев на юге стали причиной новых обвинений, выдвинутых против них всего несколько

месяцев спустя. Французский историк Л. Поляков объясняет это чувством вины и страха перед возможной мстостью со стороны еврейской общины.

Летом 1321 г. во Франции распространились слухи о чудовищном заговоре евреев и прокаженных, якобы замышлявших погубить все христианское население страны, отравив источники и колодцы с питьевой водой. Отравы, как сообщали хронисты, состояла из человеческой крови, мочи и трех секретных трав, к которым была добавлена освященная гостия, растертая в порошок. По другой версии в состав яда входили лягушачьи лапки, змеинные головы и женские волосы, пропитанные какой-то черной вонючей жидкостью, которая не горела в огне. Был даже пойман какой-то прокаженный, при котором нашли эту отраву, и он признался, что получил ее от одного богатого еврея, чтобы раскидывать во все известные ему колодцы. За эту услугу ему заплатили 10 ливров (огромная по тем временам сумма!) и обещали гораздо больше, если он сможет склонить к участию в заговоре других прокаженных.

Королевская власть поспешила воспользоваться слухами. Всем сенешалям и бальи были разосланы письма, подтверждающие информацию о заговоре прокаженных и евреев и призывающие бороться с теми и другими всеми силами. Волна судебных процессов прокатилась по всей Франции, не менее часты были и случаи самосуда. Евреям было предписано покинуть страну, их имущество конфисковывалось. Те же, кто был признан невиновным и мог остаться, должны были уплатить штраф. Всего в королевскую казну поступило 150 тыс. ливров.

И все же в 1361 г. дофин Карл (будущий король Карл V) даровал евреям право вернуться во Францию, что объяснялось финансовыми трудностями: денег на выкуп Иоанна Доброго из английского плена не хватало. По этой причине глава каждой еврейской семьи был обязан заплатить за возвращение в страну: за себя и свою жену по 14 золотых флоринов и по 1 флорину за каждого ребенка и прочих домочадцев. Налог на занятие ростовщичеством отныне равнялся 86,6 % в год, что вдвое превосходило прежний тариф. Все евреи попадали исключительно под королевскую юрисдикцию, получали четко определенный статус, право исповедовать свою религию, отправлять богослужения, иметь свои кладбища. Еврейская община могла назначать собственных сборщиков налогов и свой суд, решающий все внутренние конфликты. Разрешение на проживание возобновлялось каждый год. А в 1391 г., узнав о

8

9

10

11

погромах в Испании, французский король счел своим долгом заявить, что парижские евреи будут отныне находиться под его личной охраной и что всякого, кто посягнет на жизнь кого-либо из них, будет ждать смертная казнь.

В конце XIV в. в Париже было не более 600 евреев, которые компактно проживали на четырех улицах в районе Тампля. Этот квартал, где, по всей вероятности, поселился Соломон, пользовался среди парижан дурной славой. Его считали настоящим «разбойничьим вертепом» (*spelunca latronum*), где находили пристанище воры, убийцы и прочие подозрительные личности, стремящиеся избежать встречи с королевскими сержантами Шатле, призванными следить за порядком в столице: «Район Тампля (*terre du Temple*) – тот, где *как говорят* (курсив мой. – О. Т.), находят приют бездельники и бродяги (*les gens oysifs et vagabonds*)».

Впрочем, Тамплъ являлся одновременно одним из центров деловой жизни Парижа, поскольку здесь находились лавки ростовщиков и старьевщиков. Самые преуспевающие старьевщики считались вполне состоятельными людьми, и доля евреев среди них была велика. Герцог Бурбонский, королевский казначей, и его чиновники даже пытались заставить евреев покупать патент на это занятие. Сержантам Шатле было прекрасно известно, что очень многие старьевщики не брезгуют ворованными вещами, хотя закон, естественно, запрещал скупку краденого. Судя по «Регистру Шатле», понятия «старьевщик», «еврей», «скупщик краденого» к концу XIV в. стали почти синонимами (RCh. I. 377; II. 173). Герой нашей истории, Соломон из Барселоны, особо оговаривает те считанные случаи, когда он пользовался услугами скупщиков-христиан, большинство же его покупателей было евреями. Один из них даже выступил свидетелем обвинения на процессе Соломона: мэтр Давид, проживавший на *rue aus Juifs*, сам явился к сержанту квартала и вручил ему «22 кошелька из шелка и велюра», проданных ему обвиняемым (RCh. II. 50). Неприязнь к скупщикам-евреям, нередко выступавшим сообщниками воров, усиливала религиозную нетерпимость, присутствовавшую в обществе в латентном состоянии.

Тем не менее отношение королевских властей к евреям в 60–90-е годы XIV в. можно назвать толерантным. Когда в 1380 и 1382 гг. евреи подверглись нападкам со стороны парижан, на их защиту встал тогдашний прево, Уго Обрио (*Hugues Aubriot*), впоследствии обвиненный университетскими кругами в ереси.

О соблюдении интересов еврейской общины свидетельствуют и правовые источники. Преступления против евреев (нападения на дома, поджоги, погромы, убийства) преследовались в обычном уголовном порядке. Все споры между евреями и христианами должен был решать специальный судья – *judex Judeorum*, которым с 1388 г. являлся сам парижский прево. Ни один христианин не мог выдвинуть обвинение против еврея, если не собирался с ним судиться. Если же дело было все-таки возбуждено, требовалось провести предварительное расследование еще до ареста подозреваемого. Под залог, внесенный каким-либо достойным человеком (иудеем или христианином), еврей мог быть освобожден из тюрьмы, даже если он обвинялся в уголовном преступлении. Евреи могли выступать свидетелями в уголовном суде, а их апелляции в Парижский парламент рассматривались на равных с христианами условиях. Без крайней необходимости евреев, как и христиан, нельзя было пытаться, к ним не применялась ордалия (по вполне понятным религиозным причинам), и они не участвовали в судебном поединке. Правдивость собственных показаний в христианском уголовном суде евреи должны были подтвердить с помощью клятвы. Так, в первый раз представ перед судьями Шатле, Соломон поклялся говорить правду «*по своему праву*» (*en leur loy*), «положив руку на голову» (*en mettant la main sur la teste*) (RCh. II. 44).

19

Обратим особое внимание на текст и построение клятвы. Как отмечает французский историк Б. Блюменкранц, они имели смешанный характер, в котором больше ощущалось влияние христианства, нежели иудаизма:

20

«Клянусь тебе истинным Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова, [тем], кто создал небо и землю, и Его священным законом, который, даровал Господь своею рукою Моисею и предкам нашим на горе Синай... и пусть поглотит земля меня, как Дафана и Авирона при бунте Корея (Числ, 16, 32. – О.Т.), и поразит меня проказа Неемана из Сирии (4 Цар, 5, 1–27. – О.Т.), и подвергнусь я анафеме, маран-афа (1 Кор, 16, 22. – О.Т.), и настигнет меня и дом мой то, чем Бог поразил Египет, и пусть падут на меня все эти несчастья, что здесь перечислены, но этой клятвы я не преступлю».

Двойственный характер клятвы очень важен для понимания всего уголовного судопроизводства в отношении евреев. Смешение представлений совершенно очевидно наблюдалось

и в системе наказаний, принятых в христианских судах для иудеев. Лучшим доказательством тому является приговор, вынесенный Соломону: смертная казнь через повешение за ноги с двумя собаками по сторонам.

Упоминание собаки здесь **вовсе не случайно**. Многие ее привычки казались средневековым обывателям неприятными, олицетворяющими человеческие пороки. «Нет лучшего способа для Дьявола добраться до христианина, чем ненасытная глотка. Собака, которая возвращается к своей блевотине, символизирует тех, кто после исповеди снова впадает в грех», — отмечал анонимный автор одного из bestiариев XIII в., буквально цитируя Библию. А Жан Лекок, французский юрист XIV в., писал, что христианин, имевший сексуальные отношения с еврейкой, должен быть сожжен заживо на костре, поскольку его преступление представляет собой не что иное, как *commixtio nature*, способное породить монстров и равноценное совокуплению с собакой.

Как отмечает американская исследовательница Эстер Коэн, сравнение евреев с собаками четко прослеживается именно по правовым источникам. Впрочем, в раннее средневековье ни подвешивание за ноги, ни вздернутые рядом собаки не ассоциировались напрямую с «еврейской казнью». Впервые источники фиксируют этот специфический вид наказания в конце XIII в. в Германии. Что касается Франции, то обычай подвешивать вниз головой животное, виновное, по мнению суда, в уголовном преступлении, существовал там с конца XIII в., а в кутюме Бургундии XIV в. специально оговаривается обычай вешать евреев так же, как собак и свиней, т. е. за ноги. «Собачья», в прямом и переносном смысле, смерть вора-еврея должна была напомнить окружающим о его нечестивости и даже заставить усомниться в его человеческой природе.

Однако и в еврейской среде собака и свинья считались нечистыми животными, никогда не принадлежавшими к числу домашних. Собака презиралась за обжорство и неразборчивость в еде, поскольку питалась отбросами, а в случае голода — собственными экскрементами. Слово «собака» было ругательным: так, например, называли жрецов Астарты, повинных в содомском грехе. *Быть съеденным собаками считалось у иудеев позорнейшей смертью.*

В приговоре, вынесенном парижскими судьями, христианская и иудейская традиции сливались воедино. Соломон был осужден не просто как вор, он подвергался дополни-

тельному унижению из-за своего вероисповедания. Преступление и наказание, таким образом, приобретали религиозную окраску.

28

Строгость или милосердие?

Почему же в таком случае судьи предложили Соломону выбрать другое наказание? Ответить на этот вопрос будет весьма затруднительно, учитывая полное отсутствие схожих дел в судебной практике Франции в интересующий нас период.

29

Королевское законодательство и юридические трактаты конца XIV в. весьма четко определяют задачи, стоявшие перед уголовным судом: правосудие должно быть справедливым по отношению к каждому и примерно наказывать виновных. В основе судопроизводства лежали два основных принципа, одновременно дополнявших друг друга и противоречивших друг другу — строгость и милосердие.

30

Споры о том, какой из принципов предпочтительнее, велись на протяжении всего позднего средневековья как в теории, так и на практике. Так, Жак д'Аблеж, автор «Большого кутюмье Франции» конца XIV в., размышляя о произволе судей, писал: «Судьи подозрительны, а им необходимо быть более склонными к оправданию, нежели к осуждению [преступника]. Лучше отпустить двух виновных, чем наказать одного невиновного. Судья должен скорее смягчаться под влиянием смирения и милосердия, чем становиться строгим и бесчувственным. Ибо правосудие без милосердия — жестоко, а милосердие без правосудия — малодушно».

31

Большинство исследователей сходятся на том, что «Регистр Шатле» призван был продемонстрировать действенность и суверенность французского правосудия. По подсчетам Бронислава Геремека, 79% дел, описанных автором регистра Аломом Кашмаре, закончились вынесением смертного приговора. Из 84 человек, осужденных за воровство, только 11 (т. е. менее 13%) смогли избежать смерти. И все же мне представляется возможным считать дело Соломона из Барселоны примером милосердного (в некоторой степени) отношения к преступнику в королевском уголовном суде.

32

С точки зрения французской правовой мысли эпохи позднего средневековья, принцип милосердия заключался в полном прощении осужденного, обратившегося к королю с пись-

мом о помиловании (*lettre de remission*), что автоматически восстанавливало его во всех правах и возвращало утраченную репутацию. Суд мог пойти и на, так сказать, половинчатые меры, например, на изменение и смягчение наказания. Особо отмечу, что гричинами такого милосердия обычно становилось крайне плачевное физическое состояние подсудимого. В «Регистре Шатле» много подобных примеров. Так некий Жирар Фурре, обвиненный в убийстве и приговоренный к протаскиванию за ноги по улицам Парижа и повешению, избежал первой части наказания «из-за ранений, полученных им при задержании» (RCh. I. 131). Долгое тюремное заключение само по себе приравнивалось к наказанию, после которого человек мог быть даже отпущен на свободу (*pour la peine de prison ... fu mis hors de prison*): так произошло с Жираром Дофиналем, обвиненном в воровстве (RCh. I. 249). Жан и Амелина Варлюс, скупщики краденого, вместо смертной казни были приговорены к позорному столбу и изгнанию из Парижа, так как они сильно пострадали от пыток (женщину пытали 3 раза) (RCh. I. 163).

Поскольку Соломон изначально отрицал все обвинения, выдвинутые против него (*nye les accusacions contre lui proposées*), было решено заставить его признаться силой (*à force*). После первой пытки Соломон рассказал только о четырех кражах. И, так как «ничего более не желал признавать» (*plus ne autre chose ne vould confesser*), судьи усилили давление на обвиняемого. Поведение Соломона на втором сеансе пыток не оставляет сомнений в его тяжелом моральном и физическом состоянии. При виде пыточных орудий с ним случился обморок, и только после того, как лицо ему сбрызнули водой (*qu'il ot un pou d'eau sur le visaige*), он пришел в себя и настойчиво просил избавить его на этот раз от мучений, обещая признаться во всех совершенных им кражах (*qu'il diroit et confesseroit la verité de tous les larrecins par lui faiz*) (RCh. II. 47).

Соломон действительно назвал еще 14 случаев воровства, после чего он был отправлен в тюрьму дожидаться приговора. Было это в понедельник, 27 февраля 1390 г., а уже в среду, 1 марта, Жан Трюкан обратился к нему с изложением приговора и предложением облегчить его участь. С правовой точки зрения, смягчение наказания в данном случае не вызывает недоумения. Соломон был молод (*jeune et petit*) (что тоже учитывалось при вынесении приговора), он был измучен пытками, и судьям представлялся прекрасный повод продемонстрировать свое милосердие на практике.

Реакция Соломона также вполне объяснима, если принять во внимание, *что* представляла собой «еврейская казнь» на самом деле. Медленная, мучительная смерть (даже не смерть, а постепенное умирание) от зубов собак – вот что ждало Соломона, и без того полностью сломленного пытками и мечтавшего лишь о конце своих страданий. В этой ситуации, как представляется, он вряд ли был способен думать о чем-либо еще. Религиозный по форме выбор обернулся выбором прагматическим, ситуативным. Только о желании *быстрого конца* свидетельствуют слова, донесенные до нас регистром Алома Кашма-ре: «*сразу же смиренно просил...*».

Большее недоумение вызывает само предложение смены вероисповедания как *необходимое условие* облегчения наказания. В некоторых странах в средние века действительно существовал обычай, по которому человек, совершивший тяжкое уголовное преступление и понимающий это, мог изменить вероисповедание и, таким образом, облегчить свою участь. Так было, например, в Арагоне XIV–XV вв. или в Марокко XVI в. 33 Однако сделать это требовалось еще до процесса, а следовательно, без всякого вмешательства судей. С другой стороны, известен случай, когда судьи Базеля предложили приговоренному к смерти еврею перейти в христианство. 34

О ситуации во Франции судить крайне сложно, поскольку, как я уже отмечала, число уголовных дел, возбужденных против евреев и нашедших отражение в архивах, ничтожно. Практика выбора наказания самим преступником во французском средневековом судопроизводстве вообще не получила сколько-нибудь серьезного развития. Мне известен случай, когда этим правом воспользовался некий Симон Поке, осужденный за непреднамеренное убийство. Судьи предложили ему два варианта: «поставить к позорному столбу, а затем отрубить ногу или кисть левой руки, как он сам захочет (lequel qu'il voudroit)», и «он решил (eslut), чтобы ему отрубили кисть левой руки». Это дело было рассмотрено в 1345 г., и никаких особых условий, сравнимых по важности со сменой вероисповедания, обвиняемому не ставилось. 36

Исследуемый нами казус с этой точки зрения абсолютно уникален. Его не с чем сравнить. Единственный ключ к разгадке может дать анализ королевского законодательства конца XIV в. по вопросу о принудительном крещении евреев. И здесь зарождается сомнение: а было ли дело Соломона из Барселоны на самом деле?

А был ли казус?

Описание деталей процесса в регистре Кашмаре еще не доказывает реального существования нашего героя в прошлом. История Соломона не подтверждена никаким иным свидетельством (кроме дела его сообщника Жоана, которому предположений о смене вероисповедания судьи не делали, хотя и посылали его три раза на пытки). У нас нет ни одного сколько-нибудь схожего сюжета, зафиксированного в других правовых документах. Это, конечно, не исключает упоминания в хрониках, но и там, насколько удалось выяснить, подобных случаев не встречается. Судебный казус, описанный Кашмаре, уникален и настолько, как мы увидим дальше, запутан, что заставляет усомниться в своей подлинности. Не мог ли он быть вымыслом автора? А если так, то с какой целью он был включен в «Регистр Шатле»?

Прежде всего стоит обратить внимание на личность автора. То немногое, что о нем известно, постарался собрать издатель регистра А. Дюпле-Ажье (RCh. I. VII—XXIII). Настоящая фамилия Алома Кашмаре была Обери (Aubery), и он был родом из Нормандии. Прозвище Кашмаре (Cachemarée) носили и старшие члены семьи. Первые упоминания о Кашмаре относятся уже к тому времени, когда он, по-видимому, начинал свою карьеру на службе у короля. В 1380—1381 гг. он являлся письмоводителем и хранителем печати в виконтстве Каен, а в 1385 г. стал там королевским прокурором. С этого момента автор «Регистра Шатле» навсегда посвятил себя судебной деятельности, и удача сопутствовала ему. Еще на службе в Каене он привлек внимание королевских чиновников в Париже своими способностями и, что особенно ценилось, неприхотливостью в обыденной жизни. Ему поручались миссии в разных частях страны, с которыми, вероятно, он успешно справлялся, так как в 1389 г. за заслуги и честность король назначил его секретарем суда по уголовным делам в превостве Парижа. Вступление в должность произошло 24 июля 1389 г., а уже 6 сентября Кашмаре приступил к составлению своего регистра, о чем и сообщает в преамбуле: «Это первая страница процессов [над] уголовными преступниками, содержащимися в Шатле Парижа с 24 июля 1389 года, которые я, Алом Кашмаре, назначенный на место мэтра Анри Ле Прё, клерк господина Жана, сеньора Фольвиля, шевалье, советника короля, нашего господина, и

хранителя превоства Парижа, начал в понедельник, 6 сентября, указанного года» (RCh. I. 1).

К созданию регистра я еще вернусь, а пока добавлю, что в должности секретаря Кашмаре пребывал около четырех лет: в начале 1393 г. он получил повышение и был назначен судебным исполнителем Парижского парламента. О его личной жизни известно только то, что он был женат, имел сына Пьера (который пошел по стопам отца) и жил в собственном доме на улице Мармюзет.

Суровые испытания выпали на долю Кашмаре в период обострения отношений между бургиньонами и арманьяками. Пытаясь обезопасить своих сторонников и себя самого, дофин в ордонансе от 5 августа 1417 г. потребовал от членов парламента принести ему клятву верности. Но уже 28 августа последовало новое распоряжение: парламента распускался на неопределенный срок, чиновники же должны были покинуть Париж. 14 июля 1418 г. Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский, и Изабелла Баварская торжественно въехали в столицу. 4 августа новая власть призвала чиновников занять свои должности и возобновить работу, однако имя Алома Кашмаре не значится в списках явившихся. Причины его отсутствия неизвестны: возможно, он был слишком далеко и не успел вернуться в Париж, возможно, он не знал об указе или просто выжидал. Как бы то ни было, 10 сентября герцог Бургундский был убит, а 21 сентября дофин издал в Пуатье указ о создании нового парламента.

В 1422 г. Алом Кашмаре находился уже в Пуатье, где служил дофину и выполнял свои прямые обязанности. В октябре 1423 г. он все еще фигурирует в списке судебных исполнителей вместе со своим сыном. Умер Алом Кашмаре в мае 1426 г., оставив после себя произведение, заслуживающее самого пристального внимания.

Появление «Регистра Шатле», возможно, ускорили письма Карла VI, направленные 20 мая 1389 г. парижскому прево с приказом арестовывать убийц, воров, фальшивомонетчиков на территории всей страны, независимо от того, под чью юрисдикцию они попадали, немедленно проводить следствие и выносить приговоры (RCh. I. XXIV). Однако, не будь Алома Кашмаре, смогли бы мы когда-нибудь узнать подробности этой не столько юридической, сколько политической акции?

Естественно, Кашмаре не заносил в свой регистр все уголовные дела, рассматривавшиеся в Шатле в 1389—1392 гг. Его

произведение — *авторское*, это выборка наиболее интересных, с точки зрения Кашмаре, процессов. Возможно, регистр предназначался для тиражирования и рассылки по королевским судам Франции в качестве пособия по судопроизводству. Возможно, Кашмаре написал его только для внутреннего пользования. Точно сказать нельзя, ибо автор о своих намерениях умолчал. Не знаем мы и о том, как именно писался регистр: самими Кашмаре или писцом под его диктовку. Но это в данном случае не так и важно, в любом случае информацией о конкретных делах обладал только сам автор.

Всего в «Регистре Шатле» описано 107 уголовных процессов, на которых были вынесены приговоры 124 обвиняемым. Все всякого сомнения, эта выборка не отражает реального положения дел ни с преступностью, ни с судопроизводством в Париже. Цель, которую преследовал Кашмаре, можно назвать двойкой. Во-первых, он стремился создать представление о наиболее опасных для королевской власти и общественного порядка типах преступлений и о методах борьбы с ними. По мнению Кашмаре, сюда относились воровство, политические преступления (так называемое *lèse-majesté*), сексуальные преступления, избиения, убийства, колдовство. Число обвиняемых указывало на особое внимание судебных органов к такого рода происшествиям. О том же свидетельствовали судебная процедура (ко всем подозреваемым применялась пытка) и наказание — в подавляющем большинстве случаев смертная казнь через повешение.

На этом фоне выделяются некоторые дела, которые по типу преступления, характеру процедуры или по примененному наказанию, на первый взгляд, кажутся несоответствующими общей направленности регистра. Так, Кашмаре описывает дело о краже винограда и виноградного сока и попытке их продажи в Париже, за что виновные, Оливье ле Руффе и Тевенин де ла Рош, были поставлены к позорному столбу с венками из виноградных гроздьев на головах (RCh. II. 301–305). Также неясны причины занесения в регистр единственного дела о шулерстве: некий Тевенин де Брен был осужден на пожизненное изгнание из страны за то, что обыграл своих случайных знакомых в кости и другие азартные игры и оставил их совсем без денег (RCh. II. 137–147). Кашмаре также описал в своем регистре один случай частного вооруженного конфликта (*guetge privée*) (RCh. I. 65–66), два случая публичного оскорбления (RCh. II. 20–26, 353–357) и три случая, связанных сprostitu-

цией в Париже: дела о сводничестве, о ребенке, брошенном девицей легкого поведения, и о шантаже (RCh. I. 42–47; II. 525–533; II. 119–130).

Причины, по которым эти дела попали в «Регистр Шатле», проясняются, если вспомнить, что именно в конце XIV в. во Франции появляется правило, по которому сержанты Шатле могли задержать любого человека, обвинив в нарушении королевского законодательства. Это означало, что отныне для ареста было необязательно использовать доносы, слухи или пытаться застигнуть кого-то с поличным — единственным обоснованием становилось мнение сержантов Шатле о нарушении закона. Примеры, собранные Кашмаре, должны были проиллюстрировать эту новую практику и продемонстрировать ответственность ордонансов.

39

Только одно дело выпадает из схемы, предложенной автором регистра, — это дело Соломона из Барселоны. Оно никоим образом не могло относиться к особо опасным, с точки зрения судей, преступлениям. Как уже не раз повторялось, в архивах Парижского парламента и Шатле это — единственный за 30 лет зафиксированный случай преступления, совершенного евреем. Видимо, еврейская община в тот период не слишком беспокоила королевских судей. Не могло дело Соломона и подтвердить силу законодательства, поскольку... противоречило ему.

Вопрос о насильственном крещении являлся центральным для королевского законодательства, посвященного еврейскому населению Франции, начиная с правления Людовика VII (Ордонанс 1144 г.). Особой строгостью отличался закон 1361 г., запрещающий крестить евреев против их желания. Одной из причин такой категоричности было то, что выкресты теряли право на занятие ростовщичеством, что больно ударяло по королевской казне. Церковь, которая рассматривала ростовщичество как один из смертных грехов, в принципе также порицала насильственное обращение иудеев в христианство. Этим методом разрешалось действовать только в отношении мусульман и язычников. Церковная доктрина гласила, что в конце времен все евреи сами примут христианство и возвестят тем самым о втором Пришествии Христа. Впрочем, такая постановка вопроса была близка не всем отцам церкви. Отрицая насилие, они призывали действовать методом убеждения, справедливо полагая, что для смены вероисповедания необходимо искреннее желание. Наилучшей формой подобного убежде-

ния, с их точки зрения, были проповеди и теологические диспуты между христианами и иудеями, где каждый из выступавших доказывал преимущества своей религии.

40

Однако убеждение также могло быть истолковано как насилие над человеком. В римском праве термин «*vis*» (насилие) ассоциировался с понятием «*metus*» (страх), в широком смысле означавшим любого рода вымогательство, принуждение. Различалось два вида принуждения: «*vis absoluta*» — физическое насилие и «*vis compulsiva*» — психическое принуждение, предполагавшее «обоснованный страх (*iustus metus*), который мог заставить даже смелого человека действовать против своей воли». Большинство средневековых юристов, в соответствии с римской традицией, сомневались в законности и эффективности убеждения, основанного на угрозах.

41

42

Однако, как представляется, Алом Кашмаре не относился к их числу. В его изложении выбор, предложенный Соломону из Барселоны, следует расценивать именно как проявление *vis compulsiva*, т. е. как психическое давление на обвиняемого. Конечно, никто силой не заталкивал Соломона в купель, но ему совершенно ясно дали понять, насколько выгоднее будет для него христианская смерть. Как образованный юрист Алом Кашмаре имел полное право принимать участие в дискуссии и высказывать собственное мнение о степени допустимого насилия в зале суда. Но как *королевский чиновник* и автор *образцового* уголовного регистра он не мог публично подвергнуть критике или сомнению королевское законодательство.

43

Ордонанс 1361 г. не просто запрещал насильственное крещение, он также отрицал возможность воздействовать на евреев путем убеждения, т. е. заставлять посещать проповеди. В 1368 г. адвокат парижских евреев Дени Кинон (*Denys Quinon*) обратился к Карлу V с просьбой подтвердить запрет, поскольку проповеди в целях обращения евреев продолжались. Кинон настаивал на том, что евреи не имеют привычки ходить в церковь и не получают от этого никакого религиозного удовлетворения. Напротив, они чувствуют себя там в опасности, подвергаются оскорблениям и насмешкам со стороны прихожан.

44

Прошение евреев было удовлетворено.

45

Кашмаре обязан был знать об этом постановлении, тем более что негативное отношение к выкрестам оставалось в обществе неизменным. Могло ли в образцовом регистре королевского суда появиться дело о принудительном крещении, если закон это запрещал? Мог ли его автор *не использовать* реаль-

ный судебный казус или *изменить* его детали, выразив таким образом собственное мнение по вопросу крещения евреев?

46

Если только *предположить*, что дело Соломона является собственной интерпретацией Кашмаре, сразу встает вопрос о ее возможных источниках. Одним из них, как представляется, мог служить сюжет о раскаявшемся преступнике, который был известен к тому времени уже много веков и представлял собой «готовую форму», основанную на «всеохватном мифологическом образе». Опубликованный недавно доклад О.М. Фрейденберг «О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках» посвящен рассмотрению этой темы как «временной исторической категории» во всех возможных проявлениях — от исландского мифа о Фритиофе и поэм о Робин Гуде до «Демона» Лермонтова и «Дубровского» Пушкина. Фрейденберг на обширном литературном материале пытается проследить, как видоизменялся сюжет о раскаявшемся разбойнике, какие сюжетные ходы и особенности получали особое звучание в ту или иную эпоху, каким образом «мировоззрение как таковое» превратилось в «готовый композиционный стержень», а затем в фабулу.

47

48

Чисто во временном плане к моменту создания «Регистра Шатле» ближе всех оказывается пьеса-миракль «Роберт-Дьявол», датированная XIV в.:

«Он одновременно черт, разбойник и святой. Его жизнь принадлежит дьяволу, и сам он убийца и насильник; собирает вокруг себя банды негодяев, удаляется в лес и делается атаманом разбойников. Но потом на него находит раскаянье и он кончает жизнь глубоким благочестием».

49

Сюжет, таким образом, распадается на три ключевых момента. Во-первых, Роберт продает душу Дьяволу (он «сын черта», по выражению О.М. Фрейденберг). Во-вторых, не иначе, как под влиянием этого богомерзкого поступка, он становится разбойником (т. е., безусловно, преступником). В-третьих, спустя какое-то время он раскаивается и умирает с именем Господа на устах.

История Соломона в интерпретации Алома Кашмаре совпадает с этим описанием вполне. То, что евреи — первые пособники Дьявола, давно продавшие ему душу, для средневекового христианина являлось практически аксиомой. «И то правда, что жид — воплощенный дьявол», — восклицает Ланчелот в «Венецианском купце». Не только церковные пропове-

ди, но и многочисленные мистерии и моралите, исполнявшиеся в средневековом театре, свидетельствовали о том же. Так, в одной из мистерий о священнике Теофиле героя лишают его поста, и он заключает договор с Дьяволом при помощи еврея (в иных редакциях – с помощью нескольких евреев). От беды Теофила спасает лишь раскаяние. Авторы мистерий отправляли всех евреев прямиком в ад (например, «Jeux du Jugement dernier», «Allégories de la Mort»), и отражение подобных популярнейших идей мы находим в деле Соломона: судьи угрожают ему, что, отказавшись от христианства, он будет проклят навечно. Единственным способом вырвать иудея из лап Дьявола было крещение. Вернее, дьявольский дух должен был сам покинуть душу своей жертвы под воздействием святой воды. В 1391 г. во время погромов в Валенсии разъяренная толпа преследовала евреев с криками: «Смерть или святая вода!». Ростовщики-евреи, жадностью своей напоминавшие прожорливых собак из книги пророка Исаяи, ассоциировались в представлении средневековых христиан с грешниками, продавшими душу Дьяволу.

Истории Роберта и Соломона совпадают и во втором пункте: оба они занимались преступным промыслом. Что же касается влияния Нечистого на их жизненный выбор, то многие воры-рецидивисты, описанные Кашмаре, частенько прибегали к подобной уловке. Ссылаясь на происки Дьявола, обвиняемые пытались снять с себя ответственность за преступление: признавая свершившийся факт, они убеждали судей, что *личной* их вины в этом нет, что они действовали «по наущению врага» (*par temptacion de l'ennemi*) и не несут за него ответственности. Их вина состояла лишь в том, что они поддались этому пагубному влиянию. И хотя Соломон об этом не упоминает, для судей, по всей вероятности, такая связь была очевидна.

Добавлю к этому, что благородством помыслов, присущим на некоторых этапах развития сюжета раскаявшимся в дальнейшем разбойникам, отличался и наш герой: в самом начале следствия он сообщает судьям, что прибыл во Францию, в частности, для помощи еврейской общине. Помощь, впрочем, оказалась весьма сомнительной. Но ведь Соломон признался в содеянном. И здесь снова наблюдается явное сходство с историей Роберта.

В конце жизни, на пороге смерти оба обращаются к Богу. И если христианина Роберта этот шаг превращает в святого, то раскаяние Соломона выглядит проще и значительно менее одновре-

менно. Он не только признал все свои преступления (они же грехи), но оставил веру отцов и перешел в христианство. Таким образом, в его истории мотив раскаявшегося разбойника получает особое звучание. Как представляется, именно такой эффектный конец дела был важен для Алома Кашмаре, он вписал этот сюжет в свой регистр в качестве *поучительного примера*, которому должны были следовать в своей практике судьи (а может быть и преступники).

И здесь самое время подумать о *возможной* близости в понимании Алома Кашмаре понятий «судебный казус» и «пример» (*exemplum*). Предположение о том, что некоторые судебные документы напоминают своим строением и содержанием этот, наиболее доходчивый и эффективный элемент средневековой проповеди, уже высказывалось в историографии, хотя и не получило сколько-нибудь развернутого объяснения. В частности, параллель была проведена между «примерами» и «приговорами» (*arrêts*) Парижского парламента — краткими записями окончательных решений с изложением сути дела и обстоятельств следствия, призванных продемонстрировать справедливость суда. «Приговор» начинался с истории того или иного человека, что совпадает с преамбулой любого «примера». Затем шли детали процесса (соответствующие, пусть приблизительно, чудесному происшествию, описанному в «примере»), заключавшиеся своеобразным судебно-правовым «моралите». Понятие «*прецедент*», которым оперировали чиновники, создавая сборники судебных казусов, отчасти применимо и к религиозным «примерам», так как и те, и другие имели дидактическую направленность, должны были «учить, назидать, внушать отвращение к греху (или преступлению. — *О. Т.*) и приверженность к благочестию». Существенными различиями «примеров» и «приговоров» являлись разная аудитория (*все* прихожане и *только* судьи) и отсутствие «двумерности» (термин А.Я. Гуревича) в «приговорах». А потому об их близости можно говорить лишь как о *формальной*.

Но даже с этой точки зрения интересно сравнить историю, рассказанную Аломом Кашмаре, с дидактическим религиозным «примером». Сюжет о раскаявшемся преступнике-еврее, принявшем перед смертью христианство, как нельзя лучше подошел бы какому-нибудь средневековому проповеднику, ведь не всегда в «примерах» происходили чудеса, часто они строились при помощи «*конкретных казусов*, случаев из жизни... и древних легенд». Рассказ о Соломоне должен был, как

53

54

55

настоящий «пример», поразить потенциальных слушателей, даже если учесть, что регистр Кашмаре предназначался для служебного пользования. Ведь слухи и сплетни были не просто частью жизни средневекового общества, на них во многом строилась вся система уголовного судопроизводства эпохи. А рассказать стоило, ибо записано дело было динамично, забыть его было трудно, так как оно не принадлежало к рутинной повседневной практике. «Событие, упоминаемое “примером”, обычно изображает *поворотный, переломный* (курсив мой. — О. Т.) пункт в жизни человека или *его кончину*. “Пример” динамичен, ибо он *драматичен*», — замечает А.Я. Гуревич, и сказанное им в полной мере можно отнести к истории жизни и смерти Соломона из Барселоны.

Впрочем, сюжеты «примеров», как и сюжет о раскаявшемся разбойнике, представляли собой те самые «готовые формы», о которых писала О.М. Фрейденберг, предлагая считать эпохой их существования и доминирования (т. е. временем полного отсутствия «свободного сочинительства») весь период до XVIII в. И следовательно, нет ничего удивительного в том, что Алом Кашмаре построил свой регистр (ибо подобным образом записано не одно только дело Соломона) по схеме, хорошо ему известной по другим произведениям «риторической культуры» (термин С.С. Аверинцева). Случилось ли это на самом деле, было ли выдуманно автором, в данном случае — вопрос второго плана, как и то, происходили ли в действительности те чудеса, о которых говорится в многочисленных «*De miraculis*»...

Казус интерпретации

Попытаемся подвести итог нашей истории. Единственное, о чем с уверенностью можно сказать: мы *никогда не узнаем*, произошло ли все описанное в «Регистре Шатле» в действительности или же было выдуманно его автором.

Если судьба Соломона из Барселоны реальна, мы, видимо, имеем дело с ситуацией, которую можно было бы (*исключительно за неимением дополнительной информации*) именовать «прагматической», используя понятие, все чаще встречающееся в современной историографии. Из того, что позволил нам узнать о Соломоне Алом Кашмаре, следует лишь один, более или менее обоснованный вывод: Соломон выбрал быструю и менее мучительную смерть и для этого

принял христианство. Все прочие предположения *возможны*, но не доказуемы.

Как мне представляется, основным стимулом работы Кашмаре было желание не только создать определенного рода формуляр уголовного судопроизводства, но и показать исключительные казусы, чья *единичность* могла бы со временем обернуться нормой, правилом, *стереотипом*. Только личная позиция Алома Кашмаре может в данном случае иметь право на существование в качестве исторического казуса, реально произошедшего. Вопрос о том, была ли его история жизни и смерти Соломона из Барселоны выдумкой, переложением давно известного сюжета о раскаявшемся разбойнике, остается открытым, что делает нашу историю еще более привлекательной и позволяет считать ее *казусом интерпретации* — как авторской, так и нашей, сугубо индивидуальной.

Примечания

- ¹ Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392 / Ed. H. Duplès-Agier. 2 vols. P., 1861, 1864. Далее сноски на этот источник даются в тексте — RCh, том, страница.
- ² О воровском жаргоне см.: *Тогоева О.И.* «Ремесло» воровства в средневековой Франции // Вопросы истории. 1998. № 5.
- ³ Дело Жоана описано в том же «Регистре Шатле», что и дело Соломона. Этот процесс не представляет ничего интересного для средневекового французского судопроизводства, его можно назвать типичным. Жоан с первого дня отрицал все предъявленные ему обвинения, и поколебать его не смогли даже три сеанса пыток. Отсутствие признания заставило судей приговорить Жоана всего лишь к пожизненному изгнанию из Франции. Его поведение в суде никак не отразилось на судьбе Соломона из Барселоны (RCh. II. 53—54).
- ⁴ О классификации типов воровства в уголовном праве Франции конца XIV в. см.: *Тогоева О.И.* Понятия «преступление» и «наказание» в уголовном праве и судопроизводстве Франции конца XIII — начала XV в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1996. С. 10—11.
- ⁵ Жан Трюкан — лейтенант, прево Парижа, до 1388 г. исполнявший обязанности *judex Judeorum*, т. е. судьи, в чьей компетенции находились все уголовные дела между евреями и христианами. По королевскому ордонансу от 16 февраля 1388/89 г. эти дела передавались в ведение самого парижского прево (*Ordonnances des rois de France*. T. 7. P. 226). Если прево по какой-то причине отсутствовал на заседании, его, как, например, в нашем случае, автоматически заменял лейтенант.
- ⁶ *Baron S.W.* A Social and Religious History of the Jews. 2nd ed. 18 vols. N.Y., 1952. T. 9. P. 7—79; 1956. T. 11. P. 65—70.

- ⁷ См. например: *Chronique de Saint-Denis // Recueil des historiens des Gaüles et de la France*. Т. 20. P. 704sq.
- ⁸ *Poliakov I.* The History of Anti-Semitism. N.Y., 1976. P. 104.
- ⁹ *Chronique de Saint-Denis*. P. 704.
- ¹⁰ *Anchel R.* Les Juifs de France. P., 1946. P. 87.
- ¹¹ *Ordonnances...* Т. 3. P. 471–473.
- ¹² *Chronique des 4 premiers Valois (1327–1393) / Ed. S. Luce*. P., 1862. P. 302: «Les Juifs de Paris ... furent mis en la sauvegarde du roy de France; et fut criée la sauvegarde à la trompette, sur peine de mort». Ср. с положением дел на Пиренейском полуострове: *Варьяш О.И.* Иудеи в португальском праве XIII–XIV вв. // *Средние века*. 1994. Вып. 54. С. 94–102.
- ¹³ *Demurger A.* Temps de crises, temps d'espöires (XIV^c–XV^c siècle). P., 1990. P. 86.
- ¹⁴ *Spelunca latronum* – образ, позаимствованный французскими средневековыми авторами из Библии, являлся стереотипным определением королевства: *Gauvard C.* Grâce et exécution capitale: les deux visages de la justice royale française à la fin du Moyen Age // *Bibliothèque de l'École des Chartes*. 1995. Т. 153. Juil. - Déc. P. 275.
- ¹⁵ Архив суда Тампля. Цит. по: *Geremek Br.* Les marginaux parisiens aux XIV^e et XV^e siècles. P., 1991. P. 113.
- ¹⁶ *Ibid.* P. 315–316.
- ¹⁷ Косвенно об этом свидетельствует ордонанс 1361 г., где специально оговаривалось, что любое сообщение об украденных вещах, якобы найденных в домах евреев, не будет приниматься во внимание королевскими судебными властями (*Ordonnances...* Т. 3. P. 473).
- ¹⁸ Истинной причиной возбуждения против Обрио уголовного дела была его неприязнь к парижским студентам, чего никак не мог ему простить Университет. Однако защита интересов еврейской общины стала прекрасным предлогом для обвинения. Именно эта деталь сохранилась в памяти потомков, и спустя почти триста лет Анри Соваль писал в своей «Скандалной хронике»: «Это был человек, погрязший в разврате и сладострастии. Тайно он посещал еврейских проституток и замужних женщин, которые предавались с ним самым разнузданным развращениям... И это было одним из преступлений, в которых обвинил его Университет» (*Sauval H.* La chronique scandaleuse. *Chronique des mauvais lieux de Paris*. P., 1910. P. 51). Замечу, что этот слух имел под собой реальную почву: Уго Обрио, в качестве прево Парижа, энергично боролся с городской проституцией и лично инспектировал дома терпимости (*Geremek Br.* *Op. cit.* P. 259).
- ¹⁹ *Ordonnances...* Т. 3. P. 473.
- ²⁰ *Blumenkranz B.* Juifs et chrétiens dans le monde occidental. P., 1960. P. 359–365.
- ²¹ *Le Bestiaire, texte intégral traduit en français moderne, présentation et commentaires de X. Muratova et D. Poirion*. P., 1988. P. 82. Ср.: *Притчи*, 26, 11: «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою».
- ²² *Questiones Johannis Galli / Ed. M. Boulet*. P., 1944. Q. 403. P. 482.
- ²³ *Cohen E.* The Crossroads of Justice. Law and Culture in Late Medieval France. N.Y., 1933. P. 92–93.
- ²⁴ *Kisch G.* The Jewish Execution in Medieval Germany // *Studi in memoria di Paolo Koschaker*. Milan, 1954. Т. 2. P. 65–93. Цит. по: *Cohen E.* *Op. cit.* P. 93.
- ²⁵ *Dietrich G.* Les procès d'animaux du Moyen Age à nos jours. Lyon, 1961; *Coustone et stilles de Bourgoigne (1270–1360) // Giraud C.* *Essai sur l'histoire du droit français au Moyen Age*. P., 1846. Т. 2. P. 302.

- 26 Когда Грациано из «Венецианского купца» У. Шекспира обвиняет Шейлока в том, что в нем — душа волка, он руководствуется теми же представлениями:

И я почти поверить с Пифагором
Готов в переселенье душ животных
В тела людей. Твой гнусный дух
жил в волке,

Повешенном за то, что грыз людей:
Свирепый дух, освободясь из петли
В утробе подлой матери твоей,
В тебя вселился...

(акт 4, сцена 1).

- 27 Еврейская энциклопедия. Свод знаний о еврействе и его культуре в прошлом и настоящем / Под общ. ред. Л. Кацнельсона. Репринт. М., 1991. Т. 7. Кол. 834—855; Т. 14. Кол. 419—420. См. также: Втор., 23, 18; Псалтирь, 22, 17; Исайя, 56, 11; Матфей, 7, 6.

- 28 В IX—XI вв. любое уголовное преступление, совершенное евреем, рассматривалось только как религиозное (*Blumenkranz V.* Op. cit. P. 366).

- 29 За 1361—1394 гг. (т. е. с момента возвращения евреев во Францию и до окончательного их изгнания) в уголовных регистрах Парижского парламента я смогла обнаружить всего одно дело, так или иначе имеющее отношение к еврейской общине. Это решение по апелляции еврейского торговца из Санлиса, обвиненного местным королевским балы в воровстве. Следствие показало, что балы превысил свои полномочия, дело было сфабриковано, еврей был несправедливо посажен в тюрьму, где подвергся пыткам. Чиновника временно отстранили от должности и приговорили к уплате штрафа (Парижский национальный архив, серия X — Парижский парламент. X 2a — уголовные регистры, X 2a 7, f. 329vB—332vA (1367)).

- 30 Позднее, в XV в., к ним добавилась идея, заимствованная из римского права — ни одно престу-

пление не должно остаться ненаказанным. Подробнее на эту тему: *Gauvard C.* La justice pénale du roi de France à la fin du Moyen Age // Le pénal dans tous ses états. Justice, Etats et Sociétés en Europe (XII^e—XX^e siècles) / Sous le dir. de X. Rousseaux, R. Levy. Bruxelles, 1997. P. 81—112.

- 31 *D'Ableiges J.* Le Grand Coutumier de France / Ed. E. Laboulaye, R. Dareste. P., 1868. P. 650.

- 32 *Geremek Br.* Op. cit. P. 66—67.

- 33 Например, испанский мусульманин, имевший сексуальные отношения с иноверкой, мог избежать смертной казни, перейдя в христианство и отделавшись незначительным штрафом (по сообщению И.И. Варьяш). Родригес Медьяно (*Rodriguez Mediano F.* Justice, crime et châtement au Maroc au XVI^e siècle // *Annales HSS.* 1996. Mai-Juin. № 3. P. 611—627) приводит историю вора-еврея, который всякий раз, когда его арестовывали, заявлял, что собирается перейти в ислам. Так продолжалось до тех пор, пока новый кади не приказал казнить его, несмотря на столь благородные намерения.

- 34 *Glanz R.* «The Jewish Execution» in *Medieval Germany* // *Jewish Social Studies.* 1943. № 5. P. 3—26. Дословно базельские судьи предложили преступнику «не умирать как животному», а принять смерть «по-человечески». Во-первых, такая формулировка указывала, что евреев и домашних животных, уличенных в уголовном преступлении, ждало одинаковое наказание. Во-вторых, она лишней раз ставила под сомнение человеческие качества иудеев (*Glanz R.* Op. cit. P. 4; *Cohen E.* Op. cit. P. 93). Особенности формулировки приговора являются лишь одной из причин невозможности сравнения базельского примера с делом Соломона: в его приговоре отсутствуют ассоциации с животными.

Важным обстоятельством представляется и разница, существовавшая между французским и немецким антисемитизмом в эпоху позднего средневековья, о которой уже говорилось выше. Основной же причиной отказа от немецкого казуса стало различие в системах уголовного судопроизводства двух стран. Соответствие деятельности королевских судов существующему законодательству стало во Франции в конце XIV в. основным принципом судопроизводства; в Германии этому правилу следовали не столь строго.

³⁵ *Blumenkranz B.* Op. cit. P. 367.

³⁶ *Langlois M., Lanhers Y.* Confessions et jugements de criminels au Parlement de Paris (1319–1350). P., 1971. P. 173.

³⁷ Анализ рукописи регистра, хранящейся в Национальном Архиве Франции (серия Y – Шатле Парижа, Y 10531 – Уголовный регистр Шатле), свидетельствует в пользу второго предположения. Регистр писался под диктовку несколькими писцами (возможно, двумя), так как почерк на протяжении рукописи меняется.

³⁸ За воровство было осуждено 77 человек, за политические преступления – 16, за сексуальные преступления – 6, столько же – за избиения, за убийство и колдовство – по 4 человека.

³⁹ Так, ордонанс 1383 г. о защите виноградников и сохранности вин предписывал прево Парижа следить за торговлей вином и виноградом и препятствовать разорению виноградников (*Ordonnances...* Т. 5. P. 529). Ордонансы 1348 и 1397 гг. запрещали публичные оскорбления и призывали население доносить об известных им подобных случаях (*Ibid.* Т. 2. P. 283; Т. 8. P. 130–131). Запрет на азартные игры был тесно связан с законодательством против бродяжничества и действовал на про-

тяжении всего XIV в. (*Geremek Br.* Op. cit. P. 31–41). То же самое можно сказать и о запрете на ведение частных войн (*guerres privées*) и ношение оружия (*Cazelles R.* La réglementation royale de la guerre privée de Saint Louis à Charles V et la précarité des ordonnances // *Revue d'histoire du droit français et étranger.* 1960. N 38. P. 530–548). Что касается проституции, то с конца XIV в. парижские власти прилагали огромные усилия для сокращения численности публичных домов и контроля над ними. Уже известный нам Уго Обрио предпринимал самые решительные шаги в этом направлении (*Geremek Br.* Op. cit. P. 253–290).

⁴⁰ *Baron S.W.* Op. cit. P. 79f. В Париже такой диспут состоялся в 1240 г. по приказу Людовика IX в ответ на циркуляр папы Григория IX, требующего конфисковать все имеющиеся в наличии экземпляры Талмуда. Среди обвинений в адрес иудаизма особый упор делался на легенды о том, что Адам якобы совокуплялся с домашними животными, а Ева – со змеем.

⁴¹ *Бартошек М.* Римское право: Понятия, термины, определения. М., 1989. С. 215, 328, 409.

⁴² *Baron S.W.* Op. cit. P. 12–19.

⁴³ *Ordonnances...* Т. 3. P. 473.

⁴⁴ *Ibid.* Т. 5. P. 167.

⁴⁵ Типичным было представление о том, что выкресты продолжают тайно исповедовать иудаизм и поддерживать отношения с еврейской общиной. Примером может служить дело некоего Шарло-Конверса, заслужившее в 1390 г. в Шатле. Он, в частности, обвинялся в том, что, согласно слухам (*commune renommée*), «крестился (*fu converti et baptisié*) в Испании... затем крестился во Франции... И со времени последнего крещения этот Шарло пил, ел и общался с евреями (*beu, mengié et conversé*)».

- avecques les juifs) и продолжал все делать так, как до крещения» (RCh. II. 22).
- 46 Поступок Кашмаре не должен вызывать у нас удивления: многие средневековые юристы, настроенные критически по отношению к тому или иному постановлению, выражали собственную, а не общепринятую точку зрения в своих произведениях. Лучшим примером может служить Филипп Бомануар, который «для свидетельства того, что какой-нибудь обычай поставлен под сомнение, неизменно ссылается только на одно судебное решение, так как одного прецедента достаточно, ибо он имеет решающее значение» (*Hubrecht G. Commentaire historique et juridique // Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis. P., 1974. Т. 3. P. 4*). Другое дело, что Кашмаре находился на службе короля, а потому включение в регистр дела Соломона было для него весьма ответственным шагом. Однако и здесь «напряженный поиск идеала мог выражать... критическую оценку обыденности, т. е. был результатом известной неудовлетворенности ею и самого автора, и его читателей», причем «противоречие жизненного опыта идеалам и их литературным воплощениям не вело ни к исчезновению самих идеалов, ни даже к уменьшению их притягательности» (*Бессмертный Ю.Л. Это странное ограбление... // Казус-1996: Индивидуальное и уникальное в истории. М., 1997. С. 38, 40*).
- 47 Брагинская Н. В. Siste, viator! (Предисловие к докладу О. М. Фрейденаберг «О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках») // *Одиссей-1995. Человек в истории. М., 1995. С. 259*.
- 48 Фрейденаберг О. М. О неподвижных сюжетах и бродячих теоретиках (из служебного дневника) // Там же. С. 289.
- 49 Там же. С. 282; *Miracle de Notre-Dame, de Robert-le-Dyable, fils du duc de Normandie. Rouen, 1836*.
- 50 *Delumeau J. La peur en Occident (XI^e–XVIII^e siècles). Une cité assiégée. P., 1994. P. 365*. Отношение к евреям как к пособникам Дьявола появилось еще в античности: *Fontette F. de. Histoire de l'antisémitisme. P., 1982. P. 28–29*.
- 51 *Delumeau J. Op. cit. P. 381*.
- 52 Отмечу еще одну, на первый взгляд незначительную, параллель. В истории Роберта, как и в судьбе Соломона, важную роль играют собаки. Первый во время покаяния живет и ест с собаками: «С Луве его найдете, // собакой, мой отец», — сообщает служанка отшельнику, у которого находит приют Роберт (*Miracle... P. 117*). Как отмечает О. М. Фрейденаберг, «жизнь среди зверей, в частности среди собак, — редупликация образов смерти», смерти метафорической, после которой человек перерождается (*Фрейденаберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997. С. 293*). Соломона, как мы помним, также ждут собаки на виселице.
- 53 *Gauvard C. «De grâce especial». Crime, Etat et société à la fin du Moyen Age. P., 1991. Т. 1. P. 128*.
- 54 *Гуревич А. Я. Культура и общество глазами современников. М., 1989. С. 7*.
- 55 Там же.
- 56 Бомануар дает слухам следующее юридическое определение: «то, что говорится (ce qui est dit) большинством людей» (*Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis / Ed. A. Salmon. P., 1899–1900. № 40*). Автор «Кутюмы Бретани» отмечает, что для применения пытки в некоторых случаях надлежит уточнить то, что «известно всем (notoirement à commun) в приходе, на ярмарке или на рынке» (*La très ancienne coutume de Bretagne / Ed. M. Planiol. P., 1986*).

Ch. 97). Слухам и общественному мнению в позднее средневековье был посвящен специальный номер журнала «Médiévaies». 1993. № 24.

⁵⁷ Гуревич А.Я. Указ. соч. С. 27.

⁵⁸ Брагинская Н.В. Указ. соч. С.261.

⁵⁹ Подробнее о ситуации прагматического выбора как о новом подходе в исторических исследованиях см.: Бессмертный Ю.Л. Что за «Казус»? // Казус-1996. С. 7–24.

О.И. Тогоева

*Статья подготовлена
при финансовой поддержке РГНФ
(проект № 97-01-00243)*

Йоркширский «Расемон»

(провинциальная трагикомедия
елизаветинских времен)

Удивительные события, предлагаемые вниманию читателя, развернулись в лето 1582, в 23-й год царствия славной королевы Елизаветы I в Йоркшире, известном в ту пору не столько одноименными пудингами, сколько отменными сукнами, бедностью дворянства и нетвердостью местного населения в англиканской вере, что, впрочем, было справедливо для всего севера страны. И хотя Йорк считался важнейшим после Кентербери церковным центром и резиденцией второго архиепископа, паства его была весьма склонна к «папизму», и свет «истинного Евангелия» еще не согрел эту землю».

С точки зрения светского управления Йоркшир также представлял собой известную проблему, будучи слишком велик, поэтому его территория издавна подразделялась на четыре части — так называемые райдинги. В каждом из них выбирали мировых судей, таким образом, по численности местной администрации Йоркшир в четыре раза превосходил остальные графства. Эти джентльмены из лучших семейств, регулярно съезжаясь на мировые сессии, вершили правосудие и прочие общественные дела: проводили разверстку налогов, формировали местное ополчение, устанавливали рыночные цены, обсуждали указания, полученные из столицы, а между делом предавались чревоугодию, женили детей, сговаривались об охоте — одним словом, это был хорошо устроенный мир близких родственников и старых знакомых, где, как в любом локальном сообществе, не слишком любили чужаков и распоряжений из центра.

В мировых сессиях неизбежно «ex officio» принимали участие двое, волею судеб ставшие антагонистами в нашей истории, — архиепископ йоркский и высокий шериф графства.

Dramatis personae. Архиепископу йоркскому Эдвину Сэндсу к тому времени перевалило за семьдесят. Несмотря на физическую немощь, он был весьма активен, желчен, известен как записной моралист и неутомимый критик нравов йоркширского дворянства, которое он искренне недолюбливал, впрочем, местная элита платила ему той же монетой. Преследуя «папистов», он нажил себе немало врагов не только среди католиков, но и протестантских семейств, связанных с ними родственными узами. О местных мировых судьях он как-то едко заметил: «Сказать по правде, хотя в Йоркшире много джентльменов, выбор тех, кто подходит на эту должность, очень невелик. *Nam omnes querunt quae sua sunt, non quae spectant ad bonū Reip.* (Поскольку они всегда выбирают своих, а не тех, кто заботится о благе государства)».

3 Полной противоположностью архиепископу был его оппонент, джентльмен, наделенный, по мнению йоркширцев, всяческими достоинствами, всеми любимый и почитаемый сэра Роберт Степлтон, с молодых лет непременно избиравшийся на различные посты в местном управлении. С 1569 г. он был мировым судьей в Западном райдинге, с 1575 — в Восточном, а в 4 1572 г. избирался в парламент от графства. Его политическая карьера достойно увенчалась в 1581 г. назначением на один из ключевых постов местной администрации — он стал высоким шерифом Йоркшира.

В 80-е годы его достоинства оценили и при дворе. Молодой, прекрасно образованный и утонченный дворянин произвел весьма благоприятное впечатление на государыню, которая лично хлопотала об устройстве выгодного для него второго брака. В высшей степени лестное для Степлтона мнение двора подтверждает и оценка, данная йоркширцу знаменитым ученым-историографом У. Кемденом, по словам которого, Степлтон — «джентльмен, обладающий такой наружностью, обходительностью, знанием языков, что, как говорят, никто в Англии не превзошел или не сравнился бы с ним, за исключением разве сэра Филипа Сидни». Это весьма красноречивое 5 сравнение, ибо Сидни служил для современников образцом совершенного джентльмена и идеального придворного.

В силу занимаемой должности Степлтон входил в комиссию по церковным делам, где, будучи убежденным протестан-

том, трудился рука об руку с архиепископом йоркским на ниве насаждения «истинного Евангелия». Однако их личные отношения не были безоблачными: в 1578 г. между архиепископом и сэром Робертом возник спор из-за земельной собственности, который они с тех пор вели, не прекращая. Тем не менее латентный конфликт не мешал двум видным представителям власти публично выказывать друг другу знаки расположения и держаться в рамках общепринятых приличий. Однако невероятное происшествие, случившееся с ними в городишке под названием Донкастер, положило конец этой показной идиллии.

Бурная ночь в Донкастере. В марте 1582 г. архиепископ и шериф, объезжая в сопровождении нескольких дворян графство с инспекцией, остановились на ночлег на постоялом дворе, хозяином которого был некий Сциссон. После ужина, к которому усталый прелат едва притронулся, он поднялся в отведенную ему спальню и прилег, в то время как джентльмены продолжали веселиться. Когда же и они разошлись, покой постояльцев был внезапно нарушен среди ночи дикими воплями хозяина гостиницы, который в гневе разыскивал свою жену с обнаженной шпагой в руках. За ним следовал верный слуга-шотландец по имени Александр. Сциссон ворвался в комнату своего высокого гостя, где его глазам открылась удручающая картина: миссис Сциссон в одной постели с архиепископом йоркским.

Приставив клинок к груди престарелого прелата, оскорбленный хозяин послал за шерифом, который уже и без того появился в дверях, привлеченный шумом и угрозами, и не позволил водевилю перерасти в кровавую трагедию. Разгневанный муж опустил шпагу, миссис Сциссон с причитаниями удалась, а ошеломленный епископ бормотал не слишком внятные оправдания. Один лишь Степлтон, казалось, оставался на высоте. Его действия отличались четкостью и продуманностью: чтобы спасти репутацию архиепископа, он приказал всем разойтись, взяв с них клятву хранить молчание об этом инциденте, и пообещал выступить посредником между Сциссоном и его «обидчиком».

После нескольких встреч с обеими заинтересованными сторонами шериф заверил архиепископа, что всеми силами старался урезонить Сциссона, и тот согласился не предавать дело огласке, если ему заплатят компенсацию в размере 600 ф. ст. (сумма по тем временам огромная, превосходящая среднегодо-

вой доход богатого рыцаря, а в Йоркшире редкий дворянин держал в руках такие деньги). Что же архиепископ? Увы, благочестивый прелат, поторговавшись, согласился заплатить 400 ф. ст., тем самым косвенно признав грех прелюбодеяния и нарушение священнического обета. Деньги были переданы шерифу; страж порядка и ревнитель авторитета церкви вручил их хозяину гостиницы в надежде, что инцидент исчерпан, по крайней мере так выглядела внешняя сторона событий.

Однако если честь ревнивого мужа была удовлетворена, то его финансовые аппетиты — нет, и вскоре он потребовал от архиепископа недостающую сумму, т. е. занялся примитивным шантажом. Священник понял, что совершил ошибку и вымогательствам не будет конца, и быстро изменил линию поведения, перейдя от обороны к нападению. Он неожиданно обвинил всех участников ночного фарса в Донкастере в заранее спланированном заговоре против него, англиканской церкви и достоинства самой государыни как ее главы, одним словом, в преступлении, квалифицировавшемся как государственная измена. А главным зачинщиком, коварным лицемером и погубителем репутации честного прелата он назвал своего давнего недоброжелателя сэра Роберта Степлтона, о вероломстве которого архиепископ составил донос королеве и лорду-казначею У. Берли, вверив свою участь этому искушенному политику, понимавшему, сколь нежелательна огласка в таком деликатном деле и какой эффект произведет публичное обвинение архиепископа йоркского в адюльтере.

Переписка незадачливого прелата и озадаченного министра полностью сохранилась в архиве последнего (коллекция манускриптов маркиза Лансдауна, Британский Музей). Архиепископ буквально молил о помощи, взывая к дружеским чувствам и всегдашнему расположению лорда Берли к нему. Он настаивал на том, что у первого министра не должно быть сомнений в его честности: «Вам нет нужды бояться защищать все правое дело, ибо это не может быть для Вас унижительным».

Тем временем Степлтон, не подозревая, что и над ним могут сгуститься тучи, в довольно самоуверенной манере продолжал свой спор с архиепископом об аренде некоторых коронных земель в Йоркшире, настаивая, как королевский шериф, на инспектировании их и предлагая государыне отобрать у Сэндса данные ему в держание маноры. Он также публично обвинил архиепископа в ростовщичестве и громогласно уве-

рял друзей, что «держит его за жабры». Но «бедный несчастный старик», как именовал себя Сэндс, оказался достаточно силен, чтобы сорваться с крючка, правда, не без помощи У. Берли.

7

Английский
джентльмен.
Английская лубочная
картинка XVI в.



Что нам делать с архиепископом? К концу января 1583 г. первый министр, взвесив все «за» и «против», решил, что государственные интересы обязывают его встать на защиту архиепископа, независимо от того, виновен ли он в приписываемых ему грехах. Того же мнения придерживались и другие члены Тайного Совета, негласно обсуждавшие этот вопрос, который в Лондоне называли не иначе, как «большим делом» (great

cause), понимая, что из дела Сэндса оно превратилось в дело церкви. Вместе с У. Берли в детали были посвящены два фаворита королевы — граф Лейстер и юрист по образованию вице-камергер К. Хэттон, через которых шло согласование позиций с государыней, поскольку сам Берли был в это время тяжело болен и не появлялся в Совете. В конце февраля 1583 г. королева приняла решение по делу, не подвергавшемуся никакому формальному судебному разбирательству. Выбирая между двумя представителями власти — светской и духовной, она сочла, что дискредитация последнего нанесет больший ущерб ее политике, и отдала на заклятие своего любимца, галантного шерифа Степлтона.

В письме к Берли граф Лейстер от своего имени осудил «враждебность Степлтона или, скорее, его холерическое поведение в отношении архиепископа, которые проявились в его недавних высказываниях и речах», и передал волю государыни: поместить Степлтона под арест в тюрьму Флит и потребовать от него собственноручного признания по донкастерскому делу. Впрочем, существо его показаний никого не интересовало, королева хотела лишь одного, чтобы конфликт как можно скорее был потушен, а репутация архиепископа обелена. Ее инструкции содержали в себе заведомое и явное противоречие: «Тщательнейшим образом уладить (не расследовать, а именно уладить. — *О. Д.*) это дело, дабы установить истину и оправдать епископа».

А было ли грехопадение? Тем не менее то, что на государственном уровне исход дела был предрешен, не означало, что сановники не желали знать правду: кого-то к этому подвигало естественное человеческое любопытство, кого-то собственные моральные принципы. Для лорда Берли это, несомненно, был вопрос принципа, поскольку он был человеком глубоко порядочным и предъявлял те же требования к другим. Именно его пришлось убеждать архиепископу в первую очередь. Сэндс принял вид оскорбленной невинности, объясняя свое прежде двусмысленное поведение растерянностью перед внезапным напором интриганов-заговорщиков, с которыми ныне он был полон готовности бороться: «Горе почти поглотило меня,.. но теперь, когда эти лжецы обнаружили себя и совершили самое худшее, я воодушевился на эту битву». «Моя единственная вина, — писал он Берли, — состоит в том, что я скрывал все происшедшее слишком долго. Меня подвигли на это их искренние клятвы в том, что мое доброе имя никогда не будет под-

вергнуто сомнению. Из уважения к Евангелию сам я терпеливо сносил столь позорное унижение. Но уверяю Вас, милорд, что в том, в чем они главным образом меня обвиняют, я в высшей степени не повинен ни в каком преступном деянии».

11

Позднее, когда дело определенно приняло для него благоприятный оборот, архиепископ уже с уверенностью заявлял, что заговорщики подучили миссис Сциссон возвести на него напраслину: «Если бы они не выдумали, что эта шлюха (strumpett) должна сказать, будто я ее домогался, им было бы нечем замаскировать их вероломство».

12

Под контролем Берли были сняты показания всех остальных участников донкастерского инцидента, однако их оригиналы до нас не дошли (возможно, они были намеренно уничтожены ввиду скандального характера содержащейся в них информации). Тем не менее по ряду официальных документов можно проследить, как ситуация начинала обрастать все новыми и новыми подробностями. Сохранился, в частности, список из 12 пунктов, по которым велся допрос Степлтона. Вопросы, адресованные шерифу, в полной мере отражают концепцию происшедшего, к которой стало склоняться следствие.

Целый ряд пунктов был сформулирован так, чтобы подчеркнуть лицемерие Степлтона, предлагавшего архиепископу свои услуги. «В прошлый пост не давали ли Вы понять епископу через его канцлера, что он может считать Вас одним из тех, кто его весьма уважает? Высоко ценит его добрый нрав, а посему готов выполнить любое его желание или поручение?.. Не предлагали ли Вы свои услуги епископу, показывая, что Вам очень бы хотелось снискать его одобрение?.. Не бывали ли Вы часто накоротке в доме епископа?» и т. д. Хотя все это можно было приписать благородству сэра Роберта, спасавшего репутацию прелата и церкви, его дружелюбное поведение было поставлено ему в вину, как и то, что он ничего не сообщил о происшествии ни лорду-президенту Совета Севера, ни другим магистратам.

13

Подтекст других вопросов указывал на то, что шерифа подозревали в сговоре с четой Сциссонов, сам же факт их заговора в целях вымогательства денег уже принимался как данность, в то время как ни малейший намек на возможность действительного грехопадения Сэндса не допускался: «Знали ли Вы, что жена Сциссона из Донкастера с разрешения и согласия мужа оказалась в ночное время у постели епископа, а муж

немедленно появился вслед за ней с обнаженной шпагой в руке?». Высказывалось также предположение, что женщину вынудили пойти на это угрозами: «Не бил ли Сциссон в эту ночь свою жену... или не отказался ли он лечь с ней в постель, как обычно?». От следствия не ускользнуло и то, что Степлтон слишком быстро явился на зов Сциссона, будучи полностью одет, «как накануне», будто ожидал этого.

Из вопросника также явствовало, что судьям было известно об обострении отношений между Степлтоном и архиепископом из-за старой тяжбы и то, как шериф в сердцах заявил, что, хотя сам он и будет держать язык за зубами, других не станет к этому принуждать, и ушел «во гнев». И, наконец, последний пункт документа прямо намекал на то, что шериф решил использовать затруднительное положение Сэндса и сам стал шантажировать его, якобы подослав к архиепископу некого 15 Бернарда Мода с просьбой одолжить Степлтону 200 ф. ст.

В формулировках вопросов, адресованных Степлтону, явственно звучат отголоски показаний других участников донкастерских событий, в них очень много живых деталей и подробностей. Совершенно очевидно, например, что из допроса Сциссона стало известно, как Степлтон повалил его наземь и грозил шпагой, требуя снизить сумму компенсации с архиепископа, а также то, что хозяин гостиницы давал ему клятву хранить молчание об этой сделке на каком-то холме, где они были один на один, и внес залог как гарантию своего молчания. Однако поддающиеся реконструкции показания других фигурантов этого дела относятся в основном к событиям, происшедшим много позднее самого инцидента с архиепископом, о котором их старались не расспрашивать. Следствие не слишком стремилось пролить свет на то, что же все-таки произошло в гостинице.

Безусловно, для установления истины нам, как и следствию, были бы весьма полезны протоколы допроса Сциссонов, даже если бы в них содержалась только ложь, поскольку и она может многое прояснить в мотивации тех или иных поступков. Можно с большой долей вероятности предположить, что сохранилось в показаниях незадачливой миссис Сциссон, сыгравшей роковую роль в судьбе архиепископа. Конечно, только она, а не ее муж, могла сообщить, что он избил ее в ту ночь и отказал в супружеских ласках, после чего огорченная женщина оказалась в спальне священника. К тому же выяснилось, что она уже была знакома с архиепископом, так как ранее слу-

шила у него дома (что может дать пищу для самых разных предположений). Вероятнее всего, не желая прослыть ни загорщицей-вымогательницей, ни тем более прелюбодейкой, она могла заявить, что искала у архиепископа утешения и отеческой поддержки. Это было на руку и прелату, если бы он не оторопился решительно откреститься от старой знакомой, азвав ее «шлюхой».



Галантная сценка.
Английская лубочная картинка XVI в.

Как бы там ни было, но эта женщина не подвела архиепископа и отмела все подозрения в интимной близости с ним. Она явствует из собственноручной пометки, сделанной лордом Берли на одной из страниц дела Степлтона. Неразборчивый эчерк лорда-казначая, выцветшие чернила и бумага, попорченная грибком, крайне затрудняют понимание нескольких расплывчатых строчек, в которых содержится отзыв Берли о

16 миссис Сциссон, но среди них явственно читаются две фразы: «Жена Сциссона говорит, что епископ не сдержал своих обещаний...» и «Он никогда не использовал ее бесчестно». И если первая фраза может навести на мысль, что он все-таки зазывал ее к себе, то вторая не вызывает сомнений: миссис Сциссон утверждала, что ничего недозволенного между нею и архиепископом никогда не было. Но это — лишь ее заявление, которое невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть.

17 Подобно героям знаменитого японского «Расемона», каждый из участников йоркширской трагедии излагал новую версию, стремясь представить себя в ней с выигрышной стороны, при этом поступки других всякий раз представляли в ином свете, возникали новые предположения об их мотивации, а истина, между тем, окончательно ускользала.

Как ни парадоксально, хозяину гостиницы, чтобы обелить себя и отместить подозрения в преступном сговоре, следовало доказать, что его жена — действительно особа легкого поведения. Это, кстати, было нетрудно, поскольку ее репутация оставляла желать лучшего, а упоминавшийся слуга Александр был всем известен как постоянный сожитель своей хозяйки. Но эта версия не была удобна следствию, поскольку, если миссис Сциссон была общеизвестной шлюхой, это снижало ценность ее показаний о невинности епископа. Тогда неизбежно возникал вопрос: если он «не использовал ее бесчестно», то что же она все-таки делала в его «раскрытой постели»?

С другой стороны, показная ревность мужа, оправдывавшая его действия, могла вызвать закономерные вопросы следствия: почему он закрывал глаза на прежние грехи жены, а в данном случае оказался столь чувствителен, и не стоял ли за этим сговор всех троих — супругов и их слуги-шотландца?

Имевшиеся показания, таким образом, ни в коей мере не проясняли ни реальной роли Степлтона во всей этой истории, ни того, имело ли место грехопадение архиепископа. Историка, неудовлетворенного тем, что дошедшие до нас косвенные данные не позволяют уточнить истину, может утешить только то, что следственная комиссия оказалась в том же положении. Но у членов Тайного Совета было по крайней мере одно преимущество перед исследователем: они искали не истину, а виновных, при этом исходя из презумпции невинности архиепископа. Поэтому вину, ничтоже сумняшеся, возложили на всех остальных. Теперь следовало убедить их покаяться, что было нетрудно со Сциссонами, которые, испугавшись угроз,

быстро подписали свои признания в намерении шантажировать архиепископа. На Степлтона же следовало воздействовать другими методами: угрозы были бесполезны, поскольку формально его вина не была доказана, к тому же рыцарь не был ни робким, ни тем более раболепным человеком. Его следовало убедить пойти навстречу властям и поддержать официальную версию в ущерб собственной репутации.

Эту ответственную миссию возложили на «старого лиса» Берли, которого королева лично попросила, несмотря на его болезнь, подняться с постели, «поскольку неумелые действия других могут повредить делу, которое стараниями Вашей милости будет приведено к благополучному исходу». Переговоры и попытки найти компромисс со Степлтоном были нелегкими, как позднее заметил архиепископ Сэндс, тот пошел на уступки, «торгуясь, а не раскаиваясь». Тем не менее шериф сделал то, чего от него добивались, ссылаясь на его долг перед церковью и государством, он подписал некий текст, в котором калялся в своих враждебных действиях против архиепископа и подтверждал его невиновность. 18 19

В чем бы ни был на самом деле убежден лорд Берли, он заставил себя и других поверить в это и объявил дело закрытым, поскольку «истина восторжествовала». Облегчение властей от сознания того, что скандала удалось избежать, было совершенно очевидным, как и неприкрытая гордость членов Совета профессионализмом, с которым это было сделано. Берли принимал комплименты и Лейстера, и Хэттона; последний передал ему, что и «Ее Величество в высшей степени обрадована и милостиво передает свою благодарность Вам за столь умелое и мудрое руководство в этом деле». Таким образом, второй акт драмы, начавшейся в Донкастере, казалось, благополучно подошел к концу в Лондоне. 20

Однако до ее финала было еще далеко. То, что дело «уладили» в столице, вовсе не означало, что оно не получит нежелательного резонанса в Йоркшире, где о грехопадении епископа стали оживленно судачить католики, многочисленные недоброжелатели Сэндса и друзья Роберта Степлтона. Местное дворянское сообщество было всецело на стороне своего шерифа. Мало кто верил в то, что благородный молодой человек столь редкостных душевных качеств замешан в интригах с кабатчиком и продажной женщиной, а тем более в вымогательстве денег. Сам Степлтон не скрывал, что поддался на уговоры членов правительства и принял на себя несуществующую вину, покрывая проступок архиепископа.

Общественное мнение было настолько неблагоприятно для последнего, что он счел необходимым снова обратиться за поддержкой к Берли и Тайному Совету. В письме от 23 марта 1583 г. архиепископ энергично убеждал их, что под угрозой не его репутация, а дело самой церкви, и гибель одного повлечет за собой крах другого и торжество Дьявола. Поскольку закулисное разбирательство не поддержало его авторитета в глазах йоркширцев, архиепископ рискнул потребовать открытого суда над его противниками, понимая, что у правительства не будет иного выхода, кроме как снова поддержать его: «Без публичного наказания, которое должно последовать за публичным оскорблением, ни мое доброе имя не будет восстановлено, ни церковь Христова не будет удовлетворена... Здесь друзья рыцаря (Степлтона. — *О. Д.*), а также паписты намекают, будто те, кого сейчас наказывают, были вынуждены по необходимости в чем-нибудь покаяться и понести легкое наказание, чтобы покрыть вину архиепископа».

21 В связи с этим, по мнению Сэндса, следовало сурово наказать всех. Но прежде всего — истинного главу всего заговора (*Captaune of all conspiracy*), сделать так, чтобы рыцарю пришлось понести по-настоящему тяжелое бремя или даже расплатиться за всю компанию. «Принесение его в жертву удовлетворит меня», — плотоядно замечает архиепископ, впрочем, тут же оговаривается: «Я не ишу личного отмщения, Бог мне судья, но без его публичного наказания ни я, никто другой из духовенства не смогут жить в покое и безопасности».

22 Он предложил передать дело на рассмотрение Звездной Палаты — «суда справедливого и свободного от всякого подозрения в пристрастности».

23 Тайный Совет прислушался к мнению второго прелата королевства, и в мае 1583 г. состоялось заседание суда Звездной

24 Палаты, на котором из уст членов правительства прозвучали уже известные аргументы: дефамация архиепископа «затронет честь и репутацию нашего королевства... и даст возможность врагам Евангелия писать об этом в Рим и Реймс, что вызовет поток книг оттуда сюда». Итогом судебных слушаний

25 стало вынесение приговоров всем участникам событий. Степлтона лишили рыцарского звания, оштрафовали на 3000 ф. ст. и приговорили к трем годам тюремного заключения. Кроме того, он должен был публично просить прощения у архиепископа на очередной четвертной сессии суда в Йоркшире и возместить ему сумму, исторгнутую «вымогателями».

Бернарда Мода, некогда служившего управляющим у архиепископа, а затем поступившего на службу к Степлтону, который от имени последнего якобы просил у Сэндса 200 ф. ст., оштрафовали на 500 ф. ст. и осудили на наказание у позорного столба в Лондоне и Йорке, а также на три года тюрьмы. Тот же приговор получил Сциссон, но его штраф составил 300 ф. ст.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Протокол допроса Роберта Степлтона.
Оригинал — в коллекции манускриптов Лансдауна.
Британская библиотека

Судьбу миссис Сциссон и некого Мэлори (чья роль в этом деле неясна) передали на усмотрение мировых судей в Йоркшире, зато шотландец Александр, возмущивший Звездную Палату своим вызывающим поведением и упорным нежеланием раскаиваться, был приговорен к отсечению ушей у позорного столба, штрафу в 100 ф. ст., трем годам тюрьмы и высылке из Англии, благ которой оказался недостойн.

Архиепископ мог торжествовать, предвкушая публичное унижение своих врагов. В ожидании йоркширской четвертной сессии он начал заранее составлять милостивый ответ на их

покаянные речи, написанные под диктовку членов Тайного Совета, не подозревая, что в кульминационный момент драма неожиданно начнет развиваться не по его сценарию.

26 *Белые ленты как аргумент защиты.* Судебное заседание по сути своей всегда представляет разновидность агона. В теоретическом плане эту проблему обозначил еще Й. Хейзинга, подчеркнув непременно присутствующие в нем поединок, азарт, спортивный дух, апелляцию к зрителям и желание любой ценой оставить последнее слово за собой. Всем этим было суждено насладиться публике, собравшейся летом 1583 г. в зале суда и вокруг него, чтобы посмотреть, как будет каяться, выполняя распоряжение Звездной Палаты, Степлтон и его товарищи по несчастью. Для них же публичное заседание в Йорке было прекрасным шансом убедить аудиторию в своей невинности, заронить сомнение в справедливости приговора и продемонстрировать несгибаемую волю. Р. Степлтона подвигала на это поддержка йоркширского дворянства, друзей и соседей и, не в последнюю очередь, самих мировых судей, среди которых ему особенно симпатизировал Мэлори-старший, отец молодого человека, осужденного Звездной Палатой вместе с шерифом.

Формальный итог суда и приговор, вынесенный одной из сторон, далеко не всегда означают безусловное поражение другой в глазах общественного мнения. У проигравшего всегда есть шанс выйти из поединка моральным победителем. Именно это готовились совершить сэр Роберт и Б. Мод, появившиеся в зале, как гладиаторы на арене. В их распоряжении было не так много средств, чтобы отстоять свое достоинство, учитывая, что правительство обязало их подчиниться и покаяться. Поэтому они избрали нетрадиционное оружие: риторику жеста, мимики, выразительность поз и символических деталей костюма.

Необычную атмосферу происходившего во всех подробностях воспроизводит отчет, составленный клерком суда и посланный лорду Берли. Автор этого документа, один из пораженных зрителей, проявил огромное внимание ко всем тонкостям поведения Степлтона и Мода, и это наводит на мысль о том, что, как и все присутствовавшие, он находился в ожидании чего-то необычного, что должны были совершить эти двое. Действительно, Степлтон и другие начали готовить общественное мнение заранее, широко комментируя свою позицию на грядущей процедуре судилища и всячески подчерки-

вая, что их раскаяние — всего лишь одолжение Тайному Совету и совершается по договоренности с правительством. Еще на пароме по пути в Йорк Мод громко заявил знакомому, так, что слышали все вокруг: «Мы едем в Йорк молить архиепископа о милости, и, кажется, он будет милостив и попросит избавить меня от позорного столба. Но истина состоит в том, что у него нет другого выбора. Так ему приказали те, кому он не осмелится противоречить». Степлтон в свою очередь убеждал своего друга Генри Гэтса, мирового судью, в том, что его доброжелателям нет причины печалиться о судьбе шерифа: «Я приехал только затем, чтобы послужить Ее Величеству, как делал это раньше во многих важных делах и, не сомневаюсь, как будет и впредь». Вера в то, что они приносят себя в жертву на алтарь государства, наполняла осужденных гордостью, граничившей в глазах зрителей с гордыней. По словам клерка, они «в очень самоуверенной манере подошли к барьеру», не сняв шляп и шапок и «не выказывая никаких признаков почтения к этому славному судебному заседанию. Только сэр Роберт поклонился сэру Уильяму Мэлори». Архиепископ также доносил лорду Берли, что «противоположная сторона не выказала ни смирения, ни единого признака раскаяния... Рыцарь явился отвечать с недопустимой бравадой, гордым взором и презрительным выражением лица».

Но еще большее впечатление, чем демонстративная манера поведения, произвели на публику их костюмы. Обвиняемые тщательно продумали цветовую символику своей одежды, выдержав ее в черно-белой гамме (с одной стороны, в 80-е годы это были любимые цвета самой королевы Елизаветы, что могло означать рыцарскую преданность ей, с другой — белый цвет традиционно означал невинность, а черный — скорбь). Предварительные разъяснения были даны публике и на этот счет, чтобы лучше подготовить аудиторию к восприятию спектакля. «Прежде, чем они пришли в это место, сэр Роберт и Мод дали понять своим друзьям, что они войдут с белыми лентами, чтобы этим знаком заронить в сознании людей мысль о том, что архиепископ был обвинен по справедливости, а они осуждены незаконно». Клерк прибавляет: «Многие еще до их прихода говорили, что именно в таком виде они и появятся... В соответствии со своими обещаниями и всеобщими ожиданиями они вошли. Сэр Роберт с белой лентой, приспособленной самым вызывающим образом, Мод — с такой же, повязанной вокруг его руки. Оба — в черных шелковых дублетах — символ для всех

27

28

29

- 30 собравшихся их опороченной и поруганной невинности». Аудитория прекрасно поняла послание, таившееся за этими лентами и бантиками. Сам архиепископ, зритель возмущенный, упоминая пресловутую «большую белую ленту, нацепленную непристойным образом на черный дублет», истолковал это однозначно как демонстрацию его оппонентами их безгрешности.
- 31

После эффектного выхода на сцену пришел черед миманса: пока судьи зачитывали приговор, вынесенный Звездной Палатой, к которому «рыцарь испытывал явное отвращение», он, по словам клерка, «всем своим неподобающим поведением, закатыванием глаз к небесам, жестами, выражавшими упрек и недовольство, делал все, что мог, чтобы умалить значение этого приказа и выразить свое неодобрение». От приглашения подойти поближе к судейскому столу, прежде чем начать произносить покаянную речь, Степлтон «уклонился и попросил, чтобы его больше не беспокоили по этому поводу». Когда же ему вручили текст раскаяния, шериф принялся откровенно фиглярствовать, заявляя, что это вообще не его речь. Растерянные судьи начали было убеждать сэра Роберта, что это точная копия его собственноручного текста, но тот внезапно остановил их и мирно заметил, что содержание текста не имеет никакого значения и он готов прочесть любой, «если так приказала Ее Величество».

Далее можно смело передать повествование нашему клерку, ибо от его внимания не ускользнула ни одна важная деталь. «Он преклонил колена на табурет, специально приготовленный для него, и прочел свое покаяние таким тихим голосом, что очень немногие могли его расслышать, так неразборчиво, что затемнил его смысл, так быстро, что некоторых пунктов было не разобрать... так пусто и невыразительно, что было совершенно ясно: ни одно его слово не шло от сердца, и он хотел, чтобы слушатели это поняли именно так. Закончив чтение, он добавил, что прочел это *verbatim* и выполнил то, что ему приказали. Мод прочел свою покаянную речь значительно хуже, чем рыцарь, допустив все те же огрехи, что и сэр Роберт Степлтон, а кроме того, постоянно спотыкался на каждом слове, так что части фразы распадались и невозможно было понять их смысл. Он читал очень монотонно, и то, что было написано на бумаге со страстью... при таком равнодушном чтении казалось детским и глупым.

Когда все их речи были прочитаны, милорд архиепископ начал отвечать каждому отдельно. Поведение Роберта Степлтона в это время было весьма неподобающим и непокорным. Он выдвинул вперед одну часть своего тела в знак своей непоколебимости и смотрел на архиепископа твердым взглядом с непреклонным видом. И так он держался все время, пока милорд архиепископ отвечал ему».

32

К этому времени судьи оправились от изумления и решили положить конец непристойному спектаклю, разыгрывавшемуся на их глазах. Б. Моду пригрозили оставить его приговор в силе, если он не прочтет свое раскаяние снова и должным образом, что было условием снисхождения к нему. Он сделал это «с непристойными уловками», оправдываясь слабостью зрения, глухотой, слабым голосом и проблемами с языком, из-за чего он якобы не мог ни читать, ни хорошо выговаривать слова, а также не слышал, что ему говорили. «Это было ложью, и те, кто его хорошо знал, могли это подтвердить», — замечает возмущенный клерк.

33

Архиепископ, следуя официальному сценарию, механически «простил» вовсе не раскаявшихся обвиняемых, но Степлтон отнюдь не собирался следовать тексту своей роли и неожиданно выступил с ответом, чтобы не оставить последнего слова за противником. Вспомнив, что прелат обвинил его в нанесении ущерба церкви, он стал развивать эту тему в совершенно неожиданной плоскости, доказывая, что он — не папист (в чем его, собственно, и не обвиняли), и перечислил все свои заслуги перед англиканской церковью и Ее Величеством. Это был очередной успех шерифа, сумевшего, воспользовавшись случаем, произнести себе панегирик, одобрительно встреченный публикой.

Убедившись в том, что они завоевали аудиторию, Степлтон и Мод гордо покинули здание суда. Как триумфаторы после одержанной победы, они приветствовали собравшихся во дворе, громко смеясь и сохраняя улыбки на лицах. По мнению нашего информатора, «их уход был еще более неприличным, чем приход».

В финале своего отчета клерк сделал любопытное примечание, особо подчеркнув начало строки как заголовок: «*Глас народа в этом графстве и в соседних*» отмечал особо два момента, общих для всех, кто приносил покаяние. 1 — их белые ленты, необычные, немодные сейчас, но скорее имевшие определенное значение. 2 — их постоянные заявления о том, что они

пришли, дабы послужить Ее Величеству и выполнить ее приказ. Здесь эти два момента понимают и объясняют так: 1 — как демонстрацию их незапятнанной невинности; 2 — как заявление о том, что, несмотря на прежние заслуги, по воле Ее Величества они так наказаны и опозорены».

34 «Глас народа» был тем самым резонансом, которого добивался Степлтон. Теперь он мог быть уверен, что его правильно поняли, а молва десятикратно усилила эффект от его дерзкой выходки, после которой мало кто сомневался в невинности шерифа. Глубоко оскорбленный архиепископ жаловался Берли: «Я вижу, милорд, что, пока я живу здесь, я буду подвергаться унижениям и опасности и трудиться без отдыха, меча бисер перед свиньями, и положу все мои силы на людей неблагоприятных».

35 *Дело о бантах и точильном камне.* Неожиданная выходка Степлтона и его друзей ошеломила власти и породила целую серию новых допросов, касавшихся происшедшего в Йорке. Кажется, высшим чиновникам королевства было весьма интересно самим, не полагаясь на мнение архиепископа и его клерка, проникнуть в суть скандальной демонстрации и не ошибиться в интерпретации тех исполненных особого смысла 36 действий, которые им не довелось наблюдать. Естественно, большинство вопросов было посвящено значению пресловутых белых лент.

Обвиняемые, между тем, отнюдь не намеревались просвещать кого-нибудь в Лондоне на этот счет. Все, что следовало донести до йоркширской публики, они уже исполнили и теперь, сойдя со сцены, разыгрывали из себя невинных простаков, не понимающих, почему их расспрашивают о каких-то бантиках. Степлтон утверждал, что получил белую ленту от своей невесты мистрис Тэлбот и носил на ней золотое кольцо, дар все той же леди. А отправляясь в Йорк, он надел еще и черную ленту с часами, украшенными хрустальной крышкой. Однако следствие долго и настойчиво выясняло, так ли это, и интересовалось еще и третьей лентой — черно-белой, но без основания полагая, что сэр Роберт темнит, выдавая символ протеста за куртуазный дар. К тому же очевидцы утверждали, что в Йорке на его груди не было никакого кольца и «лента плотно прилегалась к телу». Неоднократно подчеркивалось также, что подозрительные ленты ни в коей мере не соответствовали моде и выглядели в глазах зрителей крайне необычными деталями костюма.

Бернард Мод избрал ту же линию поведения, уверяя судей, что купил свою черно-белую ленту сам и носит ее в честь таинственной дамы, имя которой не раскрывает, оберегая ее репутацию. Вообще же, по его словам, он носил это украшение уже в течение семи или восьми лет.

Не добившись ясности в «деле о ленточках», следствие обратилось к другой загадочной детали в экипировке Степлтона, готовившегося к публичному покаянию в Йорке. Ею оказался... точильный камень. Откровенно говоря, «проблема точильного камня» выглядит для исследователя неясной, поскольку и вопросы о нем сформулированы в документах как-то неопределенно и ответы последственных не отличаются искренностью. По ним можно судить лишь о том, что в дороге слуга Степлтона Освальд Бирд имел при себе точильный брусок, а его хозяин якобы поинтересовался, взял ли тот его с собой. Это крайне насторожило следствие, готовое теперь во всем усматривать скрытый умысел, и на Бирда обрушился град вопросов: «Что за разговор произошел между ним и Робертом Степлтоном... относительно точильного камня, упомянутого сэром Робертом? Слышал ли он, как сэр Роберт по дороге в Йорк или раньше вел какие-нибудь разговоры о точильном камне или любые другие глумливые речи о том распоряжении, которое ему предстоит выполнить?.. Всегда ли сэр Роберт возил с собой точильный камень, когда путешествовал?» и т. д. Бирд показал, что достал точило у брата и обычно носил с собой. «На вопрос, приказал ли ему его господин взять брусок с собой в это путешествие в Йорк, он ответил “нет” и добавил, кстати, что тот никогда его об этом не просил». Выяснив, что в данный момент злополучный камень находится под замком в сундуке сэра Роберта, следователи оставили Бирда, явно не зная, о чем бы еще его спросить, и перешли к допросу хозяина.

Удивленный тем, что его беспокоят по таким странным и незначительным вопросам, Степлтон заявил, что сам точильного камня не имел и не приказывал слуге взять его с собой. Казалось, дело о загадочном бруске зашло в тупик, но в самом конце допроса сэр Роберт показал нечто, что отчасти проливает свет на то, какое отношение пресловутое точило могло иметь к данному делу. По его словам, когда он сидел в тюрьме Флит, некоторые заключенные злопыхательствовали, утверждая, что он будет должен поехать в Йорк каяться в «разрезанном белом дублете, с белым шарфом на шее и точильным камнем». Почему речь шла о столь необычном наряде? Насколько

нам известно, подобные одеяния не фигурировали во время публичных наказаний в елизаветинской Англии. Однако есть старая английская поговорка — «довраться до точильного камня», напоминающая о тех временах, когда лжецу, уличенному в клевете, вешали на шею брусок и вели в таком виде по улицам под градом насмешек. Степлтон, возмущенный этими жестокими шутками в свой адрес, резко ответил им: «Вы увидите, что за точило я надена на шею, и показал им ту самую белую ленту и кольцо, что были у него».

39

Однако не исключено, что позднее, раздумывая, какими средствами продемонстрировать йоркширскому обществу, что он незаслуженно обижен, Степлтон мог вернуться и к идее оселка, надетого на шею. В шутовском наряде, стоически подвергая себя унижению, он имел бы шанс еще нагляднее показать, какой неблагодарностью отплатили ему власти за многолетнюю верную службу. Тем не менее, как мы знаем, он выбрал другой путь, по-видимому, сочтя, что, даже эпатируя публику, джентльмен должен оставаться джентльменом, а не площадным фигляром.

И все же отголосок каких-то приготовлений и суеты вокруг точильного камня дошел до слуха следователей. Возможно, в воображении верноподданных судей в связи с этим возникла страшная картина того, как Степлтон в публичном собрании приближается к архиепископу и вешает ему на шею оселок, чтобы указать на лживость прелата. Или, еще хуже того, вынимает нож и начинает демонстративно натачивать его, намекая на возможную расправу с обидчиком. В любом случае, они потратили немало сил, чтобы разобраться в преступных замыслах Степлтона, а нам приходится лишь сожалеть, что тайна бруска осталась неразгаданной, поскольку эта часть «реквизита» так и не была использована постановщиком скандального спектакля — ружье не вынесли на сцену, и оно не выстрелило.

40

Фрондерство, разумеется, не прошло Степлтону даром: во исполнение приговора Звездной Палаты он провел три года в Тауэре, кажется, даже без права прогулок, как явствует из его письма оттуда. Однако мысль о моральной победе согревала его, и, выйдя из темницы, он был благосклонно принят йоркширским дворянством, которое не забыло его смелой выходки и гордого поведения. В глазах соседей он оставался благородным дворянином, отстоявшим свою честь, не формальным, а истинным победителем судебного поединка. Лучшее доказательство тому — тот факт, что вскоре его снова избрали миро-

вым судьей сразу в двух райдингах Йоркшира — Восточном и Северном. При том, что он был лишен рыцарского звания, а королева Елизавета так и не вернула ему своего прежнего расположения. После ее смерти и восшествия на престол Якова I позиции Степлтона упрочились, и в 1604 г. он был избран в парламент от г. Уэллс (графство Сомерсет), где они с женой владели недвижимостью. Таким образом, его прежний статус был полностью восстановлен.

41

К каким же итогам приводит историка йоркширский казус, вернее два, ибо наша история, безусловно, распадается на казус-конфуз с архиепископом и казус-эскападу Роберта Степлтона. Первый — менее оригинален. Это архетипический случай, когда один из авторитетнейших деятелей государственной системы попадает в неприглядную ситуацию и «система» сталкивается с необходимостью восстанавливать общественное реноме и социальный порядок, оказавшийся грубо потревоженным в результате допущенной неловкости. Строго говоря, у тех, в ком она персонифицируется, в данном случае у членов Тайного Совета, есть выбор: либо, открестившись от своего члена, запятнавшего себя пороком, поднять тем самым авторитет властей, либо, приняв его сторону, отвести всякие подозрения на его счет и навязать свою точку зрения обществу в качестве официальной версии. В новейшее время в кризисных политических ситуациях все чаще прибегают к первому способу — громкие скандалы расчищают место у руля для новых политиков, и корабль государства плывет, а утратившее всякие иллюзии общество устало наблюдает за его ходом, гадая, кто окажется за бортом в следующий раз. Эта практика, безусловно, не была чужда и более ранним эпохам. В средневековой Англии разновидностью такого способа восстановления традиционного политического порядка был зародившийся здесь импичмент, выносившийся парламентом высшим государственным деятелям. Но все же следует признать, что второй путь во все века был более распространенным.

Так и в нашем случае, вне зависимости от того, был ли виновен архиепископ, правительственный кабинет немедленно предпринял героические усилия по его обелению, хотя, по словам одного из них, «дело епископа было очень сложным... он мог бы удовлетвориться тем, что невинен перед Господом, но как он мог надеяться на то, что обелит себя перед светом?... Ведь он не мог предъявить ничего, кроме своих голословных заявлений». Недовольство членов Совета виновником скан-

42

дальной истории чувствуется даже за скупыми строками протокола заседания суда Звездной Палаты. Лорд-казначей Берли, не слишком сочувствовавший прелату, откровенно заявил, что тот не имеет морального права на получение штрафов с обвиняемых: «Я бы предложил, чтобы компенсация пошла не ему лично, а университету на благотворительные нужды. И я объясню вам, почему я так считаю. Он выказал большую слабость, заплатив им отступное... и, по мирским меркам, он сделал все, чтобы оказаться в положении, за которое ему следовало осуждать только самого себя». И, тем не менее, не только реальная политическая ситуация в стране, но и вся тюдоровская имагология не позволяла подвергнуть архиепископа публичному остракизму, это было бы равносильно сокрушению одного из столпов, на котором зиждется миропорядок.

Разрушение образа добродетельного и благочестивого пастыря было чревато ниспровержением еще одного мифа — о моральном превосходстве англиканского духовенства над католическим и о торжестве в Англии «истинной церкви». Поэтому конфликтная ситуация была урегулирована самым традиционным образом — за счет тех, кто стоял на низших ступенях сословной лестницы, а следовательно, согласно представлениям того времени, не являлся безусловным носителем моральных добродетелей. Весь гнев Звездной Палаты обрушился на Сциссона, его жену и слугу, причем в речах государственных мужей их образы довольно быстро трансформировались в своеобразные штампы, полулитературные клише, веками использовавшиеся для характеристики подобных типажей: Сциссон — «жадный корыстный кабатчик», его жена — шлюха, совращающая священников, слуга — «грубый и неотесанный шотландец». Изливая свое непомерное презрение к этим мелким и подлым людишкам, граф Лейстер назвал их «нищими», даже не заметив, как далеко он отошел от истины, поскольку содержатель гостиницы отнюдь не бедствовал. Слова графа о «нищих и ворах, с которыми не следует садиться за один стол, поскольку встанешь из-за него завшиевшим», — скорее дань культурному стереотипу, чем реальное впечатление от встречи с четой Сциссонов. Конструирование некоего «идеального типа» низких неблагородных вымогателей-простолюдинов, противопоставляемого не менее искусственному образу отрешенного от земных забот доверчивого прелата, и наказание первых стало тем механизмом, посредством которого было восстановлено согласие между системой и ее провинившимся членом:

он даже не оступился, а был затянут в тенета, которых счастливо избежал с Божьего благословения.

Куда сложнее с этой точки зрения выглядела ситуация с рыцарем, который, во-первых, также принадлежал к политической элите, во-вторых, в силу дворянского статуса и его места в иерархии графства автоматически рассматривался как носитель определенных моральных качеств и, наконец, в действительности обладал всеми признанными достоинствами. Несовместимость образа рыцаря (как стереотипного, так и реального) с поступком, приписываемым Степлтону, вызвала в Звездной Палате противоречивый хор голосов, искавших согласия. Лорд-канцлер, сэр У. Майлдмэй напомнил всем, что сэр Роберт — «джентльмен по крови, рыцарь по достоинству, .. мировой судья, шериф своего графства, получив множество особых милостей Ее Величества». Вице-камергер двора также акцентировал то, что «сэр Роберт до этого времени не был ничем запятнан и не отклонялся от добродетели». Граф Лейстер начал свою речь с того, что все считают Степлтона «добрым стариной» («Good Old gentleman»). По мнению У. Берли, хотя вина Степлтона была «так же велика, как и у остальных, его прежняя жизнь — лучше, поэтому к нему следует подходить по-другому».

45

46

47

И все же... Рыцарь без страха и упрека пал, и это требовало объяснения. Снисходительные члены Звездной Палаты не стали инкриминировать ему изначальное участие в заговоре Сциссонов, но поставили в вину то, что, узнав о затруднительном положении архиепископа, он решил использовать его, намереваясь «манипулировать им и тянуть с него деньги». При этом только Лейстер усмотрел в этом признак «низкого ума» (base mind), возможного изначального несовершенства природы Степлтона, остальные же солидаризировались с лордом Хансдоном в поиске трансцендентных причин его падения: «Я вижу, что злой дух увлек Вас к совершению этой ошибки, и Господь лишил Вас своей милости и ожесточил Ваше сердце». Таким образом, общий вывод комиссии относительно Степлтона был сочувственным: он пал жертвой собственной доверчивости, коварства все тех же Сциссонов и... Дьявола. Тем самым, как это ни парадоксально, в итоге разбирательства обоим благородным участникам йоркширского инцидента была отведена одна и та же роль — пострадавшего.

48

Проявив смирение, Степлтон продемонстрировал прагматизм, быть может, недостойный истинного джентльмена, но

уместный для подданного, столкнувшегося с авторитетом государства. Однако, когда их игра с архиепископом продолжилась на провинциальной сцене, тот же Степлтон, почувствовав себя в иной среде и иной иерархической системе, в которой ему также предстояло восстанавливать утраченное равновесие, избирает диаметрально противоположную поведенческую модель, прибегая к бравате и ерничеству. При этом его эпатажирующие поступки, быть может, выглядят неожиданными и нестандартными с точки зрения столичной бюрократии, нарушая только что достигнутый компромисс, но в йоркширском измерении они естественны, более того, ожидаемы друзьями и близкими, поскольку в свою очередь устраняют в их глазах противоречие между образом рыцаря и его делами. Безоглядное фрондерство и легкомысленное отношение к возможному возмездию восстанавливают целостность личности рыцаря (неважно, подлинную или мнимую), и, отправляясь в Тауэр с улыбкой на устах, Степлтон предстает перед всеми как истинный «офицер и джентльмен».

Примечания

- 1 Сжатая, но внятная характеристика политической ситуации в Йоркшире во второй половине XVI в. дана П. Хеслером. См.: *The House of Commons. 1558–1603*. L., 1981. 3 vols. Vol. 1. P. 280–295.
- 2 Подробнее о системе местного управления в Англии см.: *Bevan A. The Henrician Assizes and the Enforcement of the Reformation The Political context of Law*. L., 1987; *Beard C.A. The Office of Justice of the Peace in England*. N.Y., 1904; *Cockburn J.S. A History of English Assizes. 1558–1714*. Cambridge, 1972; *Gleason J.M. The Justices of the Peace in England. 1558 to 1640*. Oxford, 1969; *Putnam P.H. Justices of the Peace in England for 1558–1680* // *Bulletin of the Institute of Historical Research*. L., 1926. IV. P. 144–156.
- 3 *British Library. Lansdowne MS. 52. F. 182*. (Далее: Lansdowne).
- 4 *The House of Commons 1558–1603* / Ed. P.W. Hesler. L., 1981. Vol. 3. P. 443.
- 5 *Camden W. Britannia: In 3 vols*. L., 1870. Vol. 3. P. 291.
- 6 *Lansdowne MS. 37, 13. F. 28*.
- 7 *Ibid. MS. 15. F. 32*.
- 8 *Ibid. MS. 37, 12. F. 26*.
- 9 *Ibid.*
- 10 *Ibid. MS. 37, 13. F. 128*.
- 11 *Ibid.*
- 12 *Ibid. MS. 37, 24. F. 52*.
- 13 *Ibid. MS. 37, 19. F. 41*.
- 14 *Ibid.*
- 15 *Ibid.*
- 16 *Ibid. MS. 37, 19*.
- 17 «Расемон» – ставший классическим фильм А. Куросавы, поставленный по мотивам новелл Акутагавы Рюноске, фабула которого базируется на трех разных версиях одного и того же события, представленных его участниками.

- 18 Lansdowne MS. 37, 12. F. 26.
19 Ibid. MS. 37, 24. F. 52.
20 Ibid. MS. 37, 22. F. 48.
21 Ibid. MS. 37, 27. F. 57.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Lansdowne MS. 38, 68; MS. 36, 52.
F. 120, 121; Sloan MS. 2531. F. 151.
25 Lansdowne MS. 37, 52. F. 120.
26 Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени
завтрашнего дня. М., 1992. С. 93–
104.
27 Lansdowne MS. 38, 77. Doc. 2.
F. 191.
28 Ibid.
29 Ibid. Doc. 1. F. 190.
30 Ibid. Doc. 2. F. 191.
31 Ibid. F. 190.
32 Ibid.
33 Ibid.
34 Ibid. F. 192.
35 Ibid. Doc. 1. F. 190.
36 Ibid. MS. 38, 79. Doc. 1. F. 196;
Doc. 2. F. 197; MS. 38, 80. F. 198;
MS. 38, 81. F. 200; MS 38, 82.
F. 202.
37 Ibid. MS. 38, 79. F. 196.
38 Ibid. MS. 38, 81. F. 200.
39 Ibid. MS. 38, 82. F. 202.
40 Ibid. MS. 39, 54. F. 199.
41 The House of Commons. Vol. 3.
H. 443.
42 Lansdowne MS. 37, 52. F. 120.
43 Ibid. F. 121b.
44 Ibid. F. 120.
45 Ibid.
46 Ibid.
47 Ibid. F. 121b.
48 Ibid. F. 120.

О.В. Дмитриева

Будни Французской революции

(истории заключенных Нижней Оверни,
рассказанные ими самими)

«Мне нужно рассказать тебе, дорогая моя подруга, о событиях, связанных с визитом, который нам нанес знаменитый Кутон. Он был знаком с моим отцом еще в те времена, когда служил клерком в Риоме. И теперь ему было приятно возобновить прежнюю дружбу. Вот почему в воскресенье вечером он приказал доставить себя к нам домой. За ним следовала многочисленная свита, а также все население города, высыпающее на улицу с криками: “Да здравствует Кутон! Да здравствует свобода! Да здравствует Республика!” ... Твой отец и други: аристократы хохотали во все горло, глядя на этот кортеж саекюлотов, сопровождающий посланника правительства. Глупые люди, они не знают, что их свобода, а быть может и жизнь, находится теперь в руках того, над кем они пытаются потешиться. Скоро они поймут, но, возможно, слишком поздно, что теперь безнаказанно смеяться над представителем Комитета общественного спасения». Так писала своей подруге в начале сентября 1793 г. дочь прокурора Риома Миет Тайан. Смешливая девушка, несмотря на совсем юный, 20-летний возраст, раньше, чем ее более умудренные жизненным опытом земляки, поняла, что для их городка, как и для всей страны, настали новые, грозные времена. Скоро там, действительно, стало не до смеха. В Овернь пришел Террор.

* * *

Когда говорят о Терроре 1793—1794 гг. в памяти невольно валывают хорошо известные по исторической литературе сцены массовых казней в Париже, Лионе и Нанте, где за счи-

танные месяцы были гильотинированы, расстреляны и утоплены сотни и тысячи людей. Однако три города — еще не вся Франция. О том, как применялся Террор в других частях страны, известно гораздо меньше. Некоторые представители «якобинской» историографии, ссылаясь на статистику казней, даже задаются вопросом: можно ли вообще говорить о массовом терроре в общенациональном масштабе, если в подавляющем большинстве департаментов Франции число смертных приговоров за тот период не превышало одного-двух десятков. Что же касается сотен тысяч граждан, которые в качестве «подозрительных» были без суда лишены свободы на неопределенный срок — «до наступления мира», то их положение порой изображается едва ли не как принудительный отдых. Так, на проводившемся в ноябре 1989 г. «круглом столе», посвященном Террору в департаменте Пюи-де-Дом, известный овернский историк Р. Бускейроль рассуждал: «Я бы хотел максимально заземлить проблему. А потому спрашиваю: знаете ли вы, сколько человек казнили в Пюи-де-Доме за время революции? Пятнадцать... Как видите, не так уж сильно они были терроризированы. А знаете ли вы, в каких условиях жили подозрительные в Пюи-де-Доме в эпоху Террора? Возьму для примера тюрьму Риома... Арестованных держали в частном особняке (ныне музей Манде). Чем они там занимались? Играли на фортепьяно, флиртовали, танцевали, заказывали себе еду в ресторане (кухня риомских ресторанов была весьма изысканна), гуляли и жили душа в душу с охранявшей их стражей».

Оставляя на совести оратора точность приведенных сведений, отмечу лишь, что в период революции условия жизни заключенных во Франции нередко действительно имели мало общего с нынешними представлениями о тюрьме. Унаследованная от Старого порядка, пенитенциарная система не могла справиться с огромным наплывом арестованных, и местным властям приходилось импровизировать, отводя под «дома заключения» не приспособленные для этого здания, что, как правило, влекло за собой некоторые послабления в режиме содержания под стражей. Но следует ли из этого, что Террор вдали от Парижа и от театров военных действий носил скорее характер фарса, нежели трагедии, и не оказывал серьезного воздействия на жизнь рядовых обывателей? Те, кто доказывает нечто подобное, ссылаясь на «малое» число казненных или «курортные» условия в тюрьме, вольно или невольно применяют к оценке Террора Французской революции мерки XX в.,

«обогадившего» человечество беспрецедентным опытом жесточайшего обращения с заключенными и массовых казней невиданного размаха. Однако едва ли такой подход можно признать историчным. Чтобы оценить подлинное значение Террора для французского общества конца XVIII в., надо постараться взглянуть на него глазами современников, попытаться понять, как воспринимался он ими, как влиял на будни провинциального городка, деревушки, семьи, на повседневную жизнь далеких от политики «рядовых французов» разных сословий и состояний.

Задача эта не из легких. Источники, увы, не часто позволяют узнать, как жили в то время «простые французы». Лишь немногие оставили после себя мемуары, являвшиеся в основном уделом узкого слоя просвещенной элиты; частная же переписка обычных граждан редко оседала в публичных архивах. И все же порой старые документы дают нам уникальную возможность услышать живые голоса рядовых современников Французской революции. Некоторые из таких материалов автор этих строк обнаружил, работая над биографией Жоржа Кутона (1755—1794), видного государственного деятеля эпохи Конвента. Изучая в архиве департамента Пюи-де-Дом бумаги, изъятые после 9 термидора в доме Кутона городскими властями Клермон-Феррана, я обратил внимание на серию петиций, направленных знаменитому якобинцу в сентябре 1793 г. заключенными Нижней Оверни, их родственниками и друзьями. В каждой — рассказ о судьбе одного из «маленьких людей», как правило, далеких от политики и помимо своей воли втянутых в водоворот революционных событий. Среди авторов петиций — мужчины и женщины, представители разных сословий и социальных групп. Заинтересовавшись судьбой этих людей, я по другим материалам того же архива попытался установить причины их ареста и то, какие последствия имело их обращение к Кутону. В ряде случаев мне это сделать удалось.

Дабы читатель имел возможность самостоятельно ознакомиться с отдельными эпизодами повседневной жизни эпохи Террора и из первых рук узнать истории «маленьких людей» французской провинции, указанные источники публикуются в русском переводе без сокращений.

Впрочем, сначала несколько слов о ситуации, вызвавшей появление подобных документов. Расположенный на территории Нижней Оверни департамент Пюи-де-Дом с самого начала революции оказывал поддержку преобразовательной поли-

тике центра и с готовностью воспринимал идущие из Парижа нововведения. Даже летом 1793 г., когда во многих областях Франции развернулось движение протеста (так называемый «федералистский мятеж») против насилия, учиненного 31 мая и 2 июня парижской санкюлотерией над национальным представительством, когда Вандея восстала под роялистскими лозунгами, а в Лионе образовался причудливый антиякобинский союз роялистов и умеренных республиканцев, Пюи-де-Дом сохранил лояльность якобинскому правительству. Вместе с тем, обеспокоенный сведениями о колебаниях, проявленных властями департамента в решающий момент борьбы монтаньяров и жирондистов, а также затянувшимся сопротивлением Лиона, которое никак не могла сломить армия, руководимая представителем Конвента Э.Л.А. Дюбуа-Крансе, Комитет общественного спасения направил в Пюи-де-Дом одного из своих наиболее влиятельных членов, уроженца Нижней Оверни Ж. Кутона, вместе с депутатами Конвента Э.К. Менье и А.П. Шатонеф-Рандоном, наделив их практически неограниченными полномочиями по установлению революционного порядка и мобилизации новых сил на борьбу с мятежными лионцами.

Ж. Кутон.
Гравюра XVIII в.



Прибыв в Клермон-Ферран 29 августа, представители Конвента в течение недели сумели мобилизовать 20 тыс. ополченцев, отправившихся 5 сентября к Лиону под командованием

5 Менье и Шатонеф-Рандона. Кутон остался наводить порядок в Пюи-де-Доме. Поскольку у себя на родине он до революции пользовался репутацией человека гуманного и доброжелательного, некоторые из находившихся в тюрьмах Клермона и Риома заключенных, а в ряде случаев их родные и близкие обратились к всесильному «проконсулу» с просьбами о милосердии.

*«Клермон, 25 сентября II г. Республики,
единой и неделимой.*

Гражданин,

Несколько дней тому назад я имел честь писать вам, прося, чтобы меня освободили или дали возможность лицом к лицу встретиться с тем, кто меня обвиняет. Поскольку мне абсолютно неведома причина, по которой меня держат в тюрьме, и поскольку я совершенно невиновен, я снова прошу вас об освобождении. Прошу поверить, что я такой же хороший монтерьяр, как и все те, кто вас окружает. Я это доказал, отправившись в поход вместе с первым батальоном. Меня к этому никто не принуждал, но я пошел, проявив усердие и рвение, как того требовало положение нашей страны. Я видел, что она безвозвратно погибнет, если не поспешить на ее защиту. Я прослужил 16 месяцев, выполняя свой долг как истинный республиканец; могу даже похвастаться, что получал за это благодарности. Я закупал в Женеве обмундирование для добровольцев, и прошу вас навести справки в штабе: позволяло ли что-нибудь усомниться в моей гражданственности. Могу даже сообщить вам, что, выступая в поход, я роздал товарищам, находившимся в нужде, почти все свои вещи, и если я вернулся, то лишь потому, что к этому меня вынудило состояние моей супруги, которая постоянно больна, поскольку с момента моего ухода она находилась в крайне бедственном положении. У меня у самого ревматизм груди, доставляющий мне жестокие страдания. Мне ставят пластыри от нарывов, а в день, когда меня арестовали, я должен был принимать рвотное. Меня с утра предупредили, что я буду арестован, тем не менее я не прятался и был взят после полудня у себя в департаменте. Если бы у меня было что-либо плохое на уме, я бы бежал, но нечего боятся тому, у кого совесть чиста. Надеюсь, добрый гражданин, на вашу справедливость и прошу вас обратить внимание на мое положение. Я совсем не богат, у меня жена и дети и боюсь, что мое место в департаменте будет занято.

*Привет и братство
Дезанж».*

Кто же такой Дезанж? Действительно ли он был одним из первых волонтеров, отправившихся на войну еще в 1792 г., и если да, то почему оказался в тюрьме, несмотря на столь плачевное состояние здоровья? Ответы на все эти вопросы мы находим в материалах Наблюдательного комитета (Comité de surveillance) Клермон-Феррана. Подобные комитеты, носившие также названия «революционных», «общественной безопасности» и т. д., существовали во всех административных центрах департамента для надзора за населением и ареста подозрительных лиц. После каждого такого ареста полагалось в течение восьми дней составить по типовой, отпечатанной типографским способом таблице подробную анкету задержанного. Сроки эти соблюдались далеко не всегда, однако в делах большинства заключенных, арестованных в крупных городах — Клермон-Ферране и Риоме, такие анкеты сохранились. В досье Дезанжа их целых две. Вот первая из них:

«1. Имя заключенного; его место жительства до заключения; возраст; количество детей, их возраст и местонахождение; вдов ли, холост или женат. Франсуа Дезанж; житель Клермона; 43 года.

2. Где заключен; с какого времени; в какой период; по чьему приказу; по какой причине. Заключен в Клермоне с 22 ноября; по приказу представителя [народа] Кутона; поступили сведения, что был одним из зачинщиков волнений в Клубе 25 августа 1793 г.

3. Его профессия до и во время революции. До революции — торговец (marchand), во время революции — начальник бюро департамента до момента выступления в поход первого батальона Пюи-де-Дома, в котором он стал знаменосцем.

4. Его доход до и во время революции. —

5. Круг знакомств и общения. В начале революции общался с патриотами, но с конца 1791 г. зачастил к аристократам, умеренным и федералистам.

6. Характер; политические убеждения, проявлявшиеся в мае, июле и октябре 1789 г., 10 августа, после смерти тирана, 31 мая, в критические моменты войны; подписывал ли убийственные для свободы петиции и постановления. Характер горячий и вспыльчивый. Подло изображал из себя патриота в 1789 и начале 1790 г.

Уличен в том, что был одним из зачинщиков или соучастников мятежа, произведенного 25 августа с целью распустить Народное общество Клермона, а также — в грубом обращении с некоторыми из членов этого общества и с их единомышленниками, а также — в желании помешать выступлению в поход 2 тыс. человек, которым Дюбуа-Крансе приказал следовать к Лиону.

Он был знаменосцем в первом батальоне Пюи-де-Дома, с которым ушел на войну и из которого прибыл на основании закона, разрешившего волонтерам вернуться.

7. Особые замечания. Франсуа Дезанж не является дворянином, однако мало кто из членов этой враждебной революции касты выказал больше ненависти к свободе, чем он, после того, как отрекся от ее дела. Сначала он записался добровольцем в 1-й батальон, однако через год, еще до того, как его рота получила возможность сразиться с рабами тиранов, он оставил ее и приехал в Клермон. Именно с этого времени Дезанж зачастил к людям, поставленным законом вне общества, дав волю своей ненависти к революции и к патриотам. Он отказался выступить со своей ротой против мятежников Лозера; он изо всех сил противился отправке двух тысяч человек против лионских мятежников на помощь представителю народа Дюбуа-Крансе; он был во главе тех, кто ворвался в Народное общество, где оскорблял патриотов последними словами и даже дошел до рукоприкладства. Комитет считает, что его заключение должно быть продлено. [12 подписей]».

Благодаря этим сведениям мы можем получить общее представление об истории жизни Ф. Дезанжа. Не слишком преуспевающий торговец (большой доход непременно был бы отмечен в анкете какотягчающее обстоятельство), однако человек весьма энергичный, он с первых же дней революции принимает в ней активное участие и получает место в обновленном аппарате управления. Впрочем, соображения личной выгоды ему совершенно чужды. Дезанж предан революционной идее искренне и бескорыстно, что доказывает его запись в волонтеры. Имея детей, он не подлежал призыву на военную службу даже в случае рекрутского набора (по той же причине, кстати, ему несправедливо было ставить в вину неучастие в экспедиции против роялистов департамента Лозер). Тем не менее, поступая так, как, по его убеждению, должен поступать настоящий патриот, Дезанж добровольно отправляется на войну, подвергая свою жизнь опасности, а семью лишениям. Назначение знаменосцем свидетельствует об уважении, которым он пользовался среди земляков-однополчан. Прослужив более года, Дезанж на законном основании (что отмечено даже в анкете) возвращается к бедствующей в его отсутствие семье и, по-видимому, вновь активно включается в общественную жизнь Клермон-Феррана.

Роковым для этого республиканца стало участие в эпизоде, обозначенном в анкете как «мятеж 25 августа». Суть дела со-

стояла в следующем. Среди клермонских якобинцев — членов Народного общества — существовали острые разногласия относительно дальнейших действий двухтысячного батальона, набранного в Пюи-де-Доме, по приказу Дюбуа-Крансе, генералом Ж.Л. Николя для осаждавшей Лион армии. В обстановке царившей по всей стране смуты и неразберихи, когда изредка доходившие из Парижа сведения носили крайне противоречивый характер, а недостаток точной информации восполнялся самыми невероятными слухами, когда в охватившей соседние провинции гражданской войне по обе стороны фронта оказались бывшие союзники — республиканцы, часть революционеров Клермона, включая, очевидно, и Дезанжа, считала преждевременным и опасным отправлять до прояснения ситуации батальон к Лиону, лишая Пюи-де-Дом последней вооруженной защиты. Накануне выступления батальона, 25 августа, полемика в Народном обществе достигла кульминации и вылилась в потасовку, в которой вспыльчивый Дезанж, похоже, сыграл не последнюю роль. Правда, по горячим следам никто не расценивал это как контрреволюционное деяние, и даже после ареста Дезанж, судя по его петиции, не предполагал, что подобный эпизод мог оказаться причиной его задержания. Однако с приездом Кутона любое несогласие с политикой центра стало рассматриваться как преступление, а события 25 августа — как мятеж.

По инициативе Кутона в сентябре были произведены аресты лиц, заподозренных в неблагонадежности. В их число попал и Ф. Дезанж. Обращаясь к «проконсулу», он и не догадывался, что именно тот является главным виновником его несчастий. На петиции Дезанжа, в отличие от ряда аналогичных документов, нет резолюции Кутона, но последний отнюдь не обошел вниманием ее подателя. Накануне своего отъезда из Пюи-де-Дома в конце ноября 1793 г. Кутон, по свидетельству анкеты, 22-го числа отдал приказ продлить заключение Дезанжа в тюрьме. Дабы мотивы дальнейшего содержания под стражей бывшего революционного активиста в качестве «подозрительного» выглядели более убедительно, члены Наблюдательного комитета квалифицировали его в своих документах как отъявленного контрреволюционера. Причем никого из них, очевидно, не беспокоили явные противоречия между разными пунктами анкеты. Так, в 6-й графе говорится, что Дезанж «изображал из себя патриота» лишь до начала 1790 г., в 5-й — временем его «падения» назван конец 1791 г., а в 7-й — пери-

од после возвращения из армии, т. е. 1793 г. Столь же мало составителей документа (который в конечном счете мог стоить человеку жизни!) волновало и то, что в 1791 г. Дезанж не мог связаться ни с какими «федералистами», поскольку тогда подобной категории «врагов революции» еще просто не существовало.

Несмотря на прежние заслуги Дезанжа, на его ослабленное здоровье, на более чем сомнительное обвинение, он провел в тюрьме больше года. Когда после 9-го термидора в Пюи-де-Дом прибыл новый представитель Конвента Жозеф Матюрен Мюссе с заданием исправить, насколько возможно, злоупотребления эпохи Террора, Наблюдательный комитет Клермон-Феррана, над которым более не довлела мрачная тень Кутона, представил на Дезанжа новую анкету с характеристикой прямо противоположной предыдущей. Справедливости ради надо заметить, что столь кардинальной переоценки ценностей удостоились, как мы увидим ниже, далеко не все арестованные. Вот этот документ (названия граф опущены):

- 13
1. Франсуа Дезанж; житель Клермона; 43 года.
 2. Находится под арестом в коммуне Клермона; согласно постановлению 2–3 брюмера.
 3. До революции — торговец, во время революции — начальник бюро департамента до момента выступления в поход первого батальона Пюи-де-Дома, в котором он стал знаменосцем.
 4. Не имеет иного дохода кроме того, что получает его жена — 500–600 ливров.
 5. Общение с патриотами.
 6. Характер горячий, но очень доброжелательный.
 7. Комитет, учитывая, что Дезанж не является дворянином и среди его родных нет эмигрантов; что он, хотя и занимал пост начальника бюро департамента и имел двоих детей, добровольно поступил в 1-й батальон Пюи-де-Дома, из которого вернулся обратно через 15–18 месяцев, сопровождая тяжелобольного шурина, а затем в силу своих служебных обязанностей занялся подготовкой к отправке на фронт 4-го батальона; что, после того, как из-за возраставшей день ото дня работы департамент отозвал его из армии, он получил разрешение на отставку, подтвердившее его гражданскую доблесть, патриотизм и отличное поведение в батальоне; что он за свой счет снарядил и экипировал молодого и полного сил человека, отправившегося вместо него в батальон; что он имел также не одно свидетельство, подтверждавшее его усердную службу в национальной гвардии Комите-
- 14

та; учитывая также, что Дезанж является отцом малообеспеченного семейства; что он должен работать, дабы содержать свою семью; что он имел несчастье провести в заключении 12–15 месяцев по приказу Кутона, в результате чего оказался введены такие расходы, которые даже не в силах покрыть; что Комитету неизвестно о нем ничего другого, кроме того, что он был инициатором беспорядков в Народном обществе; Комитет, приняв во внимание все эти обстоятельства, считает, что ему [Дезанжу] должны быть возвращены его должность и полная свобода». 15

6 нивоза III г. (26 декабря 1794 г.) представитель народа Ж.М. Мюссе, «рассмотрев анкету гражданина Франсуа Дезанжа, представленную Революционным комитетом Клермон-Феррана», а также «приняв во внимание, что Дезанж не попадает под действие закона от 17 сентября 16 и доказал свою постоянную преданность Республике», постановил его освободить. 16
17

Вернемся к сентябрю 1793 г. Тогда, чтобы оказаться в тюрьме, совсем не обязательно было заниматься политикой, как Ф. Дезанж. Достаточно было просто обладать крупной суммой денег, как это случилось с бывшим моряком Ипполитом Жераром:

«Гражданину Кутону, представителю французского народа

Гражданин,

Молодого республиканца, чье рвение хорошо известно, посвятившего себя в двенадцать с половиной лет тяжкому ремеслу моряка и дожившего до тридцати, занимаясь этим опасным делом, сегодня гнетут позорные оковы, в которые его заключили несправедливость, злоба и другие чувства, весьма далекие от его собственных. Из недр своей темницы поднимает он голос, обращаясь к вам с законной жалобой.

В своих первых военных кампаниях он служил государству под командованием генералов д'Орвильера, д'Эстена и Грасса, приняв участие в сражениях при Уэссане, Гренаде и Доминике, как, впрочем, и в других. В частности, в конце войны он служил на фрегате «La Courageuse» («Храбрый»). 18

Военные действия закончились, и ему разрешено было перейти в торговый флот. Он отправился в южные моря, где провел пять с половиной лет, после чего вернулся в Европу. Прилежное изучение теории и практики морского дела и его личные качества позволили ему получить звание младшего лейтенанта в военно-морском флоте и капитана в торговом. Именно в этом качестве он покинул Марсель, отправившись в Бордо через Клермон-Ферран,

где на свою беду был арестован лишь потому, что имел при себе сумму в 4 тыс. ливров собственных денег, которые он с беззаботностью, обычной для здешних мест, имел несчастье показать.

Начатое и до сих пор продолжающееся расследование его дела — это какая-то сплошная череда кошмаров, где на каждой стадии приходится сталкиваться с магистратами, являющимися соседями и друзьями тех, кто из алчности обвинил его в краже, которую ничем нельзя доказать и сама мысль о которой ему претит, настолько она чужда его убеждениям.

Обходя молчанием мотивы, побудившие его судей действовать заодно с его врагами, он из чувства долга перед согражданами, перед семьей, перед самим собой не вправе скрывать, что единственной причиной его несчастья стал его патриотизм, который он проявил, честно сообщив о своих действиях и намерениях.

И наконец, лишив республику моряка, чьи познания в морском деле могли бы принести ей некоторую пользу, его самого растоптали, украв у него законно заработанные деньги и нечто гораздо более ценное. Честь!

Надеюсь, гражданин представитель, вас, облеченного доверием всей нации и представляющего законную суверенную власть, тронут мои беды, и вы протянете руку помощи угнетенной невинности. С глубочайшим уважением осмеливаюсь считать себя, гражданин, самым покорным и самым несчастным из ваших слуг

Ипполит Жерар...

19 Риом, 20 сентября II г. Французской республики, единой и неделимой».

20 Три точки после подписи (...) указывали на принадлежность автора письма к тайному братству «вольных каменщиков» — франкмасонов. Знал ли Жерар, что обращается к одному из бывших руководителей наиболее влиятельной до революции ложи Нижней Оверни или просто на всякий случай поставил условный знак в надежде, что его адресат тоже «посвящен», а потому проявит сострадание к «брату»? Как бы то ни было, эта деталь лишней раз показывает, что проезжавший через Клермон-Ферран моряк и в самом деле не имел ни малейшего представления о реальной ситуации в Пюи-де-Доме. Хотя до революции и в начале ее Кутон играл одну из ведущих ролей в местном масонском движении, которое с 1792 г. фактически прекратило свое существование, репрессии, начавшиеся после его возвращения в департамент в качестве «прокон-

сула», сильней всего ударили именно по бывшим масонам. Почему так случилось — тема для отдельного разговора, однако остается фактом: никто из членов местного «братства», обращавшихся с аналогичными петициями к Кутону, не упоминал об их общем масонском прошлом. Об этом нюансе Жерар явно не знал.

К сожалению, нам не известна дальнейшая судьба несчастного морехода: Кутон оставил его петицию без резолюции, а в делах Наблюдательного комитета найти досье Жерара мне не удалось. Так же, как не удалось что-либо узнать и об участии Лионара Приве, жителя Орсе — родной деревни Кутона. Этот человек, по-видимому крестьянин, пишет о себе то в первом, то в третьем лице, со множеством грамматических ошибок. Его нескладный, корявый почерк выдает руку, явно не привыкшую держать перо и вынужденную делать это лишь в силу чрезвычайных обстоятельств.

«Гражданину Кутону, депутату Национального Конвента из Парижа.

*В Клермон-Ферран.
Из Клермона, 23 сентября 1793 г.*

Гражданин,

Перед вами Лионар Приве из деревни Орсе, который очень несчастен. Если вы окажете ему благодеяние, позволив выйти из тюрьмы, я всю жизнь буду помнить о добром деле, которое вы для него совершите. Снова и снова я буду припадать к вашим ногам, благодаря за милосердие, спасающее всю его бедную семью — она живет в нищете и лишениях.

Если он сделал что-то не так, то он, как истинно честный человек, тут же это исправит. И если вы окажете ему честь, удостоив этой милости, я пожертвую для вас остатками своего здоровья и буду одним из наиболее любящих вас граждан.

Ваш очень смиренный и очень покорный слуга

Лионар Приве из Орсе» 21

Если Л. Приве мог питать надежду (хотя, возможно, и напрасно) на то, что «представитель народа» проявит к нему снисхождение как к земляку, то гражданин Форкатер имел свои, не менее веские основания рассчитывать на милосердие всесильного «проконсула». Кутон, как известно, был тяжело болен: прогрессирующий туберкулез костей вызвал у него па-

ралич ног. Кто, как не он, должен был посочувствовать страданиям калеки, брошенного в тюрьму «бдительными» риомскими патриотами?

*«Уважаемому гражданину Кутону,
представителю французского народа,
ныне находящемуся в Риоме.
Из тюрьмы Риома, 26 сентября 1793 г.*

*II год Французской республики, единой и неделимой
Гражданин представитель французского народа,*

Проезжая в прошлый понедельник через Клермон, я имел честь писать вам, прося о помощи, и отправил вам свои бумаги, удостоверяющие, что я понес убыток в 925 ливров 10 су. Вы были так добры, что изучили их и нашли в полном порядке. В тот же день я имел возможность лично убедиться в вашей гуманности. Когда я попросил вас проявить ко мне такое же участие, как и другие муниципалитеты, предоставив мне транспорт для передвижения, поскольку сам я лишен такой возможности, вы мне оказали честь, ответив, что ваша большая занятость не позволяет вам специально заниматься мною и что, принимая во внимание ситуацию, сложившуюся в административных органах Клермона, мне надо постараться достичь ближайшего муниципалитета, где я смогу получить помощь. Тем не менее мне была предоставлена повозка и три ливра, чем, полагаю, я обязан доброте вашего сердца. Я приехал сюда, в город Риом, и, следуя вашему доброму совету, обратился в муниципалитет. Там меня арестовали и поместили в тюрьму, где я томлюсь с вечера понедельника. Нет человека, гражданин представитель, более меня преданного конституции; нет большего республиканца, чем я; и это подтверждается моими сертификатами благонадежности (certificats de civisme), которые я имел честь вам предъявить. Моя болезнь и мое беспомощное состояние сами по себе свидетельствуют, что я не могу быть подозрительным. Я не в силах сделать ни шага, руки и ноги меня не слушаются, без посторонней помощи я не могу ни встать с постели после сна, ни направиться куда-либо по своему желанию, ни даже справить естественные потребности. Вы видите, гражданин представитель: мое состояние избавляет меня от любых подозрений.

Муниципалитет Риома изъял у меня мои паспорта. Проявите, пожалуйста, гражданин представитель, по отношению ко мне справедливость, заставьте вернуть мои паспорта, выручите меня из этого отчаянного положения, окажите мне такую же по-

мощь, какую мне оказывали муниципалитеты городов, через которые я проезжал и, наконец, позвольте мне отправиться к моим родным, один из которых Пейн Мартен тоже, как и вы, является представителем французского народа. 23

Смею надеяться на вашу гуманность и справедливость. Остаюсь с самой горячей признательностью и чувствами истинного республиканца,

*Гражданин представитель,
Ваш соотечественник,
Форкатер».* 24

К сожалению, мне не удалось найти ни следов какой-либо реакции Кутона или других должностных лиц на это отчаянное обращение, ни объяснения мотивов ареста несчастного калеки. Если ему не инкриминировалось ничего определенного и его задержание было всего лишь «профилактической» мерой предосторожности, вполне возможно, что ему удалось достаточно быстро выйти на свободу, по крайней мере, на эту мысль наводит отсутствие его досье в материалах Наблюдательного комитета Риома. Гораздо печальнее была участь немощных стариков и инвалидов, оказавшихся в тюрьме на «законных» основаниях: декреты Конвента предписывали до наступления мира держать под арестом родителей лиц, эмигрировавших из страны во время революции. Как это, например, произошло со стариком Андро.

«Гражданину представителю народа в Клермоне.

Гражданин, мой отец арестован по вашему приказу и заточен в тюрьму. Когда его арестовали в первый раз, его постоянные болезни и общее расстройство здоровья побудили генеральный совет коммуны Риома выпустить его из тюрьмы и держать просто под домашним арестом. Результатом потрясения, вызванного у него пребыванием под стражей, несмотря на принимавшиеся во внимание соображения гуманности, которые всегда говорят в пользу немощного человека, явилась тяжелая болезнь; повторение подобных действий, несомненно, будет иметь такие же последствия. Он ходит только на костылях и всегда в сопровождении слуги, поскольку ноги его не слушаются и ему требуется посторонняя помощь, чтобы не упасть. Он страдает от жестоких болей, которые часто повторяются, особенно ночью. Единственное средство облегчить его страдания — это ванна, но, чтобы принять ее, ему нужна помощь нескольких человек. Добавлю в заклю-

чение, что его состояние не позволяет ему ходить в уборную без посторонней поддержки, которой он будет лишен в тюрьме.

Андро-Виссак.

25 *Гражданка Виссак просит временного разрешения видетсья с отцом, учитывая его немощное состояние».*

В отличие от вышеприведенных петиций, обращение гражданки Андро-Виссак не осталось без визы «проконсула»: «*Направить в муниципалитет Риома для получения необходимых сведений. 14 сентября II г. Республики единой и неделимой. Ж. Кутон».*

Ниже можно видеть резолюцию риомских властей:

26 *«Должностные лица муниципалитета города Риома, ознакомившись с вышеозначенной петицией, вынуждены подтвердить истинность изложенных в ней фактов, которые им самим известны. Прилагаемое ниже письмо других заключенных генеральному совету коммун не оставляет никаких сомнений в справедливости ходатайства госпожи Виссак за господина Андро, ее отца. Рассмотрено в ратуше 16 сентября 1793 г., во II год Французской республики, единой и неделимой. [5 подписей].»*

Среди бумаг Кутона сохранилось и упомянутое выше обращение заключенных к муниципальным властям Риома:

«Граждане,

Даже если бы мы не были заинтересованы в том, чтобы улучшить положение, в котором находятся господа Андро и Де Фрета, наши собственные интересы заставили бы нас ходатайствовать об их освобождении из тюрьмы. Хотя мы все уже находились здесь к моменту их поступления, мы из соображений гуманности не могли не уступить им самые лучшие помещения. Подобная любезность ничего нам не стоила, и мы бы о ней ничуть не жалели, если бы те, кто живет рядом с этими господами, могли бы иметь хоть немного покоя у себя в комнате. Однако постоянный и жестокий кашель г-на Андро совершенно не дает спать тем, кто располагается неподалеку от занимаемого им помещения. Кроме того, он днем и ночью нуждается в постоянном уходе. Ему, как ребенку, надо помогать вставать и ложиться, а если ночью он испытывает нужду, то, чтобы ее справить, ему требуется посторонняя помощь. Г-н Де Фрета находится абсолютно в таком же состоянии. Каждому из этих господ необходим слуга, который был бы постоянно рядом и который есть в доме каждого из них. Здесь же они доставляют неудобство дру-

гим заключенным и сами лишены того ухода, которого требует их немощное состояние. Вот почему, исходя как из своих собственных интересов, так и из чувства гуманности, мы просим об их освобождении. Второй из этих мотивов должен тронуть и ваши сердца, расположив их в пользу тех двух людей, для здоровья которых дальнейшее пребывание здесь может иметь самые пагубные последствия.

Заключенные тюрьмы [15 подписей]». 27

Дополнительные подробности о «деле Андро» мы можем узнать из его досье, сохранившегося среди материалов Наблюдательного комитета Риома. В этом городе на арестованных заполняли абсолютно такие же анкеты, как и в Клермон-Ферране, за одним малым отличием: в таблице отсутствовал п. 7 «Особые замечания». Итак, перед нами анкета П. Андро:

1. Имя заключенного; его место жительства до заключения; возраст; количество детей, их возраст и местонахождение; вдов ли, холост или женат. *Андро Пьер; житель Риома; 66 лет; двое детей: дочь, 41 год, вдова, в Риоме, и сын, 39 лет, женат, эмигрант; женат, но с женой не живет более 25 лет.*

2. Где заключен; с какого времени; в какой период; по чьему приказу; по какой причине. *Под домашним арестом по состоянию здоровья, с согласия представителя народа; с 13 сентября; в период осады Освобожденного Города; по приказу муниципалитета; как отец эмигранта и отъявленный аристократ.* 28

3. Его профессия до и во время революции. *До революции — адвокат и управляющий государственной собственностью (Directeur des Domaines); во время революции — сначала юрист, затем — без работы после ликвидации его должности или после увольнение.*

4. Его доход до и во время революции. *До революции — 6000 ливров, включая 2400 ливров жалования; с начала революции — 3600 ливров.*

5. Круг знакомств и общения. *Знакомство с наиболее отъявленными аристократами; общение с ними же и с некоторыми заключенными.*

6. Характер; политические убеждения, проявлявшиеся в мае, июле и октябре 1789 г., 10 августа, после смерти тирана, 31 мая, в критические моменты войны; подписывал ли убийственные для свободы петиции и постановления. *Характер амбициозный, мстительный, злобный, спесивый и надменный; желчный нрав. Ум острый и насмешливый. Друг бывших вельмож, их прислуж-*

ник, пытающийся их превзойти и в то же время подающий им советы. До революции был плохим сыном, плохим отцом и плохим мужем.

Нам в точности не известно, какими были его убеждения в мае, июле и октябре 1789 г., так же, как и в период после смерти тирана. Он с огорчением воспринял день 10 августа. По общему мнению, он принадлежит к числу тех, кто горько сожалел об этой смерти [тирана].

Он, насколько нам известно, не подписывал ни петиций, ни постановлений, убийственных для свободы. Однако он подписал, после того как участвовал в его составлении, меморандум (consultation) в пользу неприсягнувших священников, один экземпляр которого мы прилагаем. Не проявляя до революции даже чисто внешней религиозности, он стал покровителем, сторонником и защитником неприсягнувших священников, притворно изображая теперь набожность.

Во время проведенного в его доме обыска у него в карманах были обнаружены три письма: одно, отправленное на его адрес из Парижа, другое — пришедшее на адрес г-на Валуша, его соседа, находящегося под арестом, третье — на адрес г-на Кайля, февдиста, также его соседа. Ниже мы прилагаем копию. Он постоянно получал аристократические газеты.

Общественное мнение порицает его за активное содействие эмиграции сына и считает советчиком аристократов, намеревающихся в случае контрреволюции взять на себя роль ее гражданского лидера».

29

Таким образом, мы видим, что на сей раз обращение к представителю Конвента не осталось без результата. Старик Андро, вся вина которого состояла в том, что его сын стал эмигрантом (остальные обвинения основаны исключительно на «общественном мнении»), был все-таки переведен под домашний арест. Казалось бы, гуманность восторжествовала. Увы, история на этом не закончилась. В досье Андро сохранилась еще одна петиция, написанная им вместе с дочерью, где подробно перечислены все его аресты и откуда мы узнаем, что некоторое время спустя он опять оказался в темнице, причем на этот раз за решетку попала и его дочь:

«Гражданам Наблюдательного комитета дистрикта Риома.

Пьер Андро и его дочь, вдова Виссак, доводят до вашего сведения, что они оба находятся в тюрьме коммуны Риома. В апреле прошлого, 1793 г. (по старому стилю) Андро был помещен под до-

машинный арест. В этом состоянии он находился до первых чисел сентября того же года, когда его препроводили в тюрьму, где он провел, однако, лишь 5 дней, после чего был вновь переведен под домашний арест. И вот не прошло и трех месяцев, как он снова отправлен в тюрьму...».

Возможно, в данном случае Андро стал жертвой очередного витка репрессий, вызванного постановлением Кутона от 6 фримера II г. (26 ноября 1793 г.). «Об отмене всех мер, принятых прежней Директорией Пюи-де-Дома в отношении эмигрантов и подозрительных». Его же дочь, Жанна Андро-Виссак, судя по составленной на нее анкете, была арестована 15 нивоза II г. (4 января 1794 г.) как гражданка «непатриотичная и явно находящаяся под влиянием высланного священника (*comme incivique et ayant reussi des effets apparements à un prêtre déporté*)». В 6-й графе анкеты ее «вина» была конкретизирована: «Аристократка из фанатизма. Характер достаточно спокойный. Отдавала предпочтение мессам неприсягнувших священников, а после высылки тех вообще не появлялась в церкви». Парадоксально, что именно непосещение церкви фигурирует здесь в качестве доказательства «контрреволюционности», хотя после издания Кутонем серии постановлений, направленных против католического культа, после произведенного с его одобрения разгрома церквей в Клермон-Ферране и Риоме и после начавшихся репрессий против присягнувших (!) священников посещать богослужения осмеливались только глубоко верующие, а значит, с точки зрения революционных властей, «подозрительные» люди. Похоже, те, кто отдавал приказ об аресте Ж. Андро-Виссак, не слишком утруждали себя поисками убедительного обоснования мотивов своего решения и руководствовались прежде всего «революционной интуицией».

Отец и дочь Андро находились в тюрьме до осени 1794 г. и были выпущены на свободу лишь после приезда представителя Конвента Мюссе.

Иной оказалась судьба Антуана де Фрета, о котором, как и об Андро, ходатайствовали другие заключенные в письме городским властям Риома. Судя по его анкете, он был переведен под домашний арест одновременно с Андро, но в тюрьму более не возвращался. Зато, когда в Риом прибыл Мюссе, Наблюдательный комитет категорически воспротивился освобождению де Фрета, дав ему такую характеристику:

«1. Имя заключенного; его место жительства до заключения; возраст; количество детей, их возраст и местонахождение; вдов ли,

холост или женат. Фрета Антуан; житель Риома; 54 года; двое детей: сын, ...лет, эмигрант, и дочь, 25 лет, живет с отцом; женат.

2. Где заключен; с какого времени; в какой период; по чьему приказу; по какой причине. В Риоме под домашним арестом по состоянию здоровья; с 13 сентября; по приказу муниципалитета; как отъявленный аристократ и отец эмигранта.

3. Его профессия до и во время революции. Бывший дворянин, бывший офицер пехоты и бывший кавалер Ордена св. Людовика.

4. Его доход до и во время революции. До революции — 6500 ливров, с начала революции — 7000 ливров; утверждает, что имеет много долгов.

5. Круг знакомств и общения. Все наиболее отъявленные аристократы и многие из побывавших в заключении в разные периоды, включая тех, кто жил в сельской местности, чтобы распространять там аристократизм.

6. Характер; политические убеждения, проявившиеся в мае, июле и октябре 1789 г., 10 августа, после смерти тирана, 31 мая, в критические моменты войны; подписывал ли убийственные для свободы петиции и постановления. Отъявленный аристократ с начала революции. Плохой муж и плохой брат, имеет характер вспыльчивый, надменный, грубый, властный, презирает народ. С начала революции патриоты непрерывно следят за ним. Несомненно, общественное мнение до самой крайней степени настроено против него. Оно убеждено, что он был инициатором эмиграции сына и сам бы эмигрировал, если бы не его тяжкий недуг. Все считают, что он имеет намерение в случае контрреволюции возглавить ее партию, что он радовался бегству тирана и был огорчен его смертью, что он радуется невзгодам Республики и огорчается из-за ее успехов. В то же время он не перестает питать преступных надежд на возвращение старого порядка вещей.

В период жатвы 1792 г. повсюду в нашей коммуне и соседних кантонах разнесся слух, что он угрожал в случае победы контрреволюции, которая, как полагал, близка, запрячь рабочих вместо быков и пахать на них землю. Несмотря на все предпринятые нами усилия, мы не смогли найти подтверждения этим толкам, однако слух тем не менее продолжает существовать, что показывает до какой степени общественное мнение настроено против этого типа.

Насколько нам известно, он не подписывал ни петиций, ни постановлений, убийственных для свободы.

*Постановление принято председателем и членами
Наблюдательного комитета Риома [10 подписей]».*

Как и во всех ранее виденных нами анкетах, отсутствие конкретных обвинений здесь подменено общей «демонизацией» личности арестованного. Однако в данном случае мы имеем редкую возможность сравнить устрашающую характеристику, сочиненную Наблюдательным комитетом, с независимым свидетельством современника. В конце апреля 1787 г. в замок Ширак – резиденцию семьи де Фрета – нанесла визит вежливости вдова прокурора Риома М. А. Ромм, мать будущего якобинца и автора революционного календаря Жильбера Ромма. Ее сопровождала племянница, уже упоминавшаяся выше Миет Тайан, у которой у хозяине замка сложилось такое впечатление: «Господин де Фрета настолько же добр, насколько его жена сурова. Думаю, он не является хозяином у себя дома. Он очень любит охоту и занимается только своими лошадьми и собаками».

38

Трудно поверить, что всего за несколько лет этот бонвиван, сидевший под каблуком своей строгой жены (ее портрет Миет рисует гораздо подробнее), мог превратиться в жестокого честолюбца, мечтающего возглавить контрреволюцию, дабы иметь возможность пахать на своих работниках вместо быков, каким его изобразили члены Наблюдательного комитета, среди которых, кстати, был и брат Миет – Жан Батист Тайан. Как бы то ни было, вердикт, начертанный ими осенью 1794 г. на обратной стороне анкеты, гласил:

«Члены Революционного комитета дистрикта Риома, запрошенные представителем народа Мюссе о возможности освободить Антуана де Фрета,

Учитывая, что даже мысль о его освобождении преступна;

Учитывая, что они абсолютно убеждены в истинности всего изложенного в таблице, находящейся на обороте;

Учитывая, что только его недуги вынудили их согласиться на содержание его под домашним арестом;

Учитывая, что если бы они смогли найти доказательство того, что ему приписывает молва, они давно проголосовали бы за отправку его в Революционный трибунал;

39

Считают, что представитель народа не может выпустить его на свободу без ущерба для общественной безопасности и что он [де Фрета] должен до наступления мира находиться, по причине своего нездоровья, под домашним арестом без возможности общения с кем бы то ни было еще.

Постановление вынесено на заседании [13 подписей]». 40

Впрочем, после Термидора эпоха всевластия подобных комитетов постепенно уходила в прошлое, и некоторое время спустя А. де Фрета все же был освобожден.

К сожалению, мне не известно, как по окончании Террора сложилась судьба священника Ж. Фурнэ (и дожил ли он до той поры), но его обращение в сентябре 1793 г. к «проконсулу» в надежде хоть немного облегчить свои страдания не увенчалось успехом именно из-за сопротивления местных революционных властей.

«Гражданину Кутону, представителю народа в Национальном Конвенте.

Жан Фурнэ, бывший кюре в Пуаза,

Сообщает вам, что, согласно закону о высылке священников, он, в силу своего преклонного возраста и болезней, был оставлен в тюрьме административного центра департамента. Поскольку за время, прошедшее с начала заключения, его болезни заметно обострились, он полагает, что, если бы находился в родном городе, где родственникам легче оказывать ему помощь, его расстроенное здоровье могло бы немного поправиться. Вот почему он, во имя страдающей гуманности, просит вас, гражданин представитель, дать распоряжение о переводе его из клермонской тюрьмы в тюрьму дистрикта Бийома.

Жан Батист Фурнэ».

Подпись с наползающими друг на друга буквами, сделанная дрожащей рукой и почерком, отличным от того, которым написан остальной текст, наводит на мысль, что у старика было плохо со зрением и он, видимо, попросил написать обращение кого-либо из соседей.

«Проконсул» не оставил петицию без внимания, дал ей ход, и она отправилась в путешествие по лабиринтам революционной бюрократии, обрастая резолюциями различных инстанций:

«Отправить в администрацию Департамента для получения необходимых сведений. 25 сентября Ж. Кутон».

«Рассмотрев прилагаемую петицию, члены администрации Департамента Пюи-де-Дом вместе с заместителем прокурорасиндика направляют ее членам администрации дистрикта Клермон-Феррана, дабы те предоставили сведения, запрошенные представителем народа, и сообщили свое собственное мнение по всему вышеизложенному. Генеральный совет Департамента.

25 сентября 1793 г., II год Французской республики, единой и неделимой. [5 подписей]».

«Направить в муниципалитет, дабы он сообщил свое мнение и высказал собственные соображения по настоящей петиции. Клермон, 26 сентября 1793 г., II год Французской республики, единой и неделимой. [3 подписи]».

«Генеральный совет коммуны Клермон-Феррана, получив вышеизложенную петицию и полагая, что г-н Фурнэ в силу своего фанатизма способен причинить много вреда в Бийоме, считает необходимым оставить его в тюрьме Клермон-Феррана, поскольку здесь гораздо лучше обеспечивается надзор за священниками, нежели в Бийоме. Постановлено в ратуше Клермон-Феррана 26 сентября 1793 г., II года Французской республики, единой и неделимой. [4 подписи]».

41

Единственный известный мне случай, когда прямое обращение к Кутону привело к немедленному освобождению арестованного, действительно уникален: в тюрьме оказался восьмидесятилетний старец!

«Гражданину Кутону, представителю народа
в департаменте Пюи-де-Дом.

Гражданин Представитель,

Восьмого числа сего месяца по приказу муниципалитетов Созе-ле-Фруа и Верне были арестованы и препровождены в Клермон некие Жозеф Гитар и Луи Гитар, дед и внук, так как в меблированных комнатах, где они находились, были найдены очевидные доказательства того, что они прятали у себя священника-фанатика. Сегодня, гражданин Представитель, муниципалитет Созе просит вас освободить деда. Этот несчастный старик, которому более 80 лет, в тюрьме занемог. Мы с болью видим, что он лишен всякого ухода, необходимого ему как по причине его недуга, так и в силу почтенного возраста. Кроме того, он уже осознал свою ошибку, но слезы и раскаяние не могут вывести его из темницы, куда его ввергло коварство лицемера. Вы понимаете, как легко было этому фанатику обмануть несчастного старика, чтобы найти у него кров. Тот уже одной ногой в могиле, а потому не мог не попытаться обеспечить себе небесное блаженство, поскольку священник, наверняка, сказал, что подвергается преследованиям за веру в Иисуса Христа. Может быть даже, он выманил у старика деньги, поскольку тот богат. Внемлите же, пожалуйста, гражданин Представитель, нашим мольбам и даруйте свободу несчастному Жозефу Гитару. Она ему необходима,

42

чтобы восстановить свое здоровье; кроме того, он обещает воспользоваться ею, дабы открыть глаза тем, кто позволил ввести себя в заблуждение.

Соэе, 24 сентября 1793 г., II год Республики, единой и неделимой.

Подписано теми из нас, кто смог это сделать: Вейр, нотабль; Бурдые, священник; Вандаж, секретарь».

43 Прочитав петицию, «проконсул» начертал на ней: *«Постановлением от 25 сентября приказываю освободить старика. Ж. Кутон».*

Даже если арестованный не имел оснований жаловаться на здоровье, нахождение под стражей, помимо чисто моральных издержек, было чревато серьезным ухудшением материального положения его семьи, так как расходы по пребыванию в тюрьме оплачивались узниками из собственного кармана. Особенно тяжело приходилось тем, кого после ареста увозили в другой город, поскольку в подобном случае их содержание обходилось родственникам гораздо дороже. Именно этим обстоятельством было вызвано обращение к Кутону некоего Дореля Делэра:

*«Гражданину представителю народа.
В Клермон.*

Гражданин представитель,

Позвольте мне сообщить вам, что гражданин Антуан Делэр из Вертэзона, который находится под стражей в тюрьме Бийома по приказу властей дистрикта и должен быть переведен в Клермон по приказу муниципалитета Вертэзона, взывает к вашей справедливости, прося, чтобы его оставили в той тюрьме, где он сейчас находится, ибо он совсем небогат и ему было бы проще получать из дома все необходимое для жизни, не вводя в большие расходы, которых он не сможет избежать в Клермоне. Оставляю за собой возможность в другой раз доказать вам его невиновность и неправоту его обвинителей.

26 сентября 1793 г., II год Французской республики, единой и неделимой.

Дорель Делэр».

44 Резолюция получателя: *«Отправить в Наблюдательный комитет Вертэзона, чтобы немедленно сообщили причины перевода. 26 сентября. Ж. Кутон».*

Поскольку петиция находится среди бумаг «проконсула» и на ней нет никаких пометок, свидетельствующих о том, что

она дошла до Наблюдательного комитета, есть основания полагать, что она, видимо, затерялась среди других документов и не попала в Вертэзон, вследствие чего А. Делэр, к огорчению его родных, все же отправился в клермонскую тюрьму. Впрочем, это — всего лишь предположение, которое мне не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть данными других источников.

Особенно пагубно заключение в тюрьме сказывалось на материальном положении земледельцев и тех из горожан, кто добывал себе средства к существованию собственным трудом. Вынужденный отрыв от повседневных занятий обрекал этих людей на разорение и вместе с дополнительными расходами, вызванными пребыванием под стражей, ставил их семьи на грань нищеты.

«Гражданин Кутон,

Это же естественно, что безутешная супруга взывает к вашей гуманности, прося о своем муже, который является единственной опорой в жизни для нее и ее детей. Вы сами отец и можете понять мое ужасное положение. Если я потеряю мужа, я потеряю все средства к существованию, ведь я совсем не умею просить милостыню. Совершите же, умоляю, этот акт гуманности — он сделает счастливой нашу семью, которая не перестанет вас благодарить.

Жена Бонфуа». 45

К сожалению, я не смог установить, чем провинился муж этой женщины перед революционным правосудием и какие последствия имело ее страстное обращение к «проконсулу». Можно лишь добавить, что в столь отчаянной ситуации оказалась тогда далеко не одна семья. Вот, например, весьма схожая история Антуана Проз:

«Гражданину Кутону, представителю французского народа, облеченного властью Национальным конвентом.

Гражданин,

Гражданин Антуан Проз, житель города Риома, Доводит до вашего сведения, что, начиная с пятого числа се- го месяца, он заточен в тюрьме Риома как подозрительный.

Он не знает, за какую вину попал в такую немилость. Честно говоря, он считает, что не заслужил сие никаким из своих поступков и что не говорил ничего такого, что могло бы заставить усомниться в его гражданских чувствах. Он не боится призвать всех честных сограждан в свидетели того, что он выполнял все

обязанности доброго гражданина, приносил все жертвы, которые от него требовали законные власти, служил в национальной гвардии Риома и Себаза. Если бы он знал, какое против него выдвинуто обвинение, то ему было бы нетрудно оправдаться.

Помимо своей невинности, податель сего имеет и другие основания просить вас об освобождении из тюрьмы.

Его главным достоянием является виноградник в Себаза. Сейчас самое время собирать виноград, а никто из его дома не сможет его в этом деле заменить: жена больна, детей нет, единственный слуга, помимо того, что ничего не слышит, не может одновременно выполнять работу по дому и вне его. Кроме того, несколько его [гр-на Проз] арендаторов и виноградарей ушли на защиту родины.

Если урожай подателя сего пропадет, тому не на что будет жить и нечем будет платить налоги, которые обязан платить.

Вот почему он вместо того, чтобы взывать к вашей справедливости, Гражданин, просит вас только освободить его под честное слово, дабы уладить свои дела, а как только вино будет изготовлено, он вернется в свой муниципалитет под надзор городских и других законных властей.

46

Проз».

Отсутствие на бумаге резолюции Кутона наводит на мысль о том, что просьба автора петиции была оставлена без внимания. Вероятно, в глазах революционных властей А. Проз был слишком опасным преступником, чтобы позволить ему такую поблажку. Что же ему действительно вменялось в вину? Обратимся к анкете Наблюдательного комитета:

«1. Имя заключенного; его место жительства до заключения; возраст; количество детей, их возраст и местонахождение; вдов ли, холост или женат. Проз Антуан; житель Риома; 63 года; бездетный; женат.

2. Где заключен; с какого времени; в какой период; по чьему приказу; по какой причине. В тюрьме Риома; с 5 сентября 1793 г. (ст. стилия); по приказу представителя народа Жоржа Кутона; как подозрительный и активно поддерживающий неприсягнувших священников, а также подозреваемый в распространении фанатизма среди сельских жителей.

3. Его профессия до и во время революции. Бывший адвокат, бывший председатель соляного управления и эшевен; во время революции живет на доходы со своего хозяйства.

в аристократический фанатизм обитателей сельской местности. И еще оно считает, что он радовался бегству тирана и скорбел о его смерти, что он радуется неудачам Республики и скорбит о ее успехах.

Насколько нам известно, он не подписывал ни постановлений, ни петиций, убийственных для свободы.

Он не посещал собраний своей секции, кроме как в самом начале революции. Он совсем не принял республиканскую конституцию».

Как видим, и здесь все обвинения опираются исключительно на слухи. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы больше года держать Прозэ в тюрьме, откуда его вызволил лишь Мюссе.

Знакомясь со всеми этими материалами, невольно задаешься вопросами: Что за люди входили в состав комитетов? Кому принадлежала власть на местах? Узколобым фанатикам, не знавшим жалости? Садистам, наслаждавшимся чужим горем? Ненасытным честолюбцам, упивавшимся властью над согражданами? Действительно, встречались среди них и те, и другие, и третьи. И хотя в общей массе населения они составляли меньшинство, нередко именно от их рвения зависел размах репрессий в каждом конкретном дистрикте, каждой конкретной коммуне. Однако даже на самых высоких должностях можно было встретить людей, испытывавших искреннее сочувствие к гонимым и готовых помочь им, но, в силу неумолимого хода вещей, не имевших возможности этого сделать. С одним из таких персонажей нас знакомит история сестер Летан.

«Гражданину Кутону, представителю народа.

Гражданин,

Мы были арестованы в своем доме и препровождены в Амбер, а затем — в Клермон, где и находимся в тюрьме. Непрекращающиеся болезни делают наше положение бесконечно мучительным. Гражданин Монестье, который видел нас, может вам это подтвердить. Мы жили одни в нашем доме в Шаландра, и теперь наше имущество осталось совершенно без присмотра. Наше состояние весьма невелико, а наше отсутствие еще больше уменьшит его, не говоря уже о том, что пребывание вдали от дома увеличило наши расходы в четыре раза. Против нас не могут выдвинуть никаких сколько-нибудь обоснованных обвинений. Разве мы заслужили такое жестокое обращение? Нам не вменяют в вину ни высказываний, ни поступков, направленных против револю-

ции. Мы никоим образом не подпадаем под действие декрета о подозрительных. У нас нет ни отца, ни брата, и никто из наших родственников не эмигрировал и не был выслан. Мы тихо жили у себя в деревне, в стороне от всякого общества, исправно платя налоги и не нарушая закона.

Если кто-то на нас донес, то это могли сделать только недоброжелатели, считающие, что можно без каких-либо доказательств добиться признания человека подозрительным.

Убедитесь же, Гражданин, что, не подпадая под действие никакого закона и ни в чем не виноватые, мы должны выйти на свободу и вернуться в свой дом. Уповаем на вашу гуманность и справедливость. Летан.

Летан».

К петиции приложена следующая справка:

«Я, нижеподписавшийся, врач города Клермон-Ферран, подтверждаю, что обе девицы Мюзерю-Летан, содержащиеся в тюрьме, страдают от болезней, каковые вылечить в тюремных условиях невозможно. У одной из них постоянная предрасположенность к конвульсиям, жесточайшие приступы которых случались уже несколько раз; нетрудно предположить, что пребывание в тюрьме еще больше усугубляет подобное состояние. Второй, согласно моему совету, два раза делали прижигания по причине катара, от которого она жестоко страдает и течение которого данное средство хотя и облегчило, но не прекратило. Обе девицы, будучи уже преклонного возраста, нуждаются в домашнем уходе, каковой им невозможно обеспечить в тюрьме. Клермон-Ферран, 25 сентября 1793 г., 11 год Республики, единой и неделимой. Монестье, доктор медицины».

48

В досье сестер Летан я не нашел точной формулировки того, что именно вменялось им в вину. В Амбере не составлялись столь исчерпывающие анкеты на арестованных, как в Клермон-Ферране или в Риоме. Однако некоторый материал для размышлений на сей счет можно почерпнуть из протоколов первых допросов задержанных:

«Сегодня, 11 сентября 1793 г., 11 года Французской республики, единой и неделимой, перед нами, членами Бюро военной юстиции общественного спасения (Bureau judiciaire militaire de Salut public), учрежденного представителем народа в городе Амбер, административном центре дистрикта департамента Пюи-де-Дом, заседавшего в присутствии секретаря Пьера Мари Жимеля, предстала Женевьева Летан, гражданка, живущая в собствен-

ном доме в Шаландра, приход и коммуна Кюнла, которая была подвергнута следующему допросу:

- Известно ли вам о причинах вашего ареста?

- Ничего не известно. Как раз об этом я и собиралась у вас спросить.

- Не допускали ли вы когда-либо непатриотичного поведения?

- Нет, мне это совсем не нужно. С точки зрения моих личных интересов, я [во время революции] больше приобрела, чем потеряла. К тому же, интересы общественные мне дороже личных.

- Как вы относитесь к декретам Национального конвента?

- Я хочу лишь, чтобы по всей Республике царили мир и спокойствие.

- Не принимали ли вы участия в мятежах, происходивших в Кюнла, и беспорядках, имевших место после выхода Декрета о рекрутском наборе от 24 февраля?

- Постоянно проживая в Шаландра, я не участвовала ни в каких мятежах и беспорядках, происходивших в Кюнла, ни в беспорядках после выхода Декрета о рекрутском наборе от 24 февраля.

- Знаете ли вы некоего Озье, бывшего контролера [за сбором налогов] в Кюнла? Часто ли вы принимали его у себя? Или, быть может, он вообще все время останавливался у вас?

- Да, я знаю гражданина Озье. Я принимала его несколько раз у себя, однажды он даже ночевал в нашем доме. Обычно же он жил у бывшего кюре.

- Не выражал ли при вас этот Озье непатриотичных и контрреволюционных настроений?

- Никогда. Ни Озье, никто другой, потому что я этого не потерпела бы.

- Не знаете ли вы, был ли гражданин Озье среди участников беспорядков в Волоре?

- Не думаю. Я бы даже сказала, что он положительно отнесся к рекрутскому набору.

- А ваше отношение к культу не побуждало ли вас отговаривать людей от посещения месс конституционных священников?

- Нет. Даже мой слуга и мой арендатор ходили на их мессы. Я никогда ни с кем не говорила на эту тему.

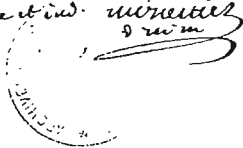
- Не прятали ли вы у себя неприсягнувших священников? Не служили ли они мессу в вашем доме, на которой присутствовало бы много людей?

- После выхода декрета о высылке я не приняла у себя ни одного неприсягнувшего священника. Честно говоря, до выхода дек-

рета я принимала некоторых из них, и они даже служили мессы в часовне, находящейся в доме, но никто из посторонних при этом не присутствовал.

- Не знаете ли вы текста обращения «Народа Монбризона к народу Ливраде», написанного на квадратном листе бумаги, и не знаком ли вам его автор?

Je suis née le 10 Decem de la ville de Montbrison certifié
que mille meszures l'étoient s'écrites en la maison de
réclusion ont l'une et l'autre atteintes de maladie dans
le traitement ne peut être fait dans une maison de
réclusion, l'une est dans un état convalescent l'autre est
à quelq'point les accès les plus violents qu'il y a, il est
casi de le le figurer s'yjournerait jus le 15 jours dans une
maison de réclusion, l'autre est deux sœurs qui ont été
étudié depuis une conseil pour une maladie catarrhal
qui la tourmente cruellement et dont la cause est
diminué jus est s'écrite dans être qu'on, ces deux
filles sont d'un âge avancé, ont besoin de soins
domestiques et dont on ne peut plus leur dans une
maison de réclusion de Montbrison 25/10/1793 2 de
la répub. une et ind. *M. Monestée*



Справка о состоянии здоровья сестер Летан,
написанная доктором М. Монестье.
Оригинал — в архиве департамента Пюи-де-Дом.

- Я знаю о таком сочинении понаслышке из разговора в тюрьме дам Бюиссон, Жилет и Вейдьер. Оно находилось у какого-то генерала, который им о нем говорил и его показывал, не сообщая содержания.

- Говорил ли об этом сочинении еще кто-нибудь из заключенных в тюрьме?

- Я слышала от всех, что никто не знал о нем ничего до того, как об этом заговорили названные дамы.

Ознакомившись с настоящим протоколом, допрашиваемая подтвердила, что все в нем изложенное — правда, что она не хочет ничего ни прибавить, ни убавить, и подписала вместе с на-

ми и секретарем, сего дня и сего года в 7 часов 15 минут вечера в помещении Бюро. [8 подписей]».

«Сегодня, 11 сентября 1793 г., 11 года Французской республики, единой и неделимой, перед нами, членами Бюро военной юстиции общественного спасения, учрежденного представителем народа в городе Амбер, административном центре дистрикта департамента Пюи-де-Дом, заседавшего в присутствии секретаря Пьера Мари Жимеля, предстала Маргерит Летан, гражданка, живущая в собственном доме в Шаландра, приход Кюнла, которая была подвергнута следующему допросу:

- Знаете ли вы о причинах своего ареста?

- Не имею о них ни малейшего представления.

- Не проявляли ли вы когда-либо негражданственного отношения к национальному культу, отговаривая людей посещать мессу?

- Никогда. Более того, наши слуги ежедневно ходили на мессу, и я вовсе не сетовала на это.

- Как вы относитесь к декретам Конвента?

- Я хочу, чтобы по всей Республике царил мир, чтобы уважались собственность и права личности.

- Вы являетесь бывшей дворянкой, не так ли? Не побуждало ли вас это качество к проявлению контрреволюционных чувств?

- Да, я действительно была дворянкой, но мы никогда не пользовались привилегиями. И должна признать, что никакой другой декрет не вызвал у меня больше радости, чем декрет, провозгласивший равенство.

- Не принимали ли вы участия в мятеже в Кюнла и беспорядках в Волоре?

- Я никоим образом не участвовала в этих мятежах, никто ко мне не обращался за советом, а если бы и обратился, я бы посоветовала ему вести себя так же, как другие законопослушные граждане. Кроме того, я ведь живу в сельской местности.

- Не прятали ли вы у себя неприсягнувших священников?

- После выхода декрета об их высылке мы не принимали никого. До выхода же декрета мы принимали тех, кто оказал нам честь своим посещением, — так же поступали и другие порядочные люди.

- Не служили ли неприсягнувшие священники мессу в вашем доме?

- После выхода декрета о высылке — нет. Более того, мы даже разрушили имевшийся у нас в доме алтарь, как того требовал указанный декрет. А ежели некоторым из неприсягнувших священников и случалось ранее служить у нас мессу, то никого из посторонних на ней не было.

- Не приходилось ли вам высказываться или слышать, как это делают другие, против декретов Конвента?

- Нет ничего такого я не говорила и не слышала.

- Не знаете ли вы сочинения, озаглавленного «Народ Монбризона народу Ливраде», написанного на квадратном листе бумаги в виде афиши?

- Нет, я ничего такого не видела и не слышала.

Ознакомившись с настоящим протоколом, допрашиваемая подтвердила, что все в нем изложенное — правда, что она не хочет ничего ни прибавить, ни убавить, и подписала вместе с нами и секретарем, сего дня и сего года в 8 часов вечера в помещении Бюро. [7 подписей].

50

Таким образом, по характеру заданных вопросов можно с большой долей вероятности предположить: Женевьева и Маргерит Летан, как и вдова Андро-Виссак, навлекли на себя подозрение революционных властей прежде всего тем, что не посещали мессы конституционных священников, ну и, конечно, своим дворянским происхождением. Все остальные вопросы об антирекрутских волнениях, об агитационном послании жителей Монбризона и т. п. были заданы скорее с целью выудить у допрашиваемых какие-либо случайно известные им сведения, нежели для того, чтобы действительно уличить в контрреволюционных происках этих одиноко живущих, пожилых и очень больных женщин. По-видимому, обвинение было настолько слабо мотивировано, что ...самим арестованным так и не сообщили о его сути, а просто отправили их в тюрьму административного центра департамента. Там тем более никто не мог объяснить, за что их лишили свободы. Клермонские комитетчики, похоже, просто доверились своим коллегам из Амбера: если те арестовали «девиц Л. етан» — значит было за что. Досье сестер Летан содержит целый ряд петиций, которые они раз за разом подавали властям, пытаясь узнать, за что же все-таки сидят. Вот один из таких документов, добавляющий новые штрихи к истории о том, как революция вторглась в тихую жизнь небольшой сельской усадьбы:

«Гражданки Летан, с готовностью подчиняясь декрету Конвента, обязывающему каждого заключенного дать отчет о поведении в период с 14 мая 1789 г., представляют его в кратком изложении на суд комитета общей безопасности.

Они обе жили в сельском доме, имея скромное состояние, представленное им отцом, и неизменно почитая своим долгом уважать законы и существующие власти. Они были арестованы в

51 *период массовой мобилизации и отправлены сначала в тюрьму Амбера, а затем — Клермон-Феррана. Какова причина их ареста? У них нет эмигрировавших или высланных родственников. Если бы допрос, которому их подвергли, смог эту причину прояснить, они бы постарались рассеять нависшие на них подозрения в отсутствии патриотизма.*

Их винят в том, что они принимали у себя неприсягнувших священников и не посещали мессы конституционных кюре. Но ведь закон не запрещал встречаться со священнослужителями до периода их высылки, а с началом этого периода они [гражданки Летан] прекратили все такие встречи. Закон разрешил абсолютную свободу культов, и непосещение мессы не является в глазах законодателя преступлением.

Они болеют и чахнут уже в течение нескольких лет, считая, что в подобном состоянии уединение для них совершенно необходимо. Они требуют, чтобы тот, кто донес на них, огласил хоть один факт, хоть один поступок, свидетельствующий об их непатриотизме. Если же они всегда подчинялись закону и платили свои налоги, если они ради общественного дела даже приносили дополнительные жертвы, разве можно видеть в них врагов революции и обращаться, как с таковыми? Они убедительно просят вернуть им свободу, утрату которой они ничем не заслужили, и ожидают ее, надеясь на вашу справедливость и гуманность. Летан.

52

Летан».

Впрочем, и эта петиция осталась без ответа, как и обращение к Кутону. Похоже, судьба двух сестер никого не интересовала, кроме городского врача, трижды подчеркнувшего в коротенькой справке, что пребывание в тюрьме самым губительным образом влияет на здоровье женщин. Но много ли значило мнение какого-то доктора для тех, кто отвечал за проведение репрессий? И вот тут мы сталкиваемся с одним из удивительнейших парадоксов эпохи Террора. Мишель Монестье (1747—1818) не только был одним из лучших врачей Нижней Оверни, еще до революции снискавшим уважение земляков своими профессиональными качествами и благотворительной деятельностью, но он также являлся одним из лидеров якобинцев Пюи-де-Дома, братом депутата Конвента Жана Батиста Бенуа Монестье (1745—1820) и, наконец, ... мэром Клермон-Феррана!!! М. Монестье имел большой авторитет в революционных кругах и пользовался доверием самого Кутона. И

все-таки даже он ничего не мог сделать для освобождения двух, явно невинно томившихся в тюрьме, женщин, судьба которых, очевидно, вызывала у него искреннее сочувствие.

Система Террора действовала как машина, где каждый винтик, какое бы важное место ни занимал, имел строго определенные функции и был легко заменяем. Все должностные лица, независимо от их положения, обязаны были следовать определенному стереотипу поведения «истинного республиканца». Любое отклонение от этих, обусловленных революционной идеологией, правил неминуемо влекло за собой потерю должности, свободы и очень часто жизни. Эти «революционные диктаторы», казалось бы, самовластно правившие своими согражданами, в действительности часто вынуждены были поступать тем или иным образом, опасаясь доноса, который мог стать для них началом конца. Уже после Термидора другой видный якобинец Пюи-де-Дома, бывший адвокат Этьен Бонарм (1753—1818), сменивший Монестье на посту мэра, так объяснял свое участие в местном революционном трибунале: «Те, кто порицают меня за это, полагают, видно, что только заключенные жили в ужасе; они не знают, что никто, наверное, не испытывал большего страха, чем те, кто вынужден был исполнять декреты. Пусть же вспомнят они, что гражданин, назначенный распоряжением Кутона на какую-либо должность, в случае отказа был бы объявлен подозрительным, что влекло за собой потерю свободы и секвестр имущества. Разве мог я отказаться? Разве могли отказаться те, кто с оружием в руках сажал людей в тюрьмы, высылал, конвоировал в лионский трибунал, опечатывал имущество арестованных, разрушал замки и т. д.? Признаем же, что никто не был свободен...». Едва ли, написав это, Бонарм сильно покривил душой: сам он, послушно исполняя поступавшие сверху распоряжения, действительно никогда не выказывал инициативы и рвения в репрессиях и не запятнал себя проявлением личной жестокости. Его признание в какой-то степени объясняет и ту парадоксальную ситуацию, когда мэр Монестье, явно испытывая сострадание к невинным жертвам «революционного правосудия», мог оказать им помощь только как врач, но бессилён был что-либо сделать для них как должностное лицо.

Злоключения сестер Летан продолжались. Новую петицию членам Наблюдательного комитета они подали 12 флорсали II г. (1 мая 1794 г.): «*К вам обращаются гражданки Летан, уже около восьми месяцев томящиеся, по решению Комитета Амбера,*

55 *в тюрьме в бывшем монастыре урсулинок, до сих пор не зная, за какое преступление сюда попали...». Далее женщины сообщали о неуклонно ухудшающемся состоянии своего здоровья, отметили в заключение: «Гражданин Монестье, мэр этой коммуны, может подтвердить вышеизложенное, поскольку в первые три месяца после нашего ареста ему часто приходилось посещать нас по причине наших недугов». Теперь трудно установить, почему прекратились визиты доктора Монестье к арестованным. Вполне вероятно, что в обстановке усиливающегося террора и растущей подозрительности, постоянные посещения тюрьмы могли стать для него небезопасными. Впрочем, это — всего лишь предположение.*

Сестры Летан провели в тюрьме больше года. Когда в Пюи-де-Дом приехал Мюссе, выяснилось, что их судьба вызвала сострадание не только у М. Монестье, но и у многих земляков, о чем те, по окончании Террора, смогли наконец заявить открыто:

56 *«Амбер, 29 вандемьера.*

[...] Генеральный совет коммуны Кюнла сообщает республиканцу Мюссе, что все сограждане заключенных Летан жалеют их и убеждены, что те своим поведением искупают прежние ошибки. Вышеозначенный Совет голосует за их [сестер Летан] освобождение».

57 2 брюмера III года Республики (23 октября 1794 г.) Маргерит и Женестье Летан покинули тюрьму.

Вот и все истории, содержащиеся в обращениях заключенных к представителю Конвента Жоржу Кутону. Что могла бы рассказать о них всезнающая статистика? Никто из авторов апелляций не был казнен и не умер в тюрьме. Примерно после года содержания под стражей (срок относительно небольшой) все вышли на свободу. И если следовать логике историков, о которых говорилось в начале этого очерка, вполне можно задаться вопросом: а был ли, собственно говоря, Террор в Пюи-де-Доме? Увы, никакая статистика не способна отразить страдания тех, кто, как сестры Летан, месяцами томился в темнице, не зная, в чем их обвиняют; кто, как Ипполит Жерар, потерял по воле «революционного правосудия» все заработанное за годы тяжкого труда. И чем измерить страдания брошенных в тюрьму калек, таких, как инвалид Форкатер и старик Андро, чье существование без необходимого ухода превратилось в невыносимую пытку?

Результаты проведенного нами исследования «под микроскопом» особенностей проявления Террора на первичном уровне общества, его влияния на судьбы «маленьких людей» свидетельствуют о необходимости рассматривать его не только как форму судебно-правовой репрессивной практики, но в значительной степени и как социально-психологический феномен. Воздействие Террора Французской революции на общество нельзя измерить количественными показателями, характеризующими интенсивность репрессий, — числом казненных или арестованных. Чтобы оценить это воздействие в полной мере, приходится вспомнить изначальный смысл самого слова «террор» — «страх», «ужас». Именно так можно определить психологическое состояние французского общества в указанный период. Казалось бы, относительно небольшой, годичный, срок пребывания под стражей в действительности часто оборачивался для лиц, задержанных в качестве «подозрительных», тяжелейшей психологической травмой, во-первых, из-за того, что они обычно не чувствовали за собой никакой реальной вины (как мы видели, для ареста было достаточно неблагоприятного «мнения общественности»), во-вторых, из-за полной неопределенности их будущего. Лишенные возможности оправдаться или хотя бы быть выслушанными представителями власти, ни в чем не повинные люди сидели в тюрьме, не имея даже той надежды, которую питали обыкновенные преступники — выйти на свободу по окончании срока заключения, поскольку концом срока для «подозрительных» должно было стать лишь бесконечно далекое «наступление мира». Ну а поскольку обо всем этом знали и те, кто находился на свободе, как знали о физических страданиях находившихся в заточении стариков и инвалидов и о материальных издержках, ложившихся тяжким бременем на семьи арестованных, и поскольку никто не мог чувствовать себя в безопасности от повторения подобной участи, Террор оборачивался жесточайшим стрессом даже для тех, кого репрессии обошли стороной. Для них террор-ужас стал состоянием души, порожденным ощущением собственного бессилия перед жестокой и непредсказуемой силой революционной диктатуры. Страх парализовал волю индивидов, превратив одних в покорное и молчаливое большинство, других — в послушные винтики бездушной машины. Именно в таких условиях смог возникнуть невероятный для другой ситуации «парадокс Монестье» — удивительное раздвоение личности человека, стремящегося в качестве

частного лица облегчить страдания жертв Террора и одновременно являющегося одним из наиболее высокопоставленных представителей революционной власти, обрекающей их на эти страдания.

Мы познакомились здесь только с несколькими историями жизни «маленьких людей» в эпоху Террора. А сколько их было по всей Франции? Каждая в отдельности являлась трагедией, взятые же вместе они составляли будни революции.

Примечания

- 1 *Bouscayrol R.* Les lettres de Miette Tailhand-Romme. 1787–1797. Aubier, 1979. P. 119–120.
- 2 См., например, выступление Ф. Энкера (F. Hincker) в кн.: *La Terreur. Actes de table ronde organisée à Clermont-Ferrand en novembre 1989 par l'Association Georges Couthon.* Clermont-Ferrand, 1994. P. 5–6. Впрочем, по данным даже столь далекого от апологии якобинизма автора, как Ф. Фюре, в 47 департаментах число казненных колебалось от 1 до 25 человек в каждом, а в 6 департаментах смертные приговоры вообще не выносились. См. карту-схему в кн.: *Furet F.* La Révolution: De Turgot à Jules Ferri. 1770–1880. P., 1988. P. 154.
- 3 Согласно подсчетам Д. Грира, число «подозрительных», находившихся под стражей, доходило до 500 тыс. См.: *Greer D.* The Incidence of the Terror during French Revolution. Cambridge (Mass.). 1935.
- 4 *La Terreur.* P. 4–5.
- 5 Подробнее о миссии Кутона в Пюи-де-Доме см.: *Чудинов А.В.* На облаке утопии: жизнь и мечты Жоржа Кутона // *Кутон Ж.* Избранные произведения. 1793–1794. М., 1994. С. 25–39; *Mège F.* Le Puy-de-Dôme en 1793 et le consulat de Couthon. P., 1877.
- 6 Archives départementales de Puy-de-Dôme. (Далее: A.D.). L 322. 157.
- 7 В мае 1789 г. собрались Генеральные штаты Франции; в июле произошло восстание в Париже, закончившееся взятием Бастилии; в октябре в результате похода парижан на Версаль король и Национальное собрание вынуждены были переехать в Париж.
- 8 Свержение монархии 10 августа 1792 г.
- 9 Казнь короля Людовика XVI 21 января 1793 г.
- 10 Восстание в Париже 31 мая – 2 июня 1793 г., приведшее к изгнанию жирондистов из Конвента.
- 11 A.D. L 6155. Desange.
- 12 Как показали дальнейшие события, эти опасения имели под собой определенные основания. Еще не успев покинуть пределов департамента, выступивший в неизвестность батальон лишился своего командующего в результате дерзкого рейда союзников лионцев – жителей города Монбризон, захвативших врасплох и пленивших генерала Николя со всем его штабом. Подробнее см.: *Chanson N.* L'expédition de Saint-Anthème en 1793 par les Lyonnais // *Revue d'Auvergne.* 1890. P. 71–75.
- 13 Миссия Ж.М. Мюссе (1749–1831) в Пюи-де-Дом продолжалась с 9 фрюктидора II г. (26 августа

- 1794 г.) по 16 нивоза III г. (5 января 1795 г.). См.: *Kuscinski A. Dictionnaire des conventionnels. P. 1919. Vol. 4. P. 466.*
- 14 23–24 октября 1793 г. Расхождение с данными предыдущей анкеты можно объяснить либо тем, что необходимость содержания Дезанжа под стражей подтверждалась не одним, а несколькими постановлениями, либо тем, что члены Комитета еще не достаточно хорошо освоили революционный календарь и могли путать даты нового и старого стилей. Впрочем, от составителей подобных документов большой точности не требовалось.
- 15 A.D. L 6155. Desange.
- 16 Закон о подозрительных от 17 сентября 1793 г. См.: Документы истории Великой французской революции. М., 1990. Т. 1. С. 265–266.
- 17 A.D. L 6155. Desange.
- 18 Речь идет о Войне за независимость США (1775–1783), в которой Франция воевала против Англии на стороне североамериканских колоний. Л.Г. д'Орвильер (1708–1792), Ш.Г. д'Эстен (1729–1794) и Ф.Ж.П. Грасс (1723–1788) – французские флотоводцы. Д'Орвильер командовал французским флотом в сражении при о. Узсан 27 июля 1778 г., д'Эстен – в сражении при Гренаде 6 июля 1779 г., Грасс – в сражении при Доминике 12 апреля 1782 г.
- 19 A.D. L 322. 34.
- 20 Подробнее см.: *Beaurepaire P.-Y. Les Francs-maçons à l'Orient de Clermont-Ferrand au XVIIIe siècle. Clermont-Ferrand, 1991.*
- 21 A.D. L 322. 114.
- 22 В сентябре 1793 г., после завершения мобилизации ополчения Кутон отстранил подавляющее большинство членов администрации Пюи-де-Дома от исполнения обязанностей как недостаточно благонадежных.
- 23 Вероятно, речь идет о депутате от департамента Сомма Жане Батисте Мартене (1734–1803), единственном члене Конвента, носившем такую фамилию. См.: *Kuscinski A. Op. cit. P. 438.*
- 24 A.D. L 322. 182.
- 25 Ibid. L 322. 34.
- 26 Ibid.
- 27 Ibid. L 322. 115.
- 28 После взятия Лиона войсками Республики он декретом от 12 октября 1793 г. был переименован в «Освобожденный Город». См.: *Революционное правительство в эпоху Конвента. М., 1926. С. 639–640.*
- 29 A.D. L 6285. Andraud.
- 30 Ibid.
- 31 См.: *Кутон Ж. Указ. соч. С. 139–140.*
- 32 A.D. L 6285. Andraud.
- 33 См.: *Кутон Ж. Указ. соч. С. 122–124, 144–149.*
- 34 Подробнее см.: *Чудинов А.В. Указ. соч. С. 35–37; Mège F. Op. cit. P. 92–93.*
- 35 Подробнее см.: *Chambon F. La politique religieuse de Couthon // La Révolution française. 1906. Т. 51. P. 311–323.*
- 36 Попытка Людовика XVI бежать за границу в июне 1791 г.
- 37 A.D. L 6296. De Fretat.
- 38 *Bouscayrol R. Op. cit. P. 25.*
- 39 В эпоху Террора это означало бы для де Фрета прямой путь на гильотину.
- 40 A.D. L 6296. De Fretat.
- 41 A.D. L 322. 2.
- 42 Священника, отказавшегося присягнуть на верность Конституции 1791 г.
- 43 A.D. L 322. 86.
- 44 Ibid. L 322. 173.
- 45 Ibid. L 322. 61.
- 46 Ibid. L 322. 154.
- 47 Ibid. L 6904. Prohet.
- 48 Ibid. L 322. 38.
- 49 Ibid. L 6071. Lestang.
- 50 Ibid.
- 51 Между 2 и 5 сентября.

⁵² A.D. L 6071. Lestang.

⁵³ После взятия Лиона в городе для проведения массовых репрессий над «мятежниками» и им «сочувствующими» был учрежден трибунал (см.: *Кутон Ж.* Указ. соч. С. 113–115), куда отправляли и

наиболее важных политических «преступников» Пюи-де-Дома.

⁵⁴ A.D. 1 F 154/48.

⁵⁵ A.D. L 6164. Lestang.

⁵⁶ 20 октября 1794 г.

⁵⁷ A.D. L 6164. Lestang

А.В. Чудинов

Summaries

M.A. Boltsov

Forward to Herodote!

The paper deals with a radical change in the character of the historical knowledge of «European type» towards the end of the twentieth century, caused by social, political, scientific and technological shifts of recent decades. The author states that history, by force of quite objective circumstances, has lost the soteric role it had played since late Antiquity, and which in the end had led, under the conditions of the nineteenth century, to the formation of historical «science» called to explain the present and even foresee the future. Modern history «in fragments», inviting so many complaints, which from time to time is opposed by attempts at «historical synthesis», appears to be not so much a result of some transient crisis, as under existing conditions - the most natural state of historical knowledge. «Longing for synthesis» is in fact a longing for the nineteenth century. Under specific Soviet conditions, the official ideology had for several decades «frozen», in the national historical consciousness, a number of features specifically characteristic of the last century. That — now rather archaic - understanding of the role and function of history is still alive at present, restraining the tendency for a collapse of traditional historicism, which has of late appeared in Russia as well.

L.P. Repina

«Personal History»: Biography as a Means of Historical Learning

The subject of the present research is methodological principles, achievements, difficulties and differences of approach revealed within the new trend which may be provisionally called «new biographical history», for it is based on the reconstruction of «the history of one life», on individual-

or «personal» history. This trend of micro-historical studies is distinguished by the fact that it is studying private lives and fates of individual historical persons, the formation and development of their inner world, «traces» of their activities, both as the goal of research and an adequate means of learning their social context, but not vice versa, as it is usually practiced in traditional historical biographies. In other words, individual biographies are studied as a special means of measuring historical process and specifically its subjective personal aspect, which in no way excludes comprehension of the significance of systematico-structural and socio-cultural studies and the complementary character of all the three perspectives for the intergral picture of the past.

«Personal history» in the broad sense of the word makes use of sources of personal character (letters, diaries, memoirs, autobiographies), as well as those that record a view from the outside and the so called «objective» information. Especial interest is drawn to rather rich (as compared with the Middle Ages) materials of personal archives and numerous literary monuments of Early Modern Times. The researchers' attention has become naturally focused on non-standard deviant behaviour breaking the norms sanctified by tradition and trespassing socially recognized alternative patterns, on the actions presupposing a volitional effort of the individual consciously making a choice.

One of the principal tasks of «personal history» is to reveal the concrete content of the process of individualization in human consciousness and behaviour, expressed through intensified personal orientation at the expense of that of the group. And an important instrument of research here is a manifold situational analysis allowing the historian to reconstruct the individual phenomenon in its integrity (including the mechanism of making a decision), i. e. to reveal a concrete totality of conditions, human motives, actions and feelings, perceptions, attitudes and reactions, as well as consequences of human actions. Particular attention is paid to the most successful attempts to reconstruct and compare instances of individual consciousness and behaviour among individual representatives of elite groups, who had a better opportunity to «express themselves» in the sources in general, and up to a certain period retained a monopoly of the source-recorded actual situation of making a choice, and the individual's emotions caused by the event. In this connection, the question is raised whether it would be right to «extrapolate» conclusions based on the research of individual fates to the sphere of collective experience (and, moreover, even further on, to a more general characterization of the socio-historical context), as the latter records in the mental and behavioral stereotypes only that part of realized life experience of the individuals, that came to be socially sanctioned.

Yu.L. Bessmertny

The Case of Bertrand de Born, or «Do the Knights Want a War?»

One of the central problems figuring in the paper is the way modern researcher can comprehend what medieval people «wanted», what they were striving for; in particular, what were the knights striving for? Analyzing the problem through the example of a medieval knight's attitude to war, the author bases a possibility to judge about the strivings of a French knight of the late twelfth century by the contents of a hidden – conscious or unconscious – dialogue of Bertrand de Born, the notorious champion of wars and strifes, with his poetical predecessors and contemporaries. Accordingly, in the focus of the author's attention here are inter-textual ties of Borne's sirventes and canzonettas with the «Gestes», «Razo», «Vida», the sirventes and canzonettas of some of Bertrand de Born's contemporaries.

On the basis of the analysis of the intertextual ties and some other materials, the author of the paper suggests that war *per se* was not so interesting even for Born. Born saw in it a means to defend the independence of the knight and assert his personal rights against the arbitrariness of the lords. In the eyes of such a knight, political anarchy and unrest when the lords were particularly in need of their vassals' support, were a means of resistance to the lords' despotism, encroachment upon the knight's personal dignity, prevalence of the suzerain's power over the knight's individual rights. In that sense, the knights' intestine strifes of the late twelfth and early thirteenth centuries may be regarded not only as destroying material wealth. Besides that, they created certain imperishable ethical values of Western Civilization. We may judge about it from the exceptional «case of Bertrand de Born», for it reveals something that seemed *abnormal* to his contemporaries and shows, though indirectly, what, on the contrary, seemed quite normal to them.

O.E. Kosheleva

The Summer of 1645: a Change of Persons on the Russian Throne

Historians disagree about whether Tsar Alexey Mikhailovitch (1645–1676) came to the throne thanks to participation of the Assembly of the Land, or whether the Assembly had not even been convened. The author of the paper supposes that the ambiguity of the problem is a result of the fact that the history of Alexey Mikhailovitch's accession to the throne has not been studied up till now. Yet there is an extensive complex of sources that allow us to reconstruct day by day the events that took place in the royal palace from the day of Tsar Mikhail Feodorovitch's death (July 17, 1645) to the day his son Alexey was crowned (September 28, 1645). «The Tale of the Death of Tsar Mikhail Feodorovitch», written by a contemporary and probable witness of the event, tells of the dying Mikhail blessing his son to reign, and the Boyars swearing allegiance to the new Tsar

Documents of the Chancellery of Military Affairs confirm the fact of the Boyars swearing allegiance to prince (tsarevitch) Alexey on the night of his father's death. It is interesting to note that the name in the original text of the oath had been that of Alexey's mother, Tsarina Evdokiya Lukianovna, yet the text was changed in Alexey's favour. The reports of the voivodes who were swearing the population in for the new Tsar, in Moscow and other towns of Russia, show that the procedure was going fast and smoothly and came to an end in mid-August. Yet the crowning of Alexey Mikhailovich, which was to take place immediately after a forty-day mourning, had to be postponed for another forty days due to the death of his mother Tsarina Evdokiya Lukianovna (August 18, 1645). The political situation in the royal palace, in the summer of 1645, was enormously aggravated by the presence of the Danish prince Waldemar who had come to marry princess (tsarevna) Irina Mikhailovna, but did not accept the conditions of the marriage, that were suggested to him in Moscow (Waldemar was to be re-baptized in accordance with Orthodox rites). Rather many contemporaries saw the cause of the Tsar and Tsarina's deaths in their worries about the failed marriage project. After Waldemar's departure from Moscow, which Tsar Mikhail and Tsarina Evdokiya had tried to hinder by various means, there started a storm of mutual reproaches among the persons involved with the invitation of the prince to Russia; people blamed each other for the failed marriage and the tragic results of the event. In the end, some members of the Boyars' Council were subjected to repressions because of the affair of Waldemar.

The author of the paper closely follows the relations between Alexey and Waldemar, and denies a possibility of the contemporaries seeing in Waldemar a potential pretender to the Russian throne.

Neither of the sources referring to the summer of 1645 mentioned the fact of the Assembly of the Land being convened, which quite evidently proves that it wasn't. It was the accession to the throne of the Tsar's son, the only direct successor of Mikhail Feodorovich, so there was no reason to discuss the problem in the Assembly.

V.P. Smirnov

The Fate of One Speech (June 18, 1940: Episode—Event—Symbol)

The article presents an analysis of general de Gaulle's speech on June 18, 1940, allowing the author to investigate the process of formation of historical memory. The author here tries to reveal in what way and why an individual exceptional case can grow into a historic event; in what way and why the speech of June 18, that initially did not reach outside the range of just an episode in World War II, has grown into an element of historical memory, acquiring symbolic significance and becoming a landmark in the history of the country as a whole.

The author analyses in detail the contents of the speech, the cause of it, the polemics around it, its immediate and distant consequences. General de

Научное издание

Казус
Индивидуальное и уникальное
в истории
1999
Вып. 2

Редактор

Н.Л. ПЕТРОВА

Художник

Л.Н. РАБИЧЕВ

Фотокопии репродукций

В.А. ВИНОГРАДОВ

Художественный

редактор

В.В. СУРКОВ

Технический

редактор

Г.П. КАРЕНИНА

Корректор

Т.М. КОЗЛОВА

Компьютерное

обеспечение

Н.Н. АКСЕНОВА

ЛР № 020219 от 25.09.96.

Подписано в печать 21.11.98.

Формат 60x90¹/₁₆

Гарнитура Ньютон.

Усл. печ. л. 22,78.

Уч.-изд. л. 24,0.

Тираж 2000 экз.

Зак. 167.

Издательский центр
Российского государственного
гуманитарного университета
125267 Москва, Миусская пл., 6
тел. (095) 973-42-00

В издательстве РГГУ вышли из печати

Мелетинский Е.М.

Избранные сочинения. В честь 80-летия ученого. Сост. С.Ю. Неклюдов, Е.С. Новик.

Сборник состоит из двух разделов. В первый раздел вошли статьи разных лет, посвященные теории фольклорных жанров (архаическим мифам и мифологическим системам Древнего мира, сказке, эпосу), типологии средневекового романа, судьбам мифа в XX в. При выборе статей предпочтение отдавалось тем из них, которые публиковались в малотиражных изданиях или – по тем или иным причинам – не были изданы на русском языке.

Второй раздел – книга воспоминаний Е.М. Мелетинского “На войне и в тюрьме”. Первая ее часть “Моя война” была напечатана в журнале “Знамя” (1992, № 10), вторая публикуется впервые.

Для литературоведов и широкого круга читателей.

История мировой культуры. Наследие Запада: Античность. Средневековье. Возрождение. Курс лекций.

Под ред. С.Д. Серебряного.

В книгу вошли обработанные тексты лекций, которые читались в 1992–1996 гг. студентам историко-филологического факультета РГГУ по предмету “История мировой культуры”.

В лекциях Г.С. Кнабе сначала дается общее введение в проблемы изучения культуры, а затем речь идет о греко-римской античности как классическом наследии Запада и России (эта часть написана в соавторстве с филологом-классиком И.А. Протопоповой).

В лекциях А.Я. Гуревича на материале средневековой культуры Западной Европы излагаются некоторые важнейшие идеи современной исторической науки.

Лекции М.Л. Андреева посвящены эпохе Возрождения. Особо рассмотрено явление под названием “гуманизм”.

Для студентов, преподавателей и широкого круга читателей.

The life of society, like the life of an individual, is rich with unexpected experiences. Various cases, lucky and unlucky, are closely interlaced and remembered for a long time both by the individual himself and in common conscience. Are individual cases really worth the attention of posterity?

In the twentieth century historians used to regard the unique and the casual with caution: they were first and foremost looking in the past for the mainstreams of social development, while unique cases seemed to be mostly exceptions from the general rule, deserving no attention whatsoever. Should we today, in the age of re-consideration of the role of the casual, arrogantly neglect the things of the past that we ourselves regard as exceptional and non-typical? Isn't it possible that non-standard cases can more vividly than anything else reveal the unique and original face of the past era? Can't it be so that those unique cases hold a clue to understanding the human passions, the dramatic struggles of people and ideas? Isn't it true that such unique situations may allow of a deeper knowledge of the changing limits of individual free will, so that we could better understand whether the rank and file in any society did influence its present and, consequently, its future as well, or whether the man was just drifting somewhere with the fast and invincible stream of the Time?.. The authors of the new almanac are seeking answers to these questions.

CASUS

Необычный поступок,
неожиданный поворот судьбы,
странное стечение
обстоятельств,
удивительный случай -
вот о каких казусах
прошлого
ЭТОТ альманах